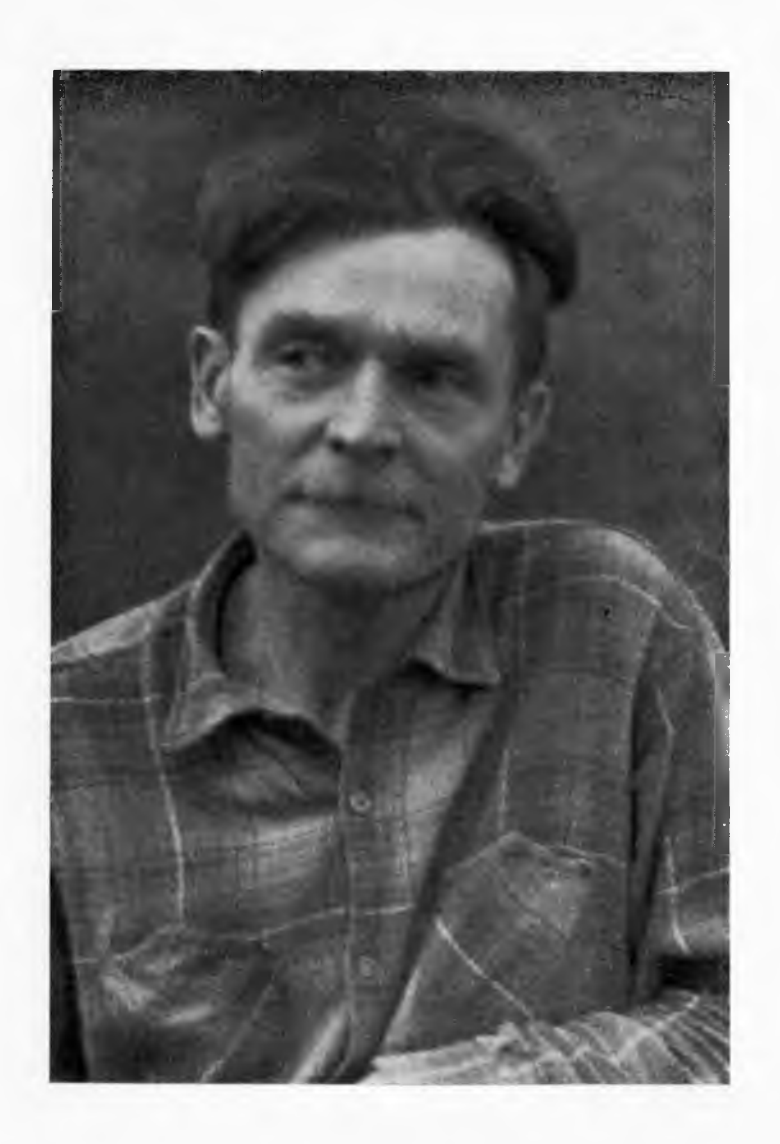


2

Александр Яшин





АЛЕКСАНДР ЯШИН

Избранные произведения

в двух томах

*

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1972

АЛЕКСАНДР ЯШИН

Избранные произведения

том второй

ПРОЗА

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1972

Художник
Н. КРЫЛОВ

7-3-2
84—72

Сирота

ПОВЕСТЬ

Когда Павлуша понял, что не осилит троих, он испугался и предусмотрительно заревел на всю улицу. Ребята опешили: как так? — сам первый бросился в драку, сам их поколотил, его не тронули, и орет во все горло.

— У, гнида! — с отвращением и ненавистью прошипел ему в лицо кривоногий некрасивый мальчишка, облизнул с верхней губы соленую кровь и сплюнул ее.— Чего вопишь?

— А ты не лезь.

— Мы на тебя лезли? Чего воешь?

— Бабушке скажу-у.

— Драться не хочешь, да?

— Я устал!

— У, гнида! — зашипел опять мальчишка и, размахнувшись из последних сил, ткнул кулачонком, целясь в щеку Павлуши. Но Павлуша ловко отклонился, и тот упал ему в ноги, ударившись лицом о твердую землю. Кривоногому мальчишке было, по-видимому, очень больно, но он не заплакал, а Павлуша пнул его, лежачего, несколько раз и заревел громче прежнего, хотя на него никто не нападал. Двое других супротивников смотрели, раскрыв рты от удивления.

На рев вышел из соседнего дома мужчина, босой, в нижних домотканых портках, с густыми нечесаными волосами и грязной бородой, и еще с крыльца, скороговоркой и нехотя, словно отмахиваясь от комаров, заворчал:

— Что тут у вас, обломоны? Набросились трое на одного — победители! Всем уши выдеру!

Павлуша наспех вытер глаза и приготовился бежать, потому что увидел перед собой отца того кривоного мальчишки, который валялся на земле,— какая уж тут Павлуше поддержка! Но... услышав слова: «На-

бросились трое на одного»,— не побежал, а завыл еще пуще.

— Бесстыжие! — кричал мужик, приближаясь к ним.— Чего делите? Из-за чего воюете?

Сынишка его поднялся с земли и, съежившись, ждал трепки, но не плакал.

— Мы не воюем,— стал оправдываться он.

— Как не воюете?

— Он первый полез. Он у Петьки морковку отнял. Мы его еще не били.

Мужик осмотрел ребятишек: у сынка течет кровь из носу; Петька весь в грязи — тоже, видно, валялся на земле; третий держится за ухо, а у Павлуши хоть и незаметно никаких следов побоев, но вся рожа в слезах...

И он сказал:

— Гм!..

Потом запустил руку в грязную бороду, поскоблил ее, поскоблил затылок, что означало глубокое раздумье, и, наконец, вынес решение:

— Не трогайте его, ребята: он сирота.

* * *

Так в шесть лет Павлик понял, что быть сиротой не так уж плохо. Понял и запомнил.

А осиротел Павлуша в своей жизни дважды. В первый раз во время войны.

Как-то он вернулся с реки — хотелось есть, хотя живот был до отказа набит щавелем и зелеными дудками,— и застал дома мать, плачущую навзрыд. Мать плакала часто, поэтому он не обратил на это особого внимания, к тому же за печкой, захлебываясь слезами, плакал его младший братик Шурка, тоже, наверно, есть хотел. Все же Павлуша не стал просить еды у матери. Но бабушка его удивила.

По правде сказать, Павлик не надеялся, что ему дадут что-нибудь поесть в середине дня, и потому заранее набил живот луговой зеленью, но и не просить поесть он тоже не мог: вдруг перепадет кусок хлеба либо сухарь, намоченный в соленой воде,— ведь всякое случается, а есть ему всегда хотелось. И он подошел к бабушке почти равнодушно, без всякой надежды на успех.

— Бабушка, поисъ ба!

И вдруг бабушка, ни слова не говоря, чего никогда раньше не случалось, отдала ему половину молока из Шуркиной чашки. Мало этого, она еще обняла его и капнула ему на голову, на самую макушку, теплую слезу. «Вот те на — и бабка заревела!» — с удивлением отметил он про себя.

— Кушай на здоровье, внученька, сиротинушка ты моя горемычная! — сказала бабка с причетом, и Павлик все понял.

— Али тятьку убили? — спросил он с интересом, но еще без всякого чувства.

— Убили родителя твоего, внучек, кормильца нашего богоданного убили,— запричитала бабка.— Извещение пришло.

Мать в углу на лавке после этих слов залилась еще безутешнее, а перепуганный Шурка перешел на визг.

Павлуша почти не помнил своего отца и, прислушиваясь к реву, безуспешно старался вызвать в душе сожаление о случившемся, но никакого горя пока не испытывал. Наевшись молока с хлебом, он заплакал вместе со всеми, но лишь потому, что знал: так надо!

На рев и причитания в избу стали заходить соседки и соседские ребятишки. Одни женщины останавливались у порога, другие проходили вперед, крестились на иконы и тоже начинали плакать — сначала беззвучно, вытирая слезы концами платков и фартуками, потом навзрыд, закрывая лицо руками либо тычась друг другу в плечо. Сразу в голос начинали плакать женщины, которые сами получили извещения о смерти. Другие, прежде чем поддаться чужому горю, подолгу стояли, суеверно вытянувшись, и в их широко открытых глазах накапливались тревога и страх за жизнь своих мужей и сыновей. От них еще на днях были письма, но письма эти писались месяца два тому назад, и один бог знает, что могло произойти на войне за это время. Быть может, от солдат еще письма идут, а может, на почте лежат уже извещения о «павших смертью храбрых» и не сегодня-завтра почтальон сунет их в окно и кинется к следующей избе со своей черной сумкой.

На причитания бабушки и на крик Шурки женщины не обращали внимания, и если проходили вперед, то становились поближе к матери либо к Павлику и молча гладили его по голове. Наверно, они думали, что Павлик

уже понимает свое горе, и жалели его. А он еще ничего не понимал, ему было только хорошо оттого, что его все жалеют. И когда соседский мальчишка шепнул ему на ухо: «У меня что-то есть, пойдем!» — Павлик выскользнул из избы.

— Половину мне!

— Все отдам! — с готовностью согласился мальчишка.

— А чего?

— Там увидишь.

Павлик смутно чувствовал, что ему теперь все можно, что никто ничего для него теперь не пожалеет, и радовался этому.

* * *

Спустя два года Павлуша осиротел вторично. Война к тому времени уже закончилась, но жить было еще трудно. И он, и его братишка Шурка часто недоедали — корова в личном хозяйстве была, но молока в доме не оставалось, потому что колхозная молочнотоварная ферма плана своего из года в год не выполняла. Недоставало и хлеба своего, собранного с приусадебного участка. Не досыта ели ребята, не досыта ела и бабушка Анисья. Но больше всех голодала мать. Что бы ни появлялось на обеденном столе, она говорила, что уже сыта. А работа была тяжелая, и она не жалела себя. Весной она заболела. Особенно истощали и мучили ее чирьи под мышками, из-за которых она не могла ни поднимать, ни опускать рук.

— Сучье вымя! — сказал про эти чирьи сельсоветский фельдшер, случайно оказавшийся в деревне.— Организм истощен. От работы на время освобождаю, справку дам.

Мать мучилась долго, и все это время семья бедствовала. В правлении колхоза чирьи не считали серьезным заболеванием, от работы ее не освободили. Председатель Прокофий Кузьмич говорил так:

— Если из-за каждого пупыша будем руки опускать, то весь колхоз по миру пустим.

Бабка Анисья сама не хуже любого фельдшера лечила в деревне всех скудающихся: снимала переполох с малых и старых, правила пупы, заговаривала гнилые зубы, чтобы не ныли, выпаривала из тела простуду и ревматизм.

Бывало, напугается чего-нибудь мальчонка, потеряет сон, вскакивает в полночь, кричит не своим голосом. Анисья наденет на него потный хомут, только что снятый с лошади, да повторит трижды немудреный заговор: «Страхи-переполохи, идите в хомут!» — и вся болезнь исчезает, спит мальчонка спокойно, ест в охоту. А ежели какой ребенок еще мал, сосунок еще, и сам на ножках стоять не может, просовывает его Анисья в хомут всего, как есть, а мать принимает его с другой стороны, и так трижды, с тем же причетом — польза наступает сразу почти всегда. Редко кто не верил в Анисью, не обращался к ней. Взялась она лечить и невестку свою: сначала пользовала разными травами, потом стала прикладывать к нарывам лепешки из свежего конского навоза. Но облегченья больная не чувствовала.

Через несколько дней мать умерла от заражения крови.

Прощаясь с Павлом, она долго внушала ему, старшему, как себя вести надо:

— Ты теперь сирота, сынок. Не возвышайся зазря, чтобы люди на тебя не обижались. Людей обижать не будешь — они тебя не оставят. А без них вам не прожить. Бабушка — она гордая, а вам теперь гордиться нельзя. Помни: сирота ты теперь круглая, сиротинушка вечная. Поцелуй маму. Прощай! О Шурке заботься. Ты — старший, понял?

— Понял, мама. Прощай! — ответил Павлик, думая, что мать разрешает ему бежать с ребятишками куда вздумается.

И он убежал с дружками на весь день. В поле они собирали пистики — молодой хвощ, на Мокрушах пили березовый сок, в сосновом мелколесье вырезали пищали.

Домой возвратился Павлик уже круглым сиротой, когда бабушка выла и причитала:

— Сироты мы теперь все, сироты-сиротинушки. Без отца, без матери как жить будем? Умрем все с голоду або что?..

Как это ни странно, а после смерти матери и детям и бабушке стало жить сразу намного легче. Председатель колхоза, должно быть, посчитал себя в чем-то виноватым и потому поставил на правлении колхоза вопрос «О положении дел в семье бывшего фронтовика». «К сиротам мы обязаны проявлять свое внимание!» — сказал

председатель. После этого кладовщик сам принес им полпуда ржаной муки и корзину картошки. «Семенная»,— сказал он. А дня через два послал овсяной крупы — заспы да бутылку льняного масла. Павлик вместе с ним ходил в колхозный продовольственный амбар и после долго рассказывал бабушке, как много там всего.

О сиротах вдруг все начали заботиться.

Райсобес назначил им денежную пенсию. Сельсовет освободил от молоконалога.

Бабушка ахала и охала.

— Все это нам за отца, ребятушки! — говорила она.— Бог дает!

А ребятушки ели, пили и не спрашивали, кто им все это дает и за что.

Иногда сердобольные соседки несли им то кусок пирога, то горшок каши, либо обноски какой-нибудь детской одежонки, или старые обутки. Но это уже походило на подаяние, и бабушка обижалась.

— Мы не нищие! — говорила она.

Шурка подрос быстро, не по годам вытянулся и окреп, и теперь два брата повсюду носились вместе, как равные товарищи, почти одногодки.

Если сверстники обижали одного из них, другой вступался:

— Не трогайте его, он сирота!

* * *

Вскоре после смерти матери колхозный пасечник Михайло Лексеич позвал ребятишек к себе на первую выемку меда.

Пасека находилась километрах в трех от деревни, на цветистой луговой полянке близ старого русла реки, которое давно превратилось в озеро. Крутой спуск к озеру зарос мелким березнячком и осинничком, но эта молодая поросль не закрывала горизонта. Сверху, с поляны, от избушки пасечника, хорошо была видна даль.

— Что там? — спросил Павлуша, когда немного осмелел.

— Там-то? — переспросил старик.— Там все есть. На крутизне в мелколесье тетерки, конечно, водятся и зайцы бегают, осинку грызут; чуть подальше на озере, в камышах да в осоке, утиные выводки всяких пород; а в

самом озере, конечно, рыба, тоже всякая; еще дальше, за озером — ну, там уж луга, сенокосы, а на лугах в траве тоже, конечно, всякая живность таится, там мои пчелки мед добывают; потом идет лес, во-он темная полоса, а в лесу, как положено, конечно, и волки, и лисицы, и даже медведи есть, из птиц рябчики больше да глухари. Ну и, конечно, нечисть всякая лесная, как положено во всяком темном лесе. Вот ужо подрастете...

Михайло Лексеич разговаривал с ребятами в первый раз и теперь показался Шурке человеком необыкновенной доброты, у него даже глаза были синие, ласковые и теплые и борода тоже теплая. В этой бороде ему, должно быть, всегда было жарко, но он не снимал ее: жалел, наверно. Двигался Михайло Лексеич неторопливо, говорил тихо, медленно, немного нараспев. А пчелы горячились, но Михайло Лексеич не обижался на них, он словно не замечал, что одна или две пчелки все время возились в его теплой бороде и надоедливо, нудно зудили, жужжали, чтобы вывести его из терпения. А он не выходил из терпения: видно, он всегда был спокоен.

— Вот подрастете, ребятушки, и дам я вам свое ружье, и пойдете вы в темный лес,— говорил нараспев, будто сказку рассказывал, Михайло Лексеич.— И найдете вы не одну колоду диких пчел, и переселим мы их сюда, на нашу пасеку, и будут они, новые пчелы, выносливые, добычливые, и зальемся мы медом по уши, и заживем все богато...

— А ружье для чего? — спросил Шурка.— Пчел отгонять?

— Ружье для медведей — медведей отгонять, пчел охранять.

— А зачем по уши?

— Чего «по уши»?

— «Зальемся медом по уши...»

— А вот дам я вам меду, и будут у вас в меду и носы и уши.

— Поглядим! — весело сказал Павлик.

— Пойдемте в сторожку,— пригласил их дед.

— А когда мед доставать будем?

— Мед не достают, а качают.

— Как это качают?

Они вошли в избушку пасечника, маленькую, как банька, с одним окном, с маленькой печкой. Между печ-

кой и стеной лежали доски, прикрытые старым полушубком,— дедова постель. На полушубке спала, тихо и смешно посапывая, маленькая курносенькая девчонка, внучка Михайлы Лексеича, Нюрка. Губы и круглые щеки ее были перепачканы медом, к кончику носа прилип клочок шерсти, и шерсть шевелилась от Нюркиного дыхания. На стенах висели дымогары и сетки, которые пчеловоды надевают на голову, когда идут к ульям,— Михайло Лексеич не надевал их никогда. Посреди избушки стояла бочка-медогонка, по краям ее ползали пчелы. Пчелы бились и на оконном стекле — сытые, ленивые. От всего пахло медом, только от дымогаров — чадом, дымком.

— Так вот и качают,— начал объяснять Михайло Лексеич, подойдя к медогонке.— Видите, в бочке вроде ветряной мельницы. Вставишь в эти крылья рамки с сотами и крутишь и крутишь, мед разлетается по стенкам бочки и стекает на дно.

Дед взялся за металлическую ручку и раскрутил мельницу до свиста, до стука.

Ребята отступили.

Павлик заметил:

— Значит, не качают, а вертят.

— А сейчас я вас медом угощу! — сказал Михайло Лексеич и, подняв западню, неторопливо спустился в подполье.

— Ну и старик! — прошептал Павлик Шурке.— Никогда бы он нас раньше сюда не пустил.

— Он добрый! — не согласился Шурка с братом.

— Добрый!

Михайло Лексеич вынес из подполья подойник со старым, засахарившимся медом вместе с обрезками вощины и поставил перед ребятишками.

— С батькой-то вашим мы па охоту вместе хаживали. Хороший был парень! И матка ничего, бог ее прибрал.— И дед вздохнул.

Ребята начали сосредоточенно жевать сладкий воск, складывая выжеванные куски на подоконник.

— А мед качать будешь?

— Сейчас начну. Только вы домой пойдете, а то пчелы искусают.

— Мы ничего не боимся.

— Хвастунишки,— ласково сказал старик.— Ничего не бояться нельзя. Надо бояться.

За стеной избушки послышался говор. Старик насторожился, встал и открыл дверь. Прямо против входа стояла кучка ребятишек, сверстников Павлуши.

Некоторые, что потрусливее, тотчас шагнули в кусты.

— Вам чего надо? Опять пришли? — крикнул им Михайло Лексеич, и вся ласковость в голосе его исчезла.

— А им чего надо? — дерзко ответил кривоногий, худосочный мальчишка лет семи-восьми в солдатской пилотке и кивнул головой на Шурку и Павлушу.

— Не твоего ума дело.

— Моего!

— Трепки захотел, разбойник? — спросил дед.

— Меду захотел!

— А потом разговоров не оберешься. Давно ли я давал тебе меду?

— Давно!

— Ну и хватит, а то брюхо заболит.

— Дай меду!

— Вот я тебе дам меду. Штаны спущу да крапивой!

Ребятишки скрылись в лиственной рощице.

На полушубке завозилась курносенькая Нюрка, привстала, потерла ручонкой глаза, нос, и медовые пальцы ее склеились в кулаке.

— Спи, спи, чего ты, внученька? — снова ласково заворковал дед.

— Не хочу спать,— сказала Нюрка.

— А меду хочешь?

— Не хочу меду.

— Так приляг еще. Разбудили тебя эти разбойники?

Скоро ушли с пасеки и Павлик с Шуркой. По дороге Шурка думал и говорил только о пасеке.

— Я бы всю жизнь пчел обхаживал и спал бы здесь!

— Ну да? — сказал Павлик.— Нажрался бы раз до отвала меду — и все.

— Тут жить хорошо, красиво,— продолжал Шурка.— Выйдешь из избушки и смотри во все стороны.

— Ну да, во все стороны,— опять не согласился Павлик.— Видел, как он ребятишек во все стороны?

— Он добрый! — твердо заявил Шурка.

— Ладно, добрый,— не стал спорить Павлик.— Мы теперь всегда мед есть будем!

* * *

В школу Павлик и Шурка поступили одновременно — Павлуша с запозданием года на два, а Шурка на год раньше, чем следовало, и учиться Павлуше было легко, а Шурка отставал. Зато, не в пример Павлику, он рос крепышом, круглолицым, устойчивым на ногах, почти никогда не простужался, не болел ни насморком, ни гриппом. Павлик же был длинен, худ, часто кашлял, из-за постоянных насморков привык держать рот открытым, отчего видом своим вызывал жалость и казался иногда простачком, хотя не был ни глуп, ни простодушен. Незаметно сложилось мнение, что Павел создан для ученья, для умственного труда, а Шурка — для земли, для деревни, и когда братья окончили свою деревенскую начальную школу, все решили, что старший должен учиться дальше, а Шурка будет работать в колхозе: нельзя же бабушку оставлять одну. Шурка смирился с этим.

Павлика отвезли за двенадцать километров в село, где была семилетняя школа. Отвез его сам председатель колхоза, устроил на постой у своих дальних родственников, сказал, чтоб не сомневались — никакая услуга за ним не пропадет, а в крайнем случае бабка Павлуши будет платить им по десятке в месяц за хлопоты; потом отвел Павла к директору школы и от имени правления колхоза попросил, чтобы директор не оставлял сироту без присмотра и без своего человеческого внимания.

— Смену себе готовлю! — сказал он.— Нам самим поучиться как следует не довелось, так пусть хоть наши ребятишки выучатся. Вот о них и хлопочу.

— Тэк, тэк, понимаю, Прокофий Кузьмич,— сказал директор.— Хорошее дело — забота о смене.

— А как же! И о людях заботу проявляем. Это уж как положено. Семья бывшего фронтовика...

— Хорошо это,— повторил директор и улыбнулся.— Только, надо полагать, у вас есть ко мне еще какое-нибудь дело? Попутное, так сказать?

Директор был широкоплечий мужчина, усатый и загорелый настолько, что казался прокопченным насквозь. Он достаточно хорошо знал председателя колхоза Прокофия Кузьмича и не поверил, что тот может приехать за двенадцать километров только ради устройства на учебу какого-то сироты. В течение многих лет учителя и

старшеклассники каждую осень проводили на колхозных полях, а не в классах,— жали рожь и овес серпами, теребили лен, копали картошку, вывозили из скотных дворов навоз и раскидывали его под плуг, делали многое такое, что требует простой физической силы. Нередко работа находилась для них и весной. Председатели колхозов и в первую голову Прокофий Кузьмич утверждали, что это и есть соединение учебы с производственным трудом, учителя же объясняли все проще: в колхозах не хватает рабочих рук. Сам директор школы любил физический труд больше, чем занятия у классной доски,— он преподавал математику,— и охотно соглашался выводить на поля всю школу.

Гостя он принимал в своем кабинете; над письменным его столом широко раскинулись зеленые листья фикуса.

— Так какое же попутное дело привело вас в нашу даль в уборочное время? — спросил он Прокофия Кузьмича и потянул себя за усы книзу — такова была его привычка.

— Попутное дельце, конечно, есть, нельзя без попутного дельца,— согласился Прокофий Кузьмич.— Вы нас выручали частенько, я не отрицаю. Может быть, и в этом году выручите?

— А кто будет смену вам готовить? — улыбнулся директор, хотя обоим уже было ясно, о чем и как нужно договариваться.— Самим поучиться не довелось, так пусть хоть ребятишки поучатся, так ведь?

— Так-то оно так, Аристарх Николаевич, конечно. Но все-таки и без практики ребятам не ученье. Да и вам что за жизнь без работы — вон вы какой детинушка! А я бы грузовичок послал за вами немедленно.

— На сколько вы человек рассчитываете?

— Да сколько грузовик подымет.

— С райкомом договаривались? Или с районо?

— Вот ведь вы какой, Аристарх Николаевич! Неужто мы сами не сумеем столковаться: вы — директор, я — председатель?.. Сумеем и должны, я так полагаю.

— Тэк, тэк, тэк! — все еще как бы упорствовал директор.— Вы — председатель, я — директор, все так. Только односторонние у нас обязательства, вот что плохо. Мы вам — рабочую силу, а вы нам — ничего. А на заре ре-

волюции в школах наших горячие завтраки и даже обеды были.

— Ну что вы от нас хотите? — удивился Прокофий Кузьмич.

— Может, помогли бы организовать горячие завтраки? Овощей бы подбросили, продуктов, одним словом.

— А разве наши овощи не государству идут? Все сдаем государству, чего вам обижаться? Вы с государства требуйте.

— Все — еще не значит много. За вас, дорогой Прокофий Кузьмич, всю жизнь другие расплачиваются.

— Что поделаешь, Аристарх Николаевич, мы слабые, нам и должны помогать. Отстающих вытягивать надо.

— Тэк, тэк, тэк! — раздумчиво повторял директор.— Не такие уж вы слабые. Лучше бы вы не прибеднялись.

— Кто знает, лучше ли? — засмеявшись, возразил председатель колхоза.— К сильным вы на выручку не пойдете, верно ведь? А слабому да отстающему вы обязаны помочь. Советская власть не позволит обижать сирых. Не правду я говорю?

Председатель колхоза говорил о вещах весьма серьезных, но так, что при случае все свои слова мог обратить в шутку. И директор понял это.

— Да, действительно, в слабых ходить иногда легче,— мрачно сказал он,— с них меньше спрашивается. Ну, где ваш сирота? Ему ведь тоже помогать надо будет? — завершил он разговор и потянул усы книзу.

— А как с уборочкой-то, Аристарх Николаевич? — не сдавался председатель.

— Буду ждать директивных указаний из района,— сказал директор. Но это означало, что он соглашается с председателем.

* * *

Бабушка часто рассказывала внукам об отце.

Шурка отца помнить не мог, но по рассказам бабушки представлял его солдатом, увешанным с головы до ног разным оружием: на спине крест-накрест две винтовки, на груди автомат, на поясе гранаты вроде бутылок и серебряная сабля, из каждого кармана торчат отнятые у немцев пистолеты, за голенищами сапог тоже пистолеты и гранаты.

Павлик спрашивал бабушку:

— Хороший он был, бабушка, наш батько?

— Кабы нехороший был, не так бы вам сейчас и жилось. Храбрый был, работящий был, справедливый. Курицы не обидит, а медведь в лесу лучше ему на глаза не кажись, живо спроворит: застрелит або топором зарубит. Когда на войну пошел — вся деревня в голос ревела. А он и говорит: буду так воевать, что вся грудь в крестах — в орденах, значит,— або голова в кустах. Вот оно так и вышло.

В Шуркином представлении постепенно сложился образ былинного богатыря. И стало ему казаться, что он даже запомнил, как провожала отца на войну вся деревня. Ранним утром высыпал народ на улицу, и все смотрят в сторону поля, чего-то ждут. Петухи давно с насестов послетали, солнце вылезло из-за крыш, над землей плывет музыка — либо гармони играют, либо радио в домах включили на полную катушку. Из конторы вышел на крыльцо председатель колхоза Прокофий Кузьмич, поднял руку и начал кричать:

— Пойте все! Пойте все!

Музыка заиграла еще громче, и все запели:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!

Широкие ворота распахнулись, и в деревню, по дороге из города, вошел танк, огромный и медлительный, будто слон, и с таким же слоновьим хоботом, вскинутым на уровень избяных коньков.

Народ расступился на обе стороны, танк подошел к конторе, и Шуркин отец в полном своем вооружении переступил с крыльца правления колхоза прямо на броню танка. Музыка усилилась, песня загремела так, что даже ветер поднялся в палисадниках, а отец поклонился народу и сказал: «Або грудь в крестах, або голова в кустах!» И танк медленно развернулся и понес отца на войну.

— Откройте ворота в поле, шире откройте! — закричал Прокофий Кузьмич, потому что ворота в поле, через которые ездили в город, всегда были закрытыми. Но никто не решился бежать впереди танка, и он, черный, тяжелый, под песню и музыку раздавил эти ворота, будто их не было вовсе. Когда танк вышел в поле, отец-богатырь,

стоявший на броне и державшийся одной рукой за поднятый хобот орудия, махнул саблей, и деревянные остатки изгороди вспыхнули ярким пламенем. За этим пламенем и дымом танк исчез. Вместе с ним исчез и отец Шуркин. А в деревне все еще пели «Вставай, страна огромная» и гремела страшная и радостная музыка, и ветер гнул деревья до земли.

Все происходило именно так, иначе и быть не могло. Смутные представления об этом событии отложились, должно быть, в каком-то дальнем уголке Шуркиной детской памяти и становились все яснее и яснее по мере того, как он взрослел.

Шурка решил, что он обязательно должен вырасти таким же, каким был его отец,— защитником родной земли: бесстрашным, вооруженным с головы до ног, всеми любимым,— и ни перед кем не кланяться, и за всю жизнь не обидеть ни одной курицы.

Конечно, он подражал старшему брату во всем и тоже иногда плаксиво ссылался на свое сиротство, но делал это, лишь когда требовалось поддержать брата или защитить его. Если б у него была такая же сила, как у отца, он, конечно, защитил бы брата не жалостливыми словами. Только вот оружия у него не хватало, особенно если иметь в виду оружие настоящее, а не самодельное. Главное — надо было вырасти. Важнее задачи на сегодняшний день он не знал.

— Бабушка, а где батько оружие доставал? — спрашивал он не раз, требуя все больших уточнений.

— Оружие-то? — раздумывала Анисья, как бы ему ответить получше.— Время такое было, что всем храбрым людям оружие на руки выдавали, под расписку. А батько у тебя был знаешь какой? Вот какой! Никому слова «наплевать» зря не говаривал, все ласково да обходительно, ни одной мухи за всю жизнь не раздавил, а силушкой владел непомерной.

— Верно, что его на танке из дому увезли?

— Все верно, внучек! В ту пору в селе храбрым по танку давали. А кабы не это, разве бы одолеть нам нечисть эту поганую? Нипочем бы не одолеть.

— А он был ученый? — вмешивался в разговор Павлик.

— Кто?

— Тятька наш.

— Лишнего ученья не было, только ведь не одним

ученьем ум человеку дается. Кому-то надо и землю пахать. Вот ты у нас будешь учиться, а Шурик будет дома, он младший, его судьба такая.

Однажды бабушка нашла в сундучке среди отцовских треугольных писем обыкновенный конверт и в нем фотографию.

— Вот он, кормилец наш! — кинулась она с находкой к свету.— Ну-ко, смотрите, ребята!

— Кто это? — спросил Шурка.

— Ты что, ополоумел або как? Батько это!

Солдат без оружия, в кирзовых сапогах, в помятой гимнастерке без погон, без орденов совершенно не походил на праздничного паренька в белой вышитой рубашке с поясными белыми кистями до колен, снимок с которого висел на стенке около божницы, и на того отца-богатыря, проводы которого на войну запомнились Шурке, как ему казалось, на веки вечные. Солдат походил на пахаря, на колхозного бригадира, только не на воина.

Это был обыкновенный и очень понятный деревенский мужик, свой хлебороб, а не тот полусказочный Илья Муромец, которого ясно видел в своем воображении Шурка.

— Кем он был, бабушка? — спросил Павлик, пристально разглядывая своего отца.

— Как это — кем был?

— Что в колхозе делал?

— В колхозе-то? Все делал. Что надо было, то и делал. Колхозник ведь!

— А снимался где? — спросил Шурка.

— На войне снимался або где, не знаю.

— Без оружия?

Бабушка рассмеялась.

— Тебе бы все ружья да ружья, экой какой! А он положил ружье свое на землю и снялся — вот и все тут.

Шурка это понял: и верно, почему солдат должен быть всегда при оружии? А на отдыхе у ключа с живой водой? А на пиру за дубовыми столами, за скатертями самобранными? Правда, вид у отца не такой уж могучий, каким он представлялся,— в плечах, пожалуй, не косая сажень, но это был его отец, и он вправду был солдатом и защищал советскую землю и, наверно, дошел до Берлина вместе со всеми. Значит, все так, все правильно! И до войны он был колхозником и не гнушался никакой работой, делал все, что требовалось, и его любили.

Шурка ни разу не слыхал, чтобы кто-нибудь в колхозе помянул отца недобром, напротив, его только хвалили. А плохого человека даже после смерти не будут все хвалить в один голос. Павлику и Шурке нередко ставили отца в пример. Но Павлик пошел в ученье и не мог во всем подражать отцу, у него жизнь началась совсем иная. А вот Шурка мог подражать отцу во всем, потому что сам стал заниматься тем же, чем занимался всю жизнь его отец. И Шурка очень хотел походить на своего отца.

* * *

Интересно менять места на земле. Сменишь место, и будто все в жизни твоей начинается заново.

Изба, в которой Павел должен был прожить несколько лет, была совершенно такой же, как все деревенские избы: при входе, над головой,— полати; от входа справа — большая русская печь, при ней лежанка-подтопок на время зимних морозов; за пекаркой — кухня, кое-где ее зовут кутьей; там чело — там стряпают, варят, разливают парное молоко, стирают белье; там же вход в подполье, в го́лбец,— это либо дверь между стеной и печкой, либо западня прямо на середине пола и спуск под пол, как в трюм парохода. В кухне же — суденка, вроде низкого посудного шкафа, набитая до отказа блюдами, глиняными плошками, алюминиевыми тазиками и чайными чашками, а чуть повыше — полицы с глиняными горшками и кринками, с подойницей, с чугунками. От главной половины избы кухня отделена дощатой заборкой (в иных избах — занавеской). В этой главной половине напротив входа — сутный угол, в котором вперемежку с иконами висят портреты разных больших и небольших людей, а по обе стороны от обеденного стола тянутся вдоль стен массивные сосновые лавки-скамьи.

Изба как изба. Но для Павла все в ней казалось новым и необыкновенным, потому что это была изба не своя, и, поскольку Павел считался в ней квартирантом, у дощатой заборки выделен был для него особый уголок, куда хозяин дома Иван Тимофеевич поставил даже нечто вроде столика, чтобы постоялец мог сидя заниматься своими науками. На заборке Павел повесил листок из тетрадки с расписанием уроков да вырезанную из газеты

фотографию лыжника, а на столик положил несколько учебников.

Спал он на полатях вместе с хозяйскими сыновьями — Васюткой и Антоном. Васютка был пареньком плутоватым, озорным, дерзким, примерно одного возраста с Павлом и учиться стал с ним в одном классе, а вялому и простодушному Антону едва исполнилось восемь лет, и он больше всего на свете гордился тем, что стал наконец учеником первого класса: значит, как-то поравнялся со своим старшим братом.

На полатях ребята познакомились друг с другом.

— Ты уроки учить будешь? — спросил Васютка Павла.

— Как? — раскрыл Павел рот от удивления.

— Так! Я никогда не учу. Лучше на реку бегать, рыбу удить. А зима начнется — на лыжах ходить будем.

— Разве уроки не задают? — поразился Павел.

— Задают. Тятьке тоже в колхозе много задают, а он чего делает?..

Павлу на первых порах учеба и в этой школе давалась легко, и они подружились с Васюткой. Школьные отметки у обоих были хорошие, и ребята ждали только окончания уроков, чтобы схватить удочки да убежать на реку. Дома они почти ничем не занимались.

Отец Васютки тоже не много занимался делами, хотя среди начальства считался неплохим работником. Он состоял в разных комиссиях, был то бригадиром, то каким-нибудь учетчиком, много выступал на собраниях и даже на районных активах, следил за тем, чтобы работали другие, постоянно кого-то хвалил и выдвигал, кого-то отчитывал — словом, руководил. Время от времени он признавал и свои ошибки, и это производило на всех хорошее впечатление. Здоровье у Ивана Тимофеевича было выдающееся, он мог подолгу и помногу пить в нужной компании и не напиваться, а приходил домой и принимался рассказывать о своей жизни сыновьям и квартиранту Павлуше.

— Главное — не завалиться! — говорил он для начала, имея в виду количество выпитого.— И вообще надо не заваливаться. А на жизнь заработать всегда можно. Вот приехал я как-то в Москву. То-се, туда-сюда — деньги идут. Не стало денег. Как же так: нужный человек, а без денег? Поговорил с одним, с другим. «Колхозник?» —

спрашивают. «Колхозник, говорю, руководящий!» — «Член партии?» — «Член».— «Иди, говорят, на такой-то этаж, в такой-то отдел, скажи — приезжий, руководящий колхозник, поиздержался, денег на дорогу нет, там очень чутко к этому относятся». Я пришел. Так и так, мол... И не успел я поговорить как следует, подают бланк: пиши заявление. Я стал писать. «Покороче»,— говорят. Я покороче. «Распишитесь, говорят, и получите деньги». Я расписался и тут же получил. Фу ты черт! А им все равно, у них фонды. Очень мне это понравилось — никакой волокиты. Конечно, для них я — капля в море, но у меня-то впечатление осталось хорошее. Одного себе простить не могу: мало попросил. Ну что мне стоило написать цифру покруглее? Им-то все равно, а для меня — заработок. Ну, в общем, понравилось!

Павел слушал и удивлялся: как все просто — зашел, написал заявление и получил.

Васютка начинал спрашивать отца:

— Как там в Москве, тятя, расскажи?

— Разве я мало рассказывал?

— Расскажи, тятя, как там?

— Что тебе Москва? Ты смотри, как здесь. Учиться, ребята, надо, вот что я вам скажу. Без ученья никуда. Только и с ученьем можно в дураках всю жизнь проходить, а на дураках воду возят. Активность надо проявлять, вот что я вам скажу, выступать надо, заинтересованность показывать. Говорить не научишься — жить не научишься! Ты чего рот раскрыл? — вдруг обращался он к Павлу.

А Павел слушал. Все в этом доме для него было интересно, и он не тосковал ни по своим родным, ни по своей деревне. К тому же Шурка чуть ли не каждую неделю навещал его, не считаясь ни с какой погодой, возил ему пироги, картошку, мясо, молоко — все, что скапливала и приготовляла бабушка. Павел, видимо, понимал, чего это ей стоило, и умел быть благодарным: передавал бабушке поклоны и даже писал письма. А бабушка частенько с надеждой говорила:

— Вот выучится — за все отплатит, все возворотит! — Правда, при этом она добавляла иногда: — Все возворотит, коли совесть не потеряет.

Шурка нередко навещал Павла и пешком, если в колхозе не оказывалось свободной лошади, либо пересылал еду с попутчиками.

В общем, Павлуша не голодал. Но все же, когда хозяйская семья садилась за обед, за ужин, он торчал в стороне и вздыхал, пока не приглашали за стол и его.

После ужина подвыпивший Иван Тимофеевич хвастался своей силой. Он становился раскорякой посреди избы, выпячивал живот и подзывал либо Васютку, либо Павла.

— А ну, давай!

Васютка брал от печи сосновое полено и привычно, со всего размаха бил поленом по отцовскому брюху. Иван Тимофеевич, даже не покачнувшись, выдыхал воздух и говорил Павлу:

— Теперь ты!

Павел первое время боялся бить изо всей силы, ему казалось, что случится какое-нибудь несчастье. Тогда Иван Тимофеевич обижался.

— Осторожничаешь? Этак из тебя никакого толку не выйдет. Давай еще! Только ребром не ударяй, держи полено так, чтобы попало круглой стороной. Ну!

Павел бил снова. Раздавался мягкий, невыразительный звук, полено отскакивало от бригадирского брюха, как от туго надутой резиновой подушки, и Иван Тимофеевич снова садился за стол, чтобы выпить еще два-три стакана чаю. В зимнее время ребята приносили ему из сеней с мороза огромный матрас, набитый соломой, ватное одеяло и делали еще что-нибудь по его требованию, иногда просто чудачили, читали таблицу умножения шиворот-навыворот, а он хохотал.

Однажды Павел ударил поленом неудачно, выше, чем следует, и Иван Тимофеевич задал ему трепку.

— Бей, да знай, кого бьешь, дурак!

Позднее дружба с Васюткой у Павла разладилась, хозяйский сын невзлюбил квартиранта. Но это произошло не сразу. Неторопливый Павел не мог все же угнаться за смышленым и быстрым своим дружком. Способности его оказались хуже, чем у Васютки, и когда он перестал заниматься на дому, ученье стало даваться ему с трудом. Павел не всегда успевал записывать, что говорили учителя на уроках. Поначалу Васютка охотно давал ему свои тетради.

— Ладно, списывай, потом сам не зевай!

Но Павел зевал снова и снова.

— Ты рот не раскрывай, раззява! — обижался Васютка.— Списывай, на!

Павел переписывал Васюткины тетради и постепенно стал подражать ему во всем, даже почерк его перенял. Он повторял Васюткины поговорки и прибаутки, копировал его повадки, походку. Васютка увлекался рисованием — и Павел стал рисовать, Васютка набросился на Майна Рида — и Павел тоже. Но Павел все делал медленно. Пока он читал «Всадника без головы», Васютка успел прочитать и «Отважную охотницу», и «Мароны», и «Охотников за черепами». Мало этого, в школе выяснилось, что и домашние задания у Васютки все готовы, а Павел то с одним не справится, то другое что не выполнит.

Пришло время, классный руководитель поручил Василию Бобкову взять шефство над отстающим Павлом Мамыкиным.

— А если он всю жизнь будет отставать? — спросил Васютка.

— Это твоя общественная нагрузка,— разъяснил ему учитель.— Твой общественный долг!

— Ничего я ему не должен!

— Бобков, я призываю тебя к порядку.

Бобков подчинился.

Вернутся они с занятий, Васютка наскоро поест — и на лыжи. Павел — тоже.

— А уроки сделал? — спрашивает его Васютка.

— Когда? Мы только пришли.

— Тогда садись решай задачи.

— А ты?

— А я пойду покатаюсь.

— А задачи?

— Я решил за уроком.

— Я перепишу потом у тебя.

— А сочинение по русскому тоже мое сдашь?

— От тебя же не убудет? — искренне удивлялся Павел.

Но Васютка все-таки злился всерьез и все чаще.

— Ты так и будешь всю жизнь на чужой шее ездить? — спрашивал он.

Васютка стал охотнее проводить свободное время со своим младшим братом, чем с Павлом. Антона уроками еще не загружали, и его можно было таскать с собой и на лыжах и на санках. Павел обижался и обиды свои вымещал на добродушном Антоне. Он прятал Антошкины лыжи, пачкал его тетради, однажды положил ему в кар-

ман несколько папирос из пачки, забытой Иваном Тимофеевичем на подоконнике, и Васютка, найдя эти папиросы, пожаловался отцу, решив, что его братишка уже курит. Отец без долгих расспросов и следствий выпорол парнишку.

— Кто тебя плохому учит, кто тебя воровству учит? — кричал он, совершенно рассвирепев от одного предположения, что в доме от него, от большака, что-то скрывают.— Разве я учу тебя воровать? Пусть все воруют, а ты не смей! Не смей себя марать, у тебя еще все впереди, тебе жить надо.

Настоящий виновник переполоха так и не был обнаружен.

* * *

Лишившись Васюткиной поддержки, Павел стал учиться плохо и в пятом классе просидел два года. В насмешку над его великовозрастностью одноклассники да и старшие ученики то и дело спрашивали его: «Когда женишься?» Если обидчик был не очень крепок, Павел шел на него с кулаками в открытую, в противном случае действовал исподтишка. Школа со всеми ее порядками, даже здание ее — деревянное, двухэтажное, с большими барачными окнами — стала ему немилой. Иногда Павел утешал себя, вспоминая слова Ивана Тимофеевича, что и с учением можно всю жизнь в дураках проходить, и пробовал «проявлять активность» на школьных собраниях.

Однажды это помогло. Поставили ему двойку по русскому языку, а на школьном совете нашелся защитник. «Надо ученика рассматривать в комплексе,— сказала о нем пионервожатая, она же преподавательница истории СССР.— Мамыкин — человек с общественным сознанием, растет в активисты. Это качество для нашего времени великое. Надо оказать Мамыкину моральную поддержку по всем линиям!..»

Преподавательницу истории поддержали, отметку Мамыкину повысили. Но это случилось только один раз. Больше общественное сознание Павла на оценке его успеваемости не сказывалось. И немилым стало ему даже село, где находилась школа: шумное, многолюдное, на высоком берегу реки, открытое всем ветрам зимой и летом. Павел на воскресные дни все чаще стал уходить вместе с другими учениками пешком в свою родную деревню, к

бабушке, домой, где всегда для него были и горячие блины, и картофельные тетери с маслом и где его никто не обижал.

Павлуша тоже старался угодить своей бабушке, как мог. Во время весенних оттепелей ученики собирали граблями для школьного участка навоз на базарной площади близ сельпо и на местах коновязей. Павел на эту работу ходил охотно, потому что в вытаявшей коричневой кашице нет-нет да и мелькали серебряные и медные монеты, оброненные зимой приезжими колхозниками. Как многие другие, он искал эти деньги, но собирал их не для себя, а для бабушки. Когда в фанерной копилочке, сколоченной им самим, набралось до двух десятков рублей, Павел разложил монеты стопками по их достоинству, завернул в бумагу каждую стопку в отдельности, перевязал нитками и передал бабушке сам, из рук в руки, как первый в жизни подарок. Анисья сначала испугалась, не начал ли ее внучек воровать, но, узнав, откуда деньги, обрадовалась им несказанно, показывала их и Шурке и соседкам, хвалилась:

— Понимающий растет человек, справедливый. Вот подождите, то ли еще будет!

Наевшись и отоспавшись, Павел ходил по улице, задрав голову, и, как в строю, высоко поднимал свои длинные ноги: знай наших! Вместе с ним маршировали и его товарищи по школе. Их никто не спрашивал, какие у них отметки,— достаточно того, что учатся, значит, не зря хлеб едят, выйдут в люди и не будут носом землю рыть. Взрослые смотрели на них с уважением, разговаривали по меньшей мере как с равными, а некоторые даже с оттенком подобострастности, словно с будущими светилами: кто их знает, может, все в начальники выйдут, и если не устроятся где-нибудь на районных постах, то в своем колхозе все равно сядут в контору, и с этим шутить нельзя. Ребята чувствовали, какое им отведено место на земле, и держали себя с достоинством, ни в какие драки не вступали, скандалов не затевали, да никто из сверстников и не посмел бы скандалить с ними. Подростки смотрели на выдающихся земляков с завистью и почтительностью, на какие только способны были в своем неустоявшемся возрасте.

А в последний год Павел начал даже посещать молодежные беседки, подсаживался к взрослым девушкам, привыкал разговаривать, шутить.

Беседки устраивались в избах то у одной девушки, то у другой понедельно. А иногда целую зиму в одной и той же избе у каких-нибудь бессемейных стариков, которым каждая девушка оплачивала свою очередь. Парни помещения не нанимали — так было заведено издавна.

Девушки собирались на беседки с вечера с рукодельем — вязаньем, вышивкой, чаще всего с пряcницами и, рассаживаясь на лавках вдоль стен, крутили веретена, пряли лен и льняную кудель. Парни же толкались без всякой работы, переходили от девушки к девушке, иногда садились к ним на колени — тоже так было заведено от века.

Павел, конечно, не думал еще ни о невесте, ни даже о любви. Чаще всего он садился рядом с Нюркой, внучкой пасечника Михайлы Лексеича. Она подросла, считала себя уже взрослой, хотя на взрослую еще не походила. Невысокая и чересчур тихая, она была принята в круг взрослых девушек-невест несколько раньше обычного лишь потому, что слыла в колхозе работящей и была старшей дочерью в семье.

В деревне Нюрку прозвали Молчуньей за ее необыкновенную стеснительность и немногословие. Может быть, Павел потому и сидел подолгу рядом с нею, что можно было ни о чем не говорить. Она молчала, и Павел молчал. Она часами сидела, пряла и ни о чем не спрашивала Павла, разве что только молча, глазами, которые изредка поднимала на него, и Павел, в свою очередь, ни о чем не спрашивал ее, и не дразнил, и не щипал, и не садился к ней на колени, как это делали другие, менее робкие ребята. За эти его великие достоинства Нюрка Молчунья прощала Павлу даже то, что у него часто был приоткрыт рот.

Летние каникулы Павел проводил дома в своем колхозе, но в полную силу не работал, да никто и не заставлял его работать, потому что ему была уготована иная жизнь. Сходит он, бывало, вместе со всеми на дальний сенокос и косу и грабли с собой возьмет, но не столько косит и гребет сено, сколько держится поближе к бригадирам, бродит по пожням да по перелескам, ест красную смородину, спугивает рябчиков и тетерок, гоняется за только что появившимися на свет зайчишками. Вечером он заберется в бревенчатый шалаш-избушку на душистое сено, отдыхает, пока не вернутся работники, а если они слишком задерживаются, нарубит сухих дров, разложит

костер посреди избушки, повесит чайники и котелки с водой, а порой даже картошки для щей начистит, если старик кашевар тоже на работе, и опять лежит отдыхает. Уже в сумерках сойдется на ночлег вся сеноуборочная бригада: десять — пятнадцать девушек и баб, усталые, но шумные, радостные, да два-три старика, да молодой бригадир и его заместитель — учетчик, и начинается для Павла самая развеселая жизнь. Пока готовится ужин, он возится с девушками, бегает за ними в темноте по кустам, играет в кошки-мышки, затем поест вместе со всеми из общего котла, хотя все лето бабушка собирала для него еду на особицу,— поест, послушает шутки-прибаутки да разные бывальщинки, сам расскажет какой-нибудь проезжий анекдотец, опять поиграет с девушками и засыпает позже всех, прикорнув между ними, отдыхая от своих наук и от трудов праведных.

Нюрка Молчунья неизменно оказывалась на этих дальних сенокосах, особенно когда узнавала, что там будет Павел. Что бы она ни делала, она делала хорошо, споро и на покосе становилась в голове всей колонны. Одно было плохо и беспокойно: работая на пожнях вместе со всеми, она почти по целому дню не видела Павла, а видеть его почему-то хотелось. Когда же Павел появлялся и даже становился с косой в один ряд со всеми, она беспокоилась еще больше: его ли это дело? А вдруг обрежется? Все-таки косить — не пером по бумаге водить.

Как-то Нюрка сказала Павлу:

— Сходи на пасеку.

— Зачем?

— Дедушка говорит: чего это мамыкинские ребята не зайдут, я бы, говорит, им...

— Чего — им? — заинтересовался Павел.

— Ну, медом накормить хочет,— застеснялась Нюрка.

— А ты ходишь?

— Я не хожу, чтобы разговоров не было.

— А нам можно?

— Другие-то ходят...

Шурка на пасеку не пошел, сослался на недосуг, Павел пошел один.

Разговорчивый Михайло Лексеич обрадовался ему, начал со старого:

— С батькой-то твоим мы, бывало, зайчиков били. Метко стрелял мужик, ничего не скажешь. И маховитый

был характером, не жадный: двух зайцев песем — поровну, а если одного — мне отдает, широкая душа! Вот она, судьба, какая: метко стрелял, а не воротился с войны, царство ему небесное. Хорошие, совестливые люди завсегда раньше гибнут. А мы тут живем, прости господи!..— Старик тяжело вздохнул.— Пойдем-ка давай в сторожку, у меня там под полом, конечно, запасец есть.

Михайло Лексеич старел, длинная борода его поседела и поредела, сквозь нее был виден незастегнутый ворот рубахи. Так поздней осенью начинает просвечивать лесная опушка. А брови разрослись и загустели еще больше, и глаза стали еще синее, только из-за бровей они редко показывались.

— Голову-то пригни,— сказал он Павлу, открывая дверцу в сторожку.— Ну и вытянулся ты, паренек, дай бог здоровья! Батько твой тоже был немалого росту, а ты, видно, еще выше пойдешь. Кедра, да и только!

В сторожке ничего не изменилось: слабый свет, бочка-медогонка, тихое жужжание пчелок на оконном стекле. Казалось, это были те же пчелки, что и много лет назад, они так же сверлили стекло: сверлят, сверлят, а просверлить никак не могут.

Густой запах меда защекотал Павлу ноздри.

— А зайцев нынче мало стало,— продолжал напевать дед.— Говорят, будто от авиации на них порча идет. Рассевает она всякие вредные порошки, крошит сверху, куда надо и не надо, а зайцы питаются травой да озимью, вот и дохнут.

Павел обиделся за авиацию:

— От авиации только польза, дедушка. Самолеты землю удобряют, а от этого урожаи растут.

— Ну что ж, растут так растут! — не стал спорить дед.— Тогда, стало быть, красный зверь зайца портит. Красного зверя развелось ныне видимо-невидимо, изничтожать его некому, собак подходящих нет.

— Что это за красный зверь? — спросил Павел.

— Лисица. Для кого лисица, а для охотника — красный зверь.

Михайло Лексеич слазил в подполье, вынес горшок меду с вощиной, зачерпнул стакан холодной воды из ведра, вытер о штанину деревянную ложку; все расставлял и раскладывал перед Павлушей на скамье, а сам говорил, говорил:

— Вот и с медом нынче худо стало. Пчел поубавилось, а может, изленились и они — никак настоящего взятку нет. Я так полагаю, что и пчелы гибнут, конечно, от порошков, от удобрений этих. Совсем ослабели семьи. Да ты ешь, ешь, не сумлевайся! — вдруг перебивал он свой рассказ.— Тебе не грех, ты много не съешь, можно. Другие вон бидоны сюда присылают: председателю дай, кладовщику дай, бухгалтеру дай! И все — пока на весы взяток не ставили... Кушай на здоровье!

Павлу нравилось, что дед разговаривал с ним теперь, как со взрослым.

— Не иначе как от авиации и пчелки гибнут,— повторил старик.— Семьи ослабели, меду не стало, а меня, вишь, во всем обвинить хотят. Слыхал, наверно? Всем дай, да меня же и винят, вот, брат, какое дело. А попробуй не дай — беда! Лучше бы совсем пасеку закрыли. Так нет, под меня подкапываются...

Михайло Лексеич внимательно посмотрел на Павла, словно задумался, рассказывать ли ему все до конца, синие глаза его блеснули из-под бровей, посмотрел и договорил:

— Меня винят во всем: «Твои-то ульи, говорят, сильные!» Что я им скажу на это, прости меня, господи? Конечно, свои — они свои и есть. Только и моим в этом году несладко приходится. Для своих-то я на черный год запасец меду оставляю. А колхозных зимой сахаром кормим, мед по бидонам расходится. А сахарный сироп для пчел все равно что веточный корм для коров.

Павел слушал, как Михайло Лексеич доверчиво жаловался ему на какие-то несправедливости, но вникнуть ни во что не мог и только аппетитнее выжевывал вощину да запивал мед водой. А дед, выложив все свои обиды, опять начинал угощать его.

— Нюрке я давно говорю: посылай, мол, парня ко мне, он учится, ему мед на пользу. Один выучится, другой выучится — глядишь, везде лучше дела пойдут. Тогда и меду всем хватать будет, и воровать люди перестанут: что без нужды воровать? Да ты ешь, ешь! И за батьку своего ешь! Уж я бы его накормил ныне, да, вишь, не привелось. Погиб человек. Вот совестливый был мужик...

Павел зачастил на пасеку. Дед встречал его по-разному: то приветливо, почти по-родственному, то начинал ворчать и жаловаться и тогда не угощал медом. Все чаще говорил он о бессовестных людях, расхищающих пче-

линое добро, а не об охоте, не о красоте окрестных лесов и лугов. И о своей совести что-то поговаривать начал, вздыхая и обращаясь при этом к своему богу, словно чувствовал перед ним какую-то большую вину...

А когда Павел уезжал из деревни, Нюрка Молчунья навещала его бабушку. Придет, скажет:

— Я просто так.

— Ну, коли так, садись.

— Шла мимо, дай, думаю, зайду, и зашла.

— Так садись.

— Да я так.— А сама стоит у порога и приглядывается, нельзя ли чем помочь старой Анисье по хозяйству, не нуждается ли она в чем. Однажды принесла полкринки меду, сказала:

— Это дедушка прислал в поклон. «Передай, говорит, Анисье, она, говорит, не дурная, не откажется». Только ты, бабушка, не подумай чего-нибудь: у него свои колоды есть, этот мед из своих ульев.

Бабушка обрадовалась меду, она сама любила его больше, чем сахар, и для здоровья внуков считала его шибко полезным, а потому приняла и поблагодарила:

— Коли свои колоды, то можно, принимаем! Скажи дедушке спасибо. Вот Пашута выучится, он его добро не забудет.

Подружилась Молчунья с Шуркой, с ним и разговаривала больше, чем с кем бы то ни было. Как-то вышила ему кисет для табаку. Шурка удивился:

— Ты чего? Я ведь не курю.

— Я просто так. Не куришь, а все равно будешь. Все курят, никуда от этого не уйдешь.

— Ну ладно, коли так,— согласился Шурка и взял кисет.

А бабка Анисья узнала, крик подняла:

— Ты мне парня с ума не своди! Ты еще самогонки принесешь або водкой будешь спаивать?

Нюрка с перепугу проговорилась:

— Это я для Паши, коли Шура не курит,— сказала она и перепугалась еще больше.

— Паша тоже не курит! — закричала Анисья и вдруг впервые как-то очень внимательно посмотрела на Нюрку.— Ах, ты для Паши это?..

Никто еще ничего не замечал за Нюркой, и никто ни на что не намекал ей, но сама-то она уже догадывалась, что дело ее неладно, влюбилась она.

Оставаясь одна, Нюрка припадала головой к теплой печи и плакала:

«Ох, неладное мое дело! И что же ты задумала, головушка моя непутевая! На что же ты, сердечушко мое несуразное, полагаишьси! Я-то ведь неграмотная, как была, так и есть темная бутылка, а он — вон он какой! Выучится да нахватается всего, войдет в пору и уедет на города — только его и видели!»

На угоре и на беседках она все чаще пела свою любимую частушку-коротышку:

Голова моя не дура,
Голова моя не пень,
Только думает головушка
О дроле целый день.

* * *

Председатель колхоза Прокофий Кузьмич все же считал, что из всех ребят его деревни, обучавшихся в семилетке, самые серьезные надежды подает Павел Мамыкин. «Что-то в нем такое имеется, умственное что-то...— думал он, когда видел Павла на гулянке.— Этот своего не упустит, цепкий. Вот, скажем, Нюрка. А что? Нюрка — девка работящая, даром что с виду никуда. Для жизни такая именно и нужна. А у самого Пашки и вид подходящий, и рост есть. Главное — не дуролом, горячки зря не порет, держит что-то себе на уме. Из такого может человек получиться. В кадры может пойти, руководителем стать...»

— Я тебя, Павел, приобщу,— говорил он ему не раз.— Учись только, а уж я тебя поддержу. Раз начал тянуть, так и буду тянуть до конца. Своих сынов у меня нет.

Прокофий Кузьмич с умилением вспоминал, как привез Пашуту сам к директору школы, и устроил его на квартиру, и бабке Анисье помогал, и начинало ему казаться, что он сделал так много для этой семьи, особенно для Павла,— так много, что отступать было уже нельзя.

— Дорого, брат, ты мне достался, потому должен оправдать доверие, вырастешь — послужишь колхозу. Возлагаю на тебя надежды! — И Прокофий Кузьмич похлопывал Павла по плечу.

Шурка тоже, конечно, парень неплохой, растет в отца, но это же простой работяга, земляной человек. Такие вытягиваются сами по себе, как сорная трава, чего с ними возиться. А и возиться будешь — никто тебя за это не похвалит. Ломит он спину, как и отец ломил, как тысячи лет до него ломили. Ученье не для него. А ныне для руководства образование необходимо, горизонт. И характер! Так считал Прокофий Кузьмич.

— А как ты считаешь? — спрашивал он у Павла.

Никакого мнения на этот счет у Павла еще не было, он стеснялся, робел и, кроме «спасиба», ничего выговорить не мог. Но лестные намеки Прокофия Кузьмича относительно своей будущности выслушивал с удовольствием.

Руководить? К этому Павел готов был приобщиться хоть сейчас. Только почему в деревне? Ведь это значит — так и не выбиться в люди. Для чего же тогда учиться? А может, и верно не стоит учиться?

Часто бывая в селе, где находилась семилетняя школа, Прокофий Кузьмич навестил как-то своих дальних родственников, у которых Павел стоял на квартире.

— Ну, как вы тут? Как мой сирота пригрелся у вас?

— Парень ничего, толковый,— ответил ему Иван Тимофеевич, — пальца в рот не клади! Только вот с моими ребятишками чего-то не поладил. Грызутся из-за уроков.

— Кто кого грызет?

— А разве поймешь? То-се, пятое-десятое, глядишь, уж переругались. Васютка мой — на него, он — на Васютку: «Не помогает, говорит, ничего».

— Почему не помогает? Это нехорошо. Выручать надо друг друга, тянуть! — наставительно заговорил Прокофий Кузьмич, раздеваясь и усаживаясь за стол, на котором уже появились водка и еда.

Васютка вышел из кухни, сказал:

— Вот он и тянет. Списывает все время.

— Что значит списывает?

— То и списывает...

— Ты подожди, малец, помолчи! — обиделся Прокофий Кузьмич.— Чего списывает? Что плохого, что списывает? Жалко тебе, что ли? Пускай списывает! А ты у него списывай. Что ж ты, брат Иван Тимофеевич, просветить их не можешь? — обратился он к хозяину не то всерьез, не то в шутку.

— Просвещаю! — засмеялся Иван Тимофеевич.— Так и сяк просвещаю. Тоже про взаимную выручку им говорю. Не воспринимают. И водку не могу научить пить, сукиных детей. Может, ремнем попробовать? Давай, Прокофий Кузьмич, просветимся сами!

Иван Тимофеевич налил водки, и они выпили как бы между прочим.

— А где Пашка? — заинтересовался председатель.

Павел тоже вышел из кухни, поздоровался.

Прокофий Кузьмич осмотрел его с ног до головы, спросил:

— Ну что?

Павел переступил с ноги на ногу, промолчал.

— Если что нужно, говори, я тебя всегда поддержу,— сказал председатель.— Вытяну! Другие не помогают — я помогу. Советская власть поддержит. А вырастешь, тогда мы посмотрим. Ты им еще покажешь!

Иван Тимофеевич с готовностью поддакивал председателю:

— А я что ему внушаю? Учись жить у Прокофия Кузьмича — вот что я ему внушаю, он сам это может подтвердить. «Вот твоя главная школа»,— говорю я ему!

— Ладно, ладно! — прервал его Прокофий Кузьмич.— Пьянеешь ты, что ли?

Но Иван Тимофеевич пьянел не от вина.

— Что «ладно, ладно»? Разве я не правду говорю? Ты, Прокофий Кузьмич, оборотливый и знаешь, что выгодно, что нет. Продал петушков по базарной цене, курочек купил у соседнего колхоза по дешевке. Выгодно? Выгодно! Потом совсем птицеферму ликвидировал — значит, так выгоднее, хлопот меньше. Мы все у тебя учимся, Прокофий Кузьмич! Вот был я в Москве, поиздержался, то-се, пятое-десятое, написал заявление, и дали мне на дорогу двести двадцать пять: сколько попросил — столько и дали. Прогадал я? Прогадал! А Прокофий Кузьмич не прогадал бы...

— Ладно, ладно, не мели. Наливай лучше! — опять попробовал остановить его Прокофий Кузьмич, хотя похвалы в свой адрес обычно принимал благосклонно.— Я же не о своей выгоде беспокоюсь.

— А если бы и о своей, что ж такое? Почему грех о своей выгоде побеспокоиться?

Прокофий Кузьмич взял бутылку сам и налил водки в две стопки.

— Пил ты сегодня, что ли? — спросил он Ивана Тимофеевича.— И почему для хозяйки стопки нет? Анна, выпей с нами!

Жена Ивана Тимофеевича, Анна, рано и быстро постаревшая женщина, увядшая уже настолько, что Васютку и Антошку можно было принять за ее внуков, не успела ничего ответить, как муж ответил за нее:

— Зачем Анне пить, ей здоровье не позволяет.— И добавил, обращаясь к жене: — Делай свое дело!

Прокофий Кузьмич возражать не стал, и мужики выпили вдвоем.

Анна, сидевшая перед этим на лавке возле стола, встала и ушла на кухню. Она всю жизнь делала свое дело: с утра до вечера возилась по хозяйству, что-то стирала, сушила, что-то варила и стряпала, собирала на стол, убирала со стола, и молчала, и довольна была уже тем, что муж часто освобождал ее от тяжелой колхозной работы.

Васютка и Павел тоже пошли на кухню, но Иван Тимофеевич остановил их:

— А вы сидите с нами и слушайте, что будет говорить Прокофий Кузьмич.

Ребята послушно сели: даже озорной Васютка знал, что с захмелевшим отцом можно шутить, но спорить нельзя.

Прокофий Кузьмич налил еще по стопке.

— Ты из меня профессора не делай,— сказал он своему родственнику.— Чего я им буду рассказывать? Мое дело к пенсии идет. Я все свои копья уже обломал. Вот дотяну как-нибудь до возраста и сдам дела, пусть теперь молодежь орудует. Молодых приобщать надо, им виднее, куда что движется.— И он посмотрел на Васютку и Павла.

— У нас никуда не движется. Вот в Москве движется.— Ивана Тимофеевича опять понесло на воспоминания о Москве.— Денег там, конечно, идет много, зато и добывать есть где. Там базары, то-се, пятое-десятое, обороты, а у нас тут вонючее болото. Но и чудят там больше. Вот, скажем, магазины продовольственные — хлеб, булки всякие, бакалея, то-се, пятое-десятое. Входишь, берешь корзину, идешь по кругу, накладываешь полную корзину, круг кончается, тут тебе, голубчику, насчитывают, корзину отбирают, и ты идешь домой как миленький, с полной охапкой товара — быстро и здорово.

— Здорово! — воскликнул Васютка, которого возбуждали любые рассказы отца о Москве.

Оживился и Павел.

— У нас бы такой магазин — все булки по карманам бы рассовали,— сказал он.

— Да что ты понимаешь! — зыкнул на него Васютка.

— А что, неправда, скажешь? Народ у нас несознательный.

— Много ты понимаешь — народ, народ!

Прокофий Кузьмич посмотрел на ребят и хитро заулыбался.

Павла поддержал Иван Тимофеевич:

— Правду, Пашка, говоришь! Мыслимое ли дело, чтобы наш здешний человек сам за себя отвечал? Вот если бы он по трудодням получал полной мерой!

Поддержал Павла и председатель:

— Народ воспитывать надо, а потом уж по трудодням, Пашутка правильно мыслит!

Павел не очень понимал, за какие мысли его похвалили, но раз хвалят старшие, значит, он сказал то, что надо, и Васютка оказался в дураках.

Окончить семилетку Павел не смог. Хотели его оставить на второй год и в шестом классе, но не решились: Мамыкин считался уже переростком. Тогда учителя договорились устроить его в ремесленное училище в ближнем городке и попросили Павла вызвать на совет когонибудь из родственников.

Приехал Шурка.

* * *

Здоровый, сильный Шурка постепенно втягивался в колхозную работу на положении взрослого и становился как бы главой семьи, хотя сам признавал за старшего во всем только Павла. Шурка не удивлялся, не обижался на то, что вот он и зимой и летом делает все, что положено по хозяйству и по колхозным нарядам, а Павла зимой дома нет, а летом он хоть и живет дома, но вроде как на курорте. Более того, Шурка теперь относился к своему старшему брату даже почтительнее, чем раньше. Он не только уважал его, он даже восхищался им. А то, что брат имел право ничего не делать с утра до вечера и день за днем, вызывало в нем какое-то даже особое расположение к нему и особую предупредительность в отношениях. «У каж-

дого своя судьба,— думал он,— не всем же быть образованными. Зато уж когда брат выучится, он сразу изменит всю мою жизнь — и мою и бабушки».

Просить и ходатайствовать за своего брата — в этом никакого унижения для себя и для своего отца Шурка не видел. Если бы речь шла о нем самом, Шурка никогда не ссылался бы ни на какие семейные и хозяйственные затруднения, а о своем собственном сиротстве он вообще не думал. При чем тут...

Шурка прошел в кабинет директора, куда показал ему Павлик, в конце длинного светлого коридора с желтым, протертым изрядно полом, искоса оглядывая на ходу яркие стенные газеты, географические карты и лозунги о борьбе за молоко и масло, за лен и силос, о подготовке к весеннему севу на колхозных полях. Он не робел, не пригибал голову, не сторонился встречных ребят и девушек, шел свободно в своем рабочем пиджаке и кирзовых сапогах, держа кепку в руке. Он даже не спрашивал себя, зачем идет к директору школы, в которой обучается его брат. Раз позвали — значит, надо. А робеть? Что ему робеть — он же не учится здесь и никогда не будет учиться, это не его доля. Его доля землю пахать. Он же пробовал учиться... А землю он любит. Да и нельзя оставлять ее совсем без хозяина. Бесхозная земля рожать не будет. Надо, чтобы земля не осиротела.

— Тебе что нужно? — мельком взглянув на Шурку, спросил загорелый, прокопченный директор.

Шурка его сразу узнал — директор школы много раз приезжал в деревню в роли уполномоченного райкома и райисполкома либо от сельсовета по разным кампаниям и налоговым обложениям и сборам.

— Почему не на занятиях?

Шурка прикрыл двухстворчатую дверь, обошел широколистый фикус, возвышающийся в кадушке на табурете, и предстал перед зеленым письменным столом, на котором были и стопки тетрадей, и книги, и глобус, и микроскоп, и желтая из деревянных палочек модель типового скотного двора.

— Я Мамыкин.

— Что Мамыкин?

— У вас учится мой брат. Меня приглашали.

— Простите... Тэк-тэк-тэк. Вы старший брат Павла Мамыкина? Тогда давайте поразговариваем.

— Я его младший брат,— смутился Шурка.

Директор стал медленно подниматься со стула, словно откуда-то издалека возвращался на землю.

— Тэк-тэк-тэк... Значит, вы его младший брат. Очень хорошо! Ну что ж, очень хорошо!

— Вы меня приглашали?

— Да! А бабушка?

— Бабушка не может — стара, слаба.

— Тэк-тэк, очень хорошо! А как у вас дела идут предвесенние?

— Да ничего, идут. Только семян придется прикупать. Недавно стали проверять сусеки, а там — мыши, много семенного овса поели. И льносемян не хватает. Сейчас вся надежда на лен. Ставку на лен делаем!

Директор начал разглаживать свои усы, оттягивать их книзу, словно они мешали ему получше разглядеть стоящего перед ним гражданина.

— Тэк-тэк... Очень хорошо! А со скотом как? Падеж в этом году был?

— Падежа не было,— отвечал, как на уроке, Шурка.— Мы что в этом году сделали? Мы на зиму наготовили возов пятнадцать веточного корму. Помогло!

— Тэк, очень правильно сделали!

— Да что уж тут правильного, если скот приходится хворостом кормить, а трава нескошенная под снег уходит?

— Это интересно! — вроде как обрадовался директор.— Не успели скосить?

— Каждое лето не скашиваем. А и скосим, так сено гниет на месте, неубранное. Бабушка моя говорит, что бог наказывает. Лучше бы уж разрешили для своих коров хоть понемногу корму заготовить, а то и свои коровы голодные стоят всю зиму.

Директор потянул усы книзу.

— Выходит, что вы хотите в первую голову кормить своих личных коров? — спросил он.— А как это называется на нашем языке, товарищ Мамыкин? Слыхали вы что-нибудь о частном секторе в народном хозяйстве?

Шурка не смутился, ответил:

— Коровы не виноваты, что они в частном секторе. Они ведь не в чужом государстве, все советские. И молоко от них пьют не буржуи какие-нибудь, а свои люди. А получается, что ни колхозных, ни своих коров не кормим. Вон какие они стали теперь, от овец не отличишь, разве

это коровы — выродки. Сердце кровью обливается, как посмотришь на их жизнь.

— Это у кого сердце кровью обливается, у вас, что ли?

— И у меня. Что я, не человек?

— А председатель ваш куда смотрит?

— Что председатель? Он все помощи ждет. Если б он меньше на советскую власть надеялся, может, лучше было бы. Сам бы думать начал, и скот бы меньше скудался. И свиньи у нас голодают, жалко смотреть.

— Тэк-тэк!..

— Есть у нас такая Нюрка, маленькая девчонка, Молчунья. Ее поставили на свиноферму. А зимой свиньи от голода — совсем как дикие звери. Все деревянные кормушки изгрызли. Нюрка каждое утро уходит из дому и с матерью прощается, потому что боится: схватят ее когда-нибудь свиньи и съедят. И падеж каждую зиму. Тогда что Нюрка придумала? Стала собирать конские свежие яблоки и кормить ими свиней. Навалит полное корыто, чуть посыплет отрубями да перемешает, и свиньи жрут на доброе здоровье. Падеж прекратился. В районной газете — читали, наверно? — целая страница была напечатана, как в нашем колхозе свиное поголовье сохранили. Нюрка делилась своим опытом.

— Изобретательная девушка! — восхищенно сказал директор.— Правильно сделала, молодец!

— Конечно, правильно сделала. И молодец — тоже правильно. Только про такую правду лучше бы в газете не печатали. Свиньям и то стыдно было...

И вдруг директор спросил:

— Вы, случайно, не бригадир, товарищ Мамыкин? Не председатель колхоза?

Шурка сразу осел, застеснялся.

— Почему вы не учитесь, молодой человек? Как тебя звать?

— Александр.

— Так почему же ты, Александр, не учишься?

— Павлик учится.

— Павлик?

— Да.

— А ты что?

— А я уж буду на земле.

— Вот для земли-то и надо бы учиться.

— Нельзя мне, Аристарх Николаевич.

— Тэк! Не понимаю. А ну-ка, садись, Александр!

Шурка сел на стул под фикусом.

— Не понимаю,— повторил директор.

— У нас так ведется, Аристарх Николаевич: если всем учиться нельзя — старший учится. И бабушка хочет, чтобы Павел выучился, скорее помощь придет.

— Значит, бабушка за Павла стоит?

— Да! И Прокофий Кузьмич, председатель наш, на него очень надеется. А я — чтобы земля не осиротела.

— Как ты сказал? — переспросил директор.

Шурка смущенно промолчал.

— Значит, чтобы земля не осиротела? Тэк-тэк! Хорошо сказал! — Директор подвинул к себе тетрадку и записал что-то на чистой линованой страничке, словно поставил Шурке отметку за хороший ответ.— А Прокофий Кузьмич ваш... что ж, Прокофий Кузьмич, он действительно все на кого-нибудь надеется. Не просчитается он с Павлом, не ошибется, как ты думаешь?

Шурка опять промолчал.

— Я хочу сказать,— пояснил директор,— будет ли ваш Павел потом работать в колхозе?

Что мог ответить на это Шурка? Разве Павел учится для того, чтобы работать в колхозе? Бабушка об этом думает совсем иначе. А как думает об этом сам он, и думал ли он об этом когда-нибудь и как следует?

— Прокофию Кузьмичу виднее,— сказал он невнятно.— Надо же кому-то и в люди выходить.

Директор удивился.

— Вот это, батенька мой, что-то не то. По-моему, ты говоришь не свои слова. На тебя это не похоже.— И Аристарх Николаевич потянул усы книзу.— Прокофий только и ждет, чтобы на пенсию выйти, а ты говоришь — ему виднее. Да что ему виднее? Все ли он видит, твой Прокофий Кузьмич? Видит ли он тебя, например?

И на это Шурка не мог ничего ответить.

Директор опять что-то записал в тетрадку и заговорил словно бы о чем-то другом, очень спокойно:

— Отец твой — я же его хорошо знал! — обязательно бы стал тебя учить. Тебя, а не Павла.

— Почему не Павла?

— Да вот так: тебя, а не Павла!

— Пускай уж лучше Павлик учится,— тихо сказал Шурка.

— Вот именно: если бы лучше! Не получается что-то у твоего Павлика, дорогой мой Александр. Не получается!

— Что не получается? Как?

— Да вот так, не получается.

Шурка заволновался, оперся руками о стол, словно раздумывая — встать ему и уйти сразу или остаться и слушать, что скажет директор еще.

И директор сказал еще:

— Опять на второй год остается ваш Павлик.

Тогда Шурка понял и испугался.

— Не оставляйте его, пожалуйста! Он у нас старший... и сирота,— торопливо стал просить он.

— Старший, да! Годиков ему многовато. А насчет сиротства — ну сколько же можно? Подрос уже... Выходит, он сирота, а ты его покровитель? Нельзя ему больше оставаться на второй год.

— Нельзя, бабушка очень худа стала,— подтвердил Шурка.— А мы с ним поговорим, он все поймет. Он же у нас... Мы на него так надеялись... Как же это он?..— Говоря так о старшем брате, Шурка пока недоумевал больше, чем негодовал.

— Тэк-тэк, понимаю,— снова раздумчиво затэкал директор.— Бабушка, значит, не в курсе дела, ничего не знает?

— Бабушка ничего не знает. Но мы поговорим с Павликом.

— Ну, хорошо!

Директор рассказал Шурке о школах фабрично-заводского обучения, о ремесленном училище, куда он рекомендует направить Павла,— как раз будет очередной набор. Шурка ничего не слыхал об этом обучении, но, по словам директора, выходило, что это прямой путь в инженеры, и он успокоился: чем инженер хуже любого районного начальника? Значит, в судьбе брата ничего не меняется? Но что же он, Павел, думает все-таки?.. Как же он все-таки мог?..

— А тебе, Саша, еще раз говорю: хорошо бы поучиться самому. На себя надо больше надеяться! — заключил Аристарх Николаевич, поднимаясь с кресла и доброжелательно глядя ему в глаза, отчего Шурка покраснел.— Конечно, без отца, без матери плохо жить. Иные с пути сбиваются, растут вкривь и вкось. Но ведь это не со всеми случается... А отец у вас был настоящий работяга. Не

думаешь же ты, что он в люди не выбился? Поучиться бы тебе...

Шурка понял, что понравился директору школы, и это ему было приятно. Из кабинета он вышел в хорошем настроении, даже о Павле не стал думать плохо. Но через несколько минут он вернулся.

— Извините, Аристарх Николаевич, я воротился... Бабушка у нас очень плоха, я ничего не буду ей говорить. Пожалуйста, не передавайте ей ничего...

Аристарх Николаевич пожал Шурке руку.

* * *

Все лето Павел провел дома. Он радовался, что больше не надо возвращаться в семилетку, где приходилось драться из-за того, что его дразнили «женихом». Драться он уже стыдился: с кем ни свяжись, все ему до подмышек. И сила появилась мужская. Чуть толкнет, бывало, одноклассника, а тот летит поперек коридора, того гляди, стукнется головой о подоконник. Слегка возьмет кого-нибудь за ворот, чтобы только припугнуть, а у того, смотришь, ни одной пуговицы на рубашке.

Все-таки в семилетке трудная была жизнь для Павла. Приходилось то и дело хитрить, изворачиваться, чтобы не получать частых взысканий от учителей. Других держит в страхе и сам постоянно дрожит: вдруг увидят, застанут, застукают. Только, бывало, выпрямится во весь рост, сожмет кулачищи, оскалит зубы, чтобы образумить обидчика, как возникает перед ним учитель математики, словно восклицательный знак, или погрозит скрюченным пальцем сладкогласая учительница пения в узкой юбке. И Павел, грозный, с авторитетными кулаками, вдруг сгибается и начинает униженно улыбаться, словно милостыню просит: не обижайте, Христа ради, круглого сироту!

Бабушка ухаживала за Павлом, как только могла: она его кормила с утра до вечера и все спрашивала: «Не голоден ли, Павлуша?» Наверное, все бабушки одинаковы. Пашута еще спит, а она уже затопит печку, подоит корову, приготовит для него молока, и парного, и топленого с коричневой, чуть подожженной жирной пенкой, положит в чашку простокваши с добавкой нескольких ложек кисловатой густой сметаны, в другую чашку положит гущи вместе с сывороткой: этот домашний дере-

венский творог, полученный в печи на вольном духу из простокваши и разрезанный еще в кринке на четыре дольки, Пашута особенно любил; кроме того, прикроет бабушка от мух на чайном блюдце колобок только что взбитого сосновой мутовочкой сливочного масла; выставит все богатство на стол и ждет, когда внук проснется. А в большом глиняном горшке уже затворены блинки, а на сковородке в свином сале шипят для блинов ошурки-шкварки: Павлуша любит свернуть широкий горячий блин в трубочку, вывалять его целиком в кипящем сале, прихватить ложкой несколько ошурков и есть по целому блину сразу, не разрывая. А с огорода уже принесены и лучок, и свежая редька, и свежая картошка.

Любит еще Павлуша студень из свиных ножек — светлый, со снежными блестками, только что из подвала, с ледника. Он как-то сказал,— пошутил, наверно, озорник! — что любит все такое, чего жевать не надо. А студень — что его жевать? Он во рту тает.

Для Павла каждый день праздник. Просыпается он поздно, потому что до полуночи и дольше гуляет на угоре, шутит с девушками — большой уже стал внучек, дай бог ему здоровья! Вот полюбовался бы на него отец, если бы жив был, царство ему небесное!

Проснется Павлуша, спустится с сеновала, сделает зарядку на дворе — попрыгает, помотает руками, умоется на колодце, придет в избу, глянет на стол и ахнет:

— Ну, бабушка! Как бы я без тебя жил? И откуда у тебя все это берется?

И бабушка старается еще больше: благодарность внука ей дороже всего. Шурку корми не корми — он молчит, а Павлуша рассыпается.

Так каждое утро.

А как бы она сама жила без Павлуши, без того, чтобы думать о его большом пути, надеяться на него, кормить, обхаживать его, угождать ему?

Конечно, младшего внука, Шурку, она тоже любит, и не меньше, но Шурка — он привычный, на земле родился, землей и живет. А Пашута пошел дальше, этот учится, от него всего можно ожидать. Поэтому все, что есть лучшего в доме, в бабушкиных чуланах и в погребе, в поле и на огороде,— все для старшего внучка, все для Павлуши. Ему лучший кусочек, ему рубашку поновее да поприглянее, и шапку заячью, и сапоги покрепче, на него идет

бо́льшая часть отцовской пенсии, ведь и на карманные траты все рублевочку-две ему положено, не откажешь,— слава богу еще, что хоть не курит, не пьет, в карты не играет!

Павел принимал все, хотя о будущем своем пока много не задумывался. Знал только уже, что в деревне ему жить не придется, что хорошее будущее у него будет. Бывало, правда, что он стеснялся есть отдельно от своего брата и от бабушки, есть не то, что едят они. Как-то бабка достала у соседей по дешевке молочного поросенка-ососка, вымыла его, вычистила, опалила, нафаршировала гречневой кашей да молоком со взбитыми яйцами и зажаренного, с хрустящей золотистой корочкой подала Пашуте в плошке, как к престольному празднику или к свадьбе, целиком. Павел втянул в себя воздух и смущенно оглянулся: у порога стоял Шурка, проверяя пальцем остроту серпа,— он только что поел вареной картошки на кухне и готовился снова идти в поле; бабушка поставила в угол ухват, которым достала плошку с поросенком, и сметала хлебные крошки и картофельные очистки с кухонного стола, сама она еще не обедала,— посмотрел на них Павел и совестливо забормотал:

— Не буду есть один. Такого поросенка на всех хватит. Давайте вместе!

— Что ты, что ты, Пашута! Мы сытые, мы всегда дома, а ты будто гость у нас. Мы едали всего. И не выдумывай, садись давай. У тебя голова вон как должна работать. Что ты, родной!

Шурка повернулся от порога и выжидательно глянул на своего старшего брата.

— Ты думаешь, мы голодные, да? Мы ничего сами не едим, да?

— Знаю, как вы едите. Садитесь, а то и я не буду есть.

Павел настоял на своем, поросенка они съели вместе. Шурка был этим растроган, а бабушка не раз после хвалилась:

— Вот он какой у меня, Павлуша-то!

Но бывало и по-другому. Павел приносил рыбу с реки — окуньков, плотичек, пескарей: с удочкой он мог сидеть над заводями по целому дню. Бабушка наварит в горшочке ушицы с лучком, с красным перчиком и жаркое из плотичек приготовит такое, что пальчики оближешь.

Павел опять обижается:

— Все одному? Шурка, садись со мной!

Бабушка кидается сразу на обоих:

— Что вы, что вы, много ли тут рыбки, что с ней двоим делать, на одного не хватит.

Павел поломается немного и начинает есть один.

Иногда Шурка искренне удивлялся, что Павлика может что-то смущать. Зависть или иное какое недоброе чувство еще не проникали в его сердце. Казалось, разговор с директором школы ничего не изменил в его отношении к брату. К тому же это был все-таки его старший брат!

Лето выдалось слишком хорошее, жилось слишком легко, и Павел опоздал с представлением необходимых документов в ремесленное училище. Когда он приехал в город — а привез его опять же Шурка,— там занятия уже начались, в общежитии не было ни одной свободной койки, и Павел в списках учащихся не числился.

В первый раз он испугался, что не будет учиться и придется вернуться домой, работать в колхозе. За него опять стал действовать Шурка. Он попал к заведующему учебной частью, объяснил, в чем дело, ссылаясь на то, что Павел Мамыкин — сын солдата, погибшего смертью храбрых в Великую Отечественную войну, и завуч согласился сделать для него исключение, если будет написано соответствующее, хорошо аргументированное заявление. «Правда, возраст уже на пределе, ну да как-нибудь...»

Шурка передал разговор брату, и Павел написал заявление:

«Прошу не отказать в моей просьбе. Вырос я без отца, без матери. Отец мой погиб смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками, а мать умерла на колхозной работе. Я хочу честно трудиться для Родины, вырастившей меня, и, если потребуется, отдать за нее свою молодую жизнь. Пожалейте сироту, не откажите!

К сему *Павел Мамыкин*».

— Силен! — сказал завуч, прочитав это заявление, должно быть имея в виду его слог, и включил Павла в список учащихся дополнительно.

Койка в общежитии тоже нашлась.

* * *

Озимые вымокли еще осенью. Яровые посеяны были слишком рано, задолго до окончания заморозков,— Прокофий Кузьмич очень хотел отчитаться первым,— и проку от яровых тоже не предвиделось. Колхозники могли надеяться только на лен.

Лето выдалось мягкое, влажное, лен шел хорошо. Не раз менялись цвета ржи, а лен до поздней осени оставался ярко-зеленым. Во время цветения участки его превратились в бирюзовые озерца, и перед этим нежным сиянием даже леса окрестные казались черными.

Шурка посоветовался с бабушкой и сам напросился в льноводческое звено. Женщины приняли его охотно, не посмотрев на то, что он парень, хотя льном парни обычно не занимались. Шурка был у них на особом счету. Если бы не Шурка Мамыкин, может быть, и не было бы такого льна в этом году — так думали многие.

Но Шурка-то знал, что все сделала бабушка, а не он. Ранней весной, когда в колхоз поступила команда начать сеять лен, бабушка Анисья спросила внука:

— Неужто правду про лен люди судачат?

— А что? — спросил, в свою очередь, Шурка.

— Будто сеять приказано?

— Сегодня начинали, да трактор забуксовал, грязно.

— Ну, слава богу!

— А что? — спросил снова Шурка.

— Что, что!.. С ума они посходили, вот что! Где это видано, чтобы лен по грязи сеяли?

— А как же, бабушка, говорится: сей в грязь — будешь князь.

— Разве это про лен? Это про зерно говорилось.

Шурка бабушке поверил, тем более что слышал в поле, как один тракторист ругался: «Опять головотяпите! Обсуждали, обсуждали, а вы опять за старое!» Тракториста оборвал полеводческий бригадир: «Сей, тебе говорят! Указание есть».— «Не вырастет ведь ничего».— «А что я могу сделать? Пускай не вырастет...»

И Шурка сказал бабушке:

— Заставят сеять все равно.

Анисья сразу подняла крик:

— А ты чего слюни распустил? Сколько вас там, эдакие ребята, а сдобровать не можете! Взяли бы по батогу

або что — да на поле: не дадим колхоз разорять! Теперь не война, самим думать надо. Иди-ка позови мне председателя! — вдруг приказала она.

Шурка подумал и ответил:

— Не пойдет он.

— Конечно, не пойдет,— согласилась бабушка.— А ты скажи: бабушке, мол, худо, карачун настает, проститься хочет, он и прикатит со вниманием со своим.

Председатель пришел, но договориться ни до чего они не смогли. А чтобы Прокофий Кузьмич не обижался, Анисья поставила ему бутылку водки.

Шурка отправился к трактористам, авось они что-нибудь придумают, помогут.

— Ты чего от нас хочешь? — удивился парень в промасленном ватнике.— Наше дело маленькое, понял? Сказали в МТС: сеять! — и будем сеять.

— Вы же сами ругались, что трактор не идет.

— Ну и что?

— Вот и пускай трактор не идет,— улыбнулся Шурка. Он делал вид, что шутит.

Тракторист засмеялся.

— Ты слыхал его? — обратился он к своему напарнику.— А кто деньги нам платить будет? На нашем горбу хочешь выехать? Собери деньги, тогда и трактор будет стоять.

— Лен не вырастет! — вздохнул Шурка.

— Все сеют, не вы одни. Да кто ты такой? Иди к своему бригадиру, его уговаривай. А нам что...

Шурка пошел к бригадиру.

— Бабушка говорит, что на лен вся надёжа, а теперь и льну не будет.

Безрукий бригадир, инвалид войны, не смеялся над Шуркой и не кричал на него, только сказал:

— Не в свое дело лезет твоя бабушка. Голова не у нее одной на плечах, есть и посветлее, соображают.

И все. Шурка решил, что ничего у него не вышло. Но на другой день председатель колхоза Прокофий Кузьмич уехал на какое-то совещание, а оттуда на железную дорогу добывать гвозди для строительства скотного двора, и до его возвращения о посеве льна никто не заговаривал. Трактор ушел в другой колхоз, а из конторы в район сообщили, что лен посеяли.

Вернувшись в колхоз, Прокофий Кузьмич поднял крик:

— Самоуправство? Государственная дисциплина вам что? А того не знаете, что с меня голову снимут? Всех под суд отдам!

Кричал он долго, пока бухгалтер не сообщил ему:

— А лен-то за нами не числится, Прокофий Кузьмич.

— Как так?

— Мы его в сводку включили.

— Передали?

— Передали.

— Ну, то-то! — сказал председатель и успокоился.— Смотрите вы у меня!

Земля к тому времени подсохла, и лен посеяли вручную под конную борону. Поле зазеленело дружно.

Встретившись с Шуркой, Молчунья сказала ему:

— А тебя, Шура, бабы хвалят не нахвалятся.

— Вишь ты! За что это? — заулыбался довольный Шурка.

— Говорят: «Кабы не этот парень, так и льну бы нам не видать».

— Да это не я — бабушка,— признался он и покраснел.

— Может, и бабушка, только тебя хвалят.

Больше разговаривать было не о чем, и они замолчали. Потом Шурка спросил все же:

— Кто им сказал, будто это я сделал?

— Не знаю, кто сказал, только тебя хвалят.

— Не ты ли уж сказала?

— Не знаю кто,— ответила Нюрка,— может, и я.

Шурке хотелось верить, что именно он весной помешал высеять лен раньше времени. Как бы то ни было, похвалы ему пришлись по душе, и после он почувствовал какую-то особую свою ответственность за эту культуру.

Вступив в льноводческое звено, Шурка стал работать наравне с женщинами с утра до ночи. Он первый пошел и на прополку сорняков, с яростью вырывал васильки, про которые в детстве думал, что они для красоты. И все жалел, что мало, слишком мало посеяли льна. Ведь и семена, кажется, были.

— Да ты маленький, что ли? — рявкнула однажды на него звеньевая, толстая неопрятная Клаша, вдова-солдатка, переставшая следить за собой с тех пор, как потеряла надежду снова найти себе мужа.— Будто мы сами

не знаем, что мало. А план на что? Кто бы нам позволил не по плану сеять?

Еще не закончилась уборка зерновых, а бабушка Анисья уже начала тормошить Шурку:

— Лен-то когда теребить будете? В августе его разостлать бы надо, августовские росы слаще меду.

— Машину ждем, бабушка.

— Не прогадайте с машиной-то. Машина — она машина и есть. Не столько льну, сколько мусору всякого нарвет. Попробуй потом отбери руками. А деньги какие!

Анисья всю свою жизнь, почти с детства, возилась со льном: выращивала его, расстилала, сушила, мяла, трепала, чесала... В каждом хозяйстве были обязательно две-три полоски своего льна. Наготовив кудели, девки и бабы, и Анисья тоже, в долгие зимние вечера сидели за прясницами либо за прялками. У Анисьи и прялка была. Льняную нить с веретен перематывали на мотовила, делили на чисменицы, на пасмы, готовые моты бучили, отжимали, отбеливали на снегу, красили, если надо было, в разные цвета, растягивали на воробах, перевивали на трубицы, сновали, затем уже по ниточке продевали основу в бёдра... Господи, чего только не делалось с этим ленком — сейчас и слова-то многие забываться стали. Наконец, уже в середине зимы, а то к весне в избу заносили по частям ткацкий самодельный стан со всеми его крюками, бабурками, подножками, сколачивали, выверяли, и начиналось тканье. День и ночь дрожали оконные стекла в избе. Фабричная мануфактура — ситчик, сатин — была тогда доступна далеко не всем и шла только на праздничную одежду. Холст для половиков и постелей, для мешков и онуч, полотно для нижних рубах, для штанов и рукотерников, всякая цветная пестрядина для верхнего белья и верхней одежды, даже радужные кушаки и пояса из шерстяной пряжи — все изготовлялось на дому, на своем деревянном стану́ золотыми, многотерпеливыми бабьими руками.

Каторжная это была работа! А вот не стало своего льна, и затосковала Анисья по этой каторге. Много лет стан валяется на повети, ни для чего не нужный, молодым даже незнакомый, по ночам сидят на нем куры, зимой косы да серпы висят на крюках.

Давно уже лен сеют только на колхозной земле и трестой сдают на завод. И хоть лен этот колхозный, и прясть

его Анисье не доведется, и масла льняного от него не будет, а все-таки это лен. Не может Анисья спокойно смотреть, если обходятся с ним не по-хозяйски, без души, без соображения.

— Пришла машина-то? — спрашивала она Шурку чуть ли не каждый день.

— Нет еще, бабушка.

— Начинайте, нечего тянуть! А там видно будет.

С разрешения Прокофия Кузьмича лен начали теребить вручную. И только тогда полностью обнаружилось, до чего же он был засорен. Соломку выбирали по щепотке, а когда оборачивались, казалось, будто на полосах ничего не изменилось: по-прежнему густая сочная трава, осот и всякие колючки до колена покрывали землю густым зеленым слоем.

Работа шла медленно, женщины нервничали, ждали из МТС льнотеребилку. А пришла льнотеребилка, зашумели еще пуще: старая, проржавевшая, плохо налаженная машина больше путала, чем теребила. Соломка перемешивалась с сорняками и ложилась на полосу в таком неприглядном виде, что к ней страшно было подступиться.

Машину остановили.

Шурка сказал:

— Артель «Напрасный труд». Да еще натуроплата. Вот и получится: с одной рожи сдерем по две кожи. Надо бы председателя сюда.

— А что председателя? — наперебой заговорили женщины.— Он сам против. «Только деньги, говорит, выбрасываем. Лучше бы, говорит, ребятишек из школы, которые постарше, привезти на подмогу».

— Не управимся руками, бабы,— встревожилась звеньевая Клаша.

— Так и эдак не управимся, зато хоть лен цел будет.

Механизаторы из МТС, молодые ребята, стояли рядом, курили, слушали.

— Что будем делать? — спросил их Шурка.— Сами видите.

— Видеть-то видим, только наше дело маленькое.

— Может, где почище участки есть, поищите.

— Нам приказано, будем теребить все подряд.

— Не дадим! — сказал Шурка.

Ребята заглушили трактор и ушли в деревню, в магазин.

Женщины разобрали остатки льна после теребилки и, не отдыхая, принялись за работу вручную.

В это время в поле заскочил на мотоцикле корреспондент районной газеты — бойкий парнишка в кожаной куртке, в защитных очках.

— Здорово, бабы! — закричал он, еще не успев слезть с мотоцикла.— Как трудитесь?

— Здорово, мужик! — ответили ему.— Становись, помогай.

Корреспондент бросил мотоцикл на пласт у обочины дороги, подошел и со всеми поздоровался за руку. Руки у женщин были зеленые по локоть. Весело пожимая ладони, корреспондент называл себя всем поочередно: «Вася!», «Вася!», «Вася!». Только Шурке отрекомендовался иначе: «Василий Вениаминыч!»

— Ты бригадир? — спросил он Шурку.

— Вот звеньевая,— указал Шурка на Клашу.

Василий Вениаминыч повернулся к Клаше, расставил ноги, как перед утренней зарядкой, шире плеч и спросил коротко:

— Прогнали механизаторов?

Клаша испугалась.

— Мы их не трогали, они сами ушли.

— Я из газеты! — сказал Вася.

Клаша испугалась еще больше, стала оправдываться:

— Пальцем не тронули. Только вы сами видите, ленто какой и машина, видите, какая.

А Шурка вдруг взял да и брякнул:

— Верно, прогнали!

Василий Вениаминыч резко повернулся к Шурке, повторил:

— Я из газеты!

Но на Шурку это не подействовало.

— Вот и поезжайте к ним,— сказал он.— Ребята теперь в деревне с горя, наверно, водку хлещут.

Через три-четыре дня в районной газете появилась Васина статья: «Антимеханизаторы в колхозе «Красный Боровик».

* * *

Директору школы Аристарху Николаевичу было предложено из района срочно выехать в качестве уполномоченного в колхоз «Красный Боровик», ознакомиться на

месте со всем, что там происходит, принять исчерпывающие меры и доложить.

Аристарх Николаевич с удовольствием передал свои уроки другому преподавателю и в седле на сельсоветской расхожей лошаденке приехал к Прокофию Кузьмичу.

С тех пор как колхозная деревня подверглась организованному нашествию всякого рода уполномоченных — районных, областных, республиканских — и всевозможных заготовителей, агентов, толкачей, прошло времени немало, и Прокофий Кузьмич хорошо научился ладить с ними. Поначалу, когда уполномоченные еще отличались горячностью, неудержимой страстью вмешиваться не в свои дела, проводили общие собрания, а на худой конец — собрания актива, давали нагоняи, писали докладные, в общем, добросовестно и решительно выполняли все поручения, с которыми их посылали,— хлопот с ними было много. Приехав в деревню, такой уполномоченный обычно устраивался на жительство не у председателя колхоза и не у секретаря партийной организации, не у главного бухгалтера или кассира, а в неуютной колхозной конторе, в избе-читальне, спал на раскладушке либо на жесткой скамье, прикрываясь собственным плащом, питался чем попало, расплачиваясь наличными за каждый съеденный кусок хлеба, а то еще находил приют в какой-нибудь крайней избе рядового колхозника, обязательно рядового, да выбирал который поразговорчивее, потороватее, чтобы сразу выведать от него все колхозные новости, и чем народ живет, и чем дышит.

Трудные это были времена для Прокофия Кузьмича.

Но с той поры жизнь в районе изменилась, нервозность улеглась, и уполномоченные стали иными, многие из них пообтерлись, да и сам Прокофий Кузьмич стал мудрее и опытнее в делах руководства — и ему, как правило, удавалось избегать былых резкостей в отношениях с ними. Теперь Прокофий Кузьмич заранее определял для себя, с какими уполномоченными как следует ему держаться. При одних он был спокойно-строг, немногоречив, соблюдал достоинство, даже напускал на себя важность, на других просто ворчал, что мешают работать, ссылался на перегрузку, а кого-то сразу усаживал с собой в тарантас, катал по полям, завозил на пасеку отведать колхозного медку, а дома поил водкой.

Директора школы Прокофий Кузьмич всегда немного опасался. Но на этот раз Аристарх Николаевич подъ-

ехал не к конторе колхоза, а к его дому — значит, никаких причин для тревоги не было.

Завидев из окна верхового и опознав его, Прокофий Кузьмич вышел из дому, застегивая на ходу широкий пиджак на все пуговицы. Вслед за ним на крыльцо выкатился злобный лохматый комок — комнатная собачонка — и с лаем метнулся под ноги лошади.

— Колхозный привет шефу! Здравствуйте, Аристарх Николаевич! — заговорил Прокофий Кузьмич, спускаясь с крыльца навстречу гостю и протягивая ему руку издалека.— Брысь, проклятая! — крикнул он на собаку, как на кошку.

Аристарх Николаевич легко приземлился с седла и передал председателю повод коня. Собачка не унималась, кидаясь то на директора школы, то на его лошадь.

— Опять не узнает меня песик-то ваш,— сказал директор.

Прокофий Кузьмич засмеялся.

— Тишка мой вас, наверно, за уполномоченного принимает. Не любит он уполномоченных.

— Мудрый песик.

— Породистый! — похвастался председатель.

Засмеялся и Аристарх Николаевич.

— Породистый — помесь половой щетки с гусеницей! Завели бы лучше охотничью, гончую.

— Охотничьей собаке корму больше надо. А я — какой я охотник! Зато Тишка служить умеет.— Прокофий Кузьмич переложил повод уздечки в левую руку, а правую поднял вверх и крикнул собачке: — Тишка, служи!

Тишка мгновенно перестал лаять, вскинулся на задние лапы, вытянул волосатую морду кверху и начал кружить на одном месте, подпираясь лохматым хвостом.

— И верно — служака! — похвалил Тишку директор.— Ну, что у вас тут?

— Что у нас? Живем, работаем. А что же вы: директор без армии? Сейчас бы самое время поддержать нас.

Аристарх Николаевич посмотрел на круглого, розового председателя.

— Зачем вам армия? У вас машины стоят.

— Были бы машины, стоять не дадим. А дела всякого и для вашей армии хватило бы.

Прокофий Кузьмич привязал коня к изгороди около двора, сказал, что сейчас подкинет травы, и повел директора в дом. Собачка метнулась в сени.

— Прошу в горницу, Аристарх Николаевич!

В избе председателя было много перегородок, занавесок и половиков. В прихожей на клеенчатом столе — самовар, прикрытый узорным полотенцем, а на стене — крупные в рамках портреты, как в конторе правления. Горница же, оклеенная бумажными обоями, напоминала больше квартиру районного служащего, чем деревенскую избу. В горнице полумрак — все окна снизу доверху зашторены тюлем. В простенках и по углам, на полу и на табуретках много цветочной зелени — в горшках, в кадушках, обернутых газетной бумагой. Целый лес зелени — если бы только в этом лесу хоть немножко шевелились и шелестели листья. Цветочные горшки виднелись и на подоконниках за тюлевыми занавесками. После войны Прокофий Кузьмич накупил в деревнях многоцветных немецких картонок с рельефными изображениями ветвистых оленей, тигров, готических замков и прудов с лебедями. И теперь эти картонки красовались на стенах и заборках его горницы.

Аристарх Николаевич прошел в горницу, сел к столу и начал привычно потягивать усы книзу. Присел к столу и Прокофий Кузьмич, расстегнул пиджак на круглом животе, потер лысину.

— Ну, что будем делать, дорогой гость? Жалко, хозяйка у меня где-то на работе, но мы можем сообразить и без хозяйки.

— Соображать не будем,— сказал директор.— Давайте лучше поговорим насчет антимеханизаторов.

— Каких это, о чем?

— А вы разве не читали в газете?

— Нет, мне не докладывали,— встревожился председатель.

— Отказались вы от льнотеребилки?

— Ну что вы, Аристарх Николаевич, мы же друг друга понимать должны...

— Что понимать должны?

— Ну как же? Вы же меня знаете?

— Ну, знаю. Вы о чем?

— А вы о чем? — спросил, в свою очередь, Прокофий Кузьмич.

— Что-то я вас не понимаю! — удивился директор.

— А вы думаете, я вас понимаю?

— Тэк-тэк!..— затэкал сбитый с толку директор школы.

— Что «тэк-тэк»? — не сдавался Прокофий Кузьмич.

— Льнотеребилка у вас не работает? Скажите прямо.

Прокофий Кузьмич не хотел отвечать прямо.

— Вы лучше скажите, с чем ко мне приехали? — спросил он.

Аристарх Николаевич достал из кармана свернутую газету.

— Прочитайте, если не читали, и давайте не будем морочить друг другу голову.

Прокофий Кузьмич взял газету, но не стал разворачивать ее, а поднялся со стула, постоял, подумал и неожиданно для директора пошел за занавеску на кухню. Там загремела посуда.

Аристарх Николаевич прислушался, сказал:

— Не надо, Прокофий Кузьмич! Это от нас никуда не уйдет, успеем.

— Покушать надо с дороги,— сказал хозяин.

— Дорога не велика, я еще не проголодался. Читайте газету!

Прокофий Кузьмич вернулся с кухни, сел к столу и развернул газету. Читал он долго, читал и вскидывал время от времени глаза на директора. А директор сидел, ждал и все хотел понять: читал ли до его приезда председатель статью об антимеханизаторах или не читал.

Наконец Прокофий Кузьмич отложил газету и вспылил:

— Подвел, прохвост, это его дело!

— Кто подвел?

— Да молокосос этот. Видали, как за добро платят?

— Кто это?

— Да мамыкинский парнишка. Сирота этот.

— Павел?

— Павел что! Шурка, прохвост, подвел.

— В чем же он провинился?

— А вы читали газету?

— Я-то читал...

— Так вот это его дело.

И Прокофий Кузьмич дал волю своим обидам.

— Я ли не проявлял заботу о них, и о Шурке об этом! Выкормил, выпоил, на лен поставил. И вот благодар-

ность. Дисциплины нет, никакого почтения к старшим нет, руководства не признает. А ведь молокосос! Весной также навредить мог. И бабка, эта старбень, не в свои дела лезет. Конечно, льнотеребилку увели с поля из-за Мамыкина, правильно корреспондент подметил. Обиделись ребята и уехали. Мне рассказывали об этом деле, факты подтверждаются.

— Тэк-тэк! — раздумчиво потягивал усы директор.— Нашли зверя! Какие же вы меры приняли?

— Поздно было меры принимать. Да меня и дома не было. Слово они дали, что весь лен руками уберут.

— Однажды приходил ко мне этот Шурка,— сказал директор.— Понравился мне паренек: умный, самостоятельный.

— Вот-вот, самостоятельный! — опять вскинулся Прокофий Кузьмич.— Знаете, к чему такая самостоятельность приводит? Сегодня он меня не признает, завтра вас, потом секретарю райкома нагрубит, а там, гляди... Молодые!

— А Павел? Смена-то ваша?

— Что — Павел? Пашка — он тоже... Черт его знает, что еще из него получится. Может, я зря за него душу отдаю.

— Да разве вы отдаете душу, Прокофий Кузьмич? — сказал директор.— Если бы душу отдавали, другой бы разговор был. Не ошибаетесь ли вы с Павлом? А младшего не видите!

Прокофий Кузьмич внимательно посмотрел на директора: шутит он или не шутит? Потом сказал:

— Быть председателем колхоза — дело тонкое, Аристарх Николаевич! Тонкое это дело — меж двух-трех огней стоять. Надо знать, кого слушаться, кому приказывать. Тут дуроломам делать нечего. Дуроломы разные чуть что меня под удар подводят, сами видите. А такой вот Шурка подрастет, да волю ему дай, да власть, весь народ разболтается, сами править начнут, колхоз распустят.

— Тэк-тэк! Выходит, что младший эту кашу заварил?

— А кто же еще? Женщины такого не выкинут, сами понимаете.

— Да-а! — сказал директор. Так и сказал «да-а!», а не «тэк-тэк», значит, согласился с Прокофием Кузьмичом.— На чем же мы порешим?

— Пойдемте в поле, там картина будет ясная,— поднялся от стола председатель.

В сенях опять зарычала собачка. Прокофий Кузьмич зыкнул на нее: «Тишка!» — и собачка кинулась вперед, с крыльца, на улицу. На улице она каталась колобком от дома к дому, перепрыгивала через лужи, бросаясь на кур, на овец, на жеребят, на мальчишек с лаем, то злобным, то веселым, и от нее все сторонились, убегали.

— Редкий песик! — сказал директор.—Раньше в деревнях таких не держали.

Не испугались Тишки только козы: в конце деревни они запрудили улицу — целое стадо, и Тишка сам сбежал от них к полевой изгороди.

— Порядочно у вас развелось этих коровок. Тоже корму меньше надо?

— Враги колхозного строя! — сказал на это Прокофий Кузьмич.— Корму меньше — верно, но и молока от них ни себе, ни государству. Козы людей из повиновения выводят. Выродки! И все это послевоенные годы: вместо коров — козы, вместо дворов — хлевы. Избы тоже перестраивают, от старых пятистенков остаются половинки.

— А вместо гончих эдакие вот Тишки?.. Сколько же времени продлятся ваши послевоенные годы? — мрачно спросил директор.

Прокофий Кузьмич помедлил с ответом; ответил только, когда они уже вышли из деревни в поле:

— Вам видней, Аристарх Николаевич. По-моему, пока не начнется новая война, все будут послевоенные годы. Разве не так?

Аристарх Николаевич нахмурился еще больше.

— Не умеете вы шутить, председатель! — сказал он и замолчал.

Тишка в поле не побежал — он шумел и наводил порядок только в самой деревне.

* * *

На полосах работало все льноводческое звено — шесть женщин и девушек и Шурка. Около Шурки, не разгибаясь, теребила лен Нюрка Молчунья. Заметив председателя колхоза и директора школы, она поспешно, стараясь не обнаружить себя, шмыгнула в сторону звеньевой Клаши.

Невытеребленного льна было еще так много, что, казалось, конца-края ему нет. А на убранных площадях стеной стояли зеленая трава, хвощ и колючки, похожие на кустарники, из-за чего Аристарх Николаевич подумал вначале, что весь лен не тронут.

Подойдя к работающим, он шутливо поздоровался: «Помогай бог!» — на что звеньевая Клавдия серьезно ответила: «Спасибо!» А Прокофий Кузьмич ничего не сказал, но, завидев Нюрку Молчунью, набросился на нее:

— Ты чего здесь околачиваешься? Жениха нашла?

Нюрка разогнулась, посмотрела на Шурку, на председателя и тихо ответила:

— Я-то?

— Ты-то.

— За травой пришла.

— За какой такой травой?

— А вот возьму косу да и выкошу весь мусор для коров. Меня теперь на коров поставили.

— Так коси!

— А я косу не взяла.

— Ну и топай за косой.

— А я помогаю лен рвать.

— Не будут коровы такие колючки есть,— сказал председатель.

— А я на подстилку.

— Ну и коси.

— Я-то бы выкосила, да вот...— Молчунья взглянула на Шурку и замялась.

— Что вот?

— Ничего, я так.

Тогда Прокофий Кузьмич взялся за Клашу:

— Не пропололи лен, а теперь мучаетесь!

— Мы пропалывали,— ответила Клаша,— только не весь. Снова наросло везде.

— Если бы пропалывали, лен был бы.

— Мы пропалывали,— повторила Клавдия.

Пока Прокофий Кузьмич нагонял страх на всех, директор натеребил снопик льна. На загорелых руках его появился зеленый налет, медная кожа будто окислилась.

Кинув снопик на полосу и потерев ладони о брюки, Аристарх Николаевич повернулся к Шурке.

— Ну, что у вас тут произошло, Александр?

Шурка тоже бросил на межу только что затянутый сноп и подошел к директору. Бросили работу и женщины.

— Что с механизаторами вышло? — пояснил свой вопрос Аристарх Николаевич.

— Вот звеньевая, ее спрашивайте! — ответил Шурка, указывая на Клавдию.

Клавдия одернула подол замусоленного ситцевого сарафана, вытерла фартуком спекшиеся губы и тоже подошла к директору. За ней потянулись остальные.

— Что у нас вышло? Ничего у нас не вышло! — сказала Клавдия.

— Прогнали их, что ли?

— Кто их прогонял! Видите, лен-то какой.

— А в газете написано, что вы прогнали их.

— Мало ли чего в газетах пишут! Это Шурка вон пошутил, будто мы их турнули.

Молчавший Прокофий Кузьмич сразу оживился:

— Вот, пожалуйста! А я что говорил?

— Ну, давайте присядем, что ли,— предложил Аристарх Николаевич, словно не слышал слов председателя, и первый опустился на межу.

Стали рассаживаться и женщины. Председатель и Шурка не сели, стояли друг против друга: один рыхлый, приземистый, другой плотный, рослый.

Аристарх Николаевич поднял голову к Шурке:

— Выходит все-таки, что ты здесь тон задаешь, а не звеньевая?

Шурка не смутился.

— Турнуть их и надо было.

— За что?

— Да ни за что. Механизаторы тут ни при чем.

— Тэк, что же дальше?

— А что дальше? Руками будем рвать.

— Послать вам машину?

— Не надо машину.

— Слыхали? — опять обрадовался Прокофий Кузьмич.— Вот из-за кого весь район взбулгачили!

— Подождите, Прокофий Кузьмич,— остановил его директор.— Давайте разберемся. Говори, Александр!

— Что ж говорить? Вам звеньевая уже сказала. На такой лен пустить машину — одни убытки будут. Да и машина тоже — только название от нее осталось: мнет, путает, елозит. Разве это механизация?!

Прокофий Кузьмич еще раз не выдержал:

— Вот видите! Все факты имели место!

Аристарх Николаевич, казалось, не слышал его, он разговаривал с Шуркой.

— Осень поздняя, Александр, не справитесь вы со льном, много его.— Директор повел рукой вокруг. С земли ему были видны только желто-зеленый с коричневым оттенком спелый лен да мутное осеннее небо, лен и небо — ничего больше.

Шурка тоже посмотрел вокруг. Его лен не пугал своей бесконечностью: стоя, он видел границы поля — лесные опушки, стога сена на клеверищах, холмы перед спуском к реке.

— Справимся, Аристарх Николаевич,— уверенно сказал он.— Не беспокойтесь за нас.

— Шурка тут такое навыдумывал! — прыснула вдруг молодая девушка, прятавшаяся за спиной Клавдии.— «Завтра, говорит, вся деревня к нам сбежится лен теребить».

— А что, и сбежится! — поддержала Шурку звеньевая.

— Чего он навыдумывал? — почти встревожился директор.

Ответила Клавдия:

— А вот мы объявим, чтобы косы с собой брали, кто хочет: пусть всю траву из-подо льна для своих коров скашивают. Вот и сбегутся. Сена для своих коров никто не заготовил, а колючки все-таки не веточный корм.

— Здорово! — вырвалось у директора школы.

А Прокофий Кузьмич возмутился, начал кричать:

— Опять самоуправство! Кто разрешил? У кого спросили? Козами обзавелись, чтобы с колхозом меньше считаться, а сейчас новую лазейку изобрели!

— Надо же и своих коров чем-то кормить, товарищ председатель,— сказал Шурка.— Молоко от них и государству идет.

— Хитрить стали, на кривой все запреты хотят объехать! — шумел Прокофий Кузьмич.

— И будут хитрить, коли запретов много.

— Я тебя научу, молокосос, как хитрить! Нюрка, коси все подряд!

Когда председатель закричал, женщины и девушки, сидевшие на земле, повскакали с мест. Клавдия испуганно заморгала глазами. Кто-то тяжело вздохнул.

Нюрка перепугалась больше всех: ведь если бы она первая не брякнула об этой поганой траве, может, и крику бы такого не было. Во всем она виновата — молчала бы да молчала!..

Шурка хотя и старался держаться как подобает взрослому мужчине, каким он хотел быть, но все лицо его покраснело, и он начал поглядывать на директора школы, словно ждал от него защиты.

А директор сидел себе на земле да тэкал, будто дразнил кого:

— Тэк-тэк! Тэк-тэк!

И поглядывал снизу то на председателя колхоза, то на занятного подростка Шурку.

— Не буду я косить! — вдруг сказала Нюрка Молчунья.

— Что, что? — искренне удивился Прокофий Кузьмич.— И эта туда же? Ты кому здесь подчиняешься? Обоих из колхоза выгоню и участки отберу! Видали, что делается? — обратился он к Аристарху Николаевичу.— Ославили на весь район, да еще голос подымают, антимеханизаторы проклятые! Я этот дух из вас вышибу.

Нюрка заплакала.

Директор школы решился наконец вмешаться в разговор.

— Прокофий Кузьмич,— начал он тихо и спокойно,— с травой никакой хитрости, по-моему, нет. Все честь по чести: люди теребят лен, за это им колхоз оплачивает, а трава, как премия за тяжелую работу вроде дополнительной оплаты. Лен засорен сильно, это же верно?

— Верно или не верно,— не унимался Прокофий Кузьмич,— только здесь косить никто не будет. План по кормам для колхоза не выполнили, а своих коров кормить хотят. Не позволю!

— А вы успокойтесь, Прокофий Кузьмич, и подумайте.

Но успокоить председателя было уже нелегко.

— И думать не буду! — кричал он.

— А вы подумайте. Люди же хорошее предлагают.

— А я разве плохого для колхоза хочу? Я из-за чего кровь свою порчу?

Аристарх Николаевич посуровел.

— Сейчас вы не правы, товарищ председатель, позвольте вам это сказать.

— Я здесь хозяин! — отрезал председатель.— Всю траву на подстилку выкосим, а будет по-моему.

— Вы не правы.

— Прав или не прав, а я хозяин.

— Значит, так и в райком передать? — спросил Аристарх Николаевич.

Что-то произошло с Прокофием Кузьмичом после этих слов.

— А? — сказал он, и глаза его на мгновение расширились и остановились на директоре, руки недоуменно легли на живот. Он стал быстро успокаиваться. Крик перешел в полушепот, словно председатель сразу охрип.— А? — сказал он.

— Что «а»?

— Да ведь что ж... Вы меня понимать должны...

Аристарх Николаевич засмеялся.

— Ну вот, так-то оно лучше. Песик ваш не зря на меня лаял.

— Понятно! — еще тише сказал Прокофий Кузьмич и повторил: — Понятно!

Он оглянулся на теребильщиц. Те ничего не понимали, но тоже стали успокаиваться. Только Шурка улыбался.

— Тогда понятно! — еще раз повторил председатель.— Тогда другой разговор.

На этом и порешили.

Уходя с поля, Прокофий Кузьмич все же погрозил Шурке:

— Ну, ты смотри у меня!

* * *

Опять Павел сменил место, и опять жизнь его началась как бы сначала.

На новом месте Павлу понравилось все. Понравилось, что здесь меньше надо было записывать и заучивать, а больше возиться в мастерских с разными инструментами, стучать молотком, строгать, сверлить. Здесь рослых и сильных, как Павел, было много, и его не дразнили ни «женихом», ни «дяденькой, достань воробушка». Нравилась ему форма одежды и то, что не нужно было самому заботиться о белье, о постели, о бане, о еде — обо всем этом за него думали другие. Нравилось строгое расписание дня — его будили, его вели на утреннюю гимнастику, в столовую, на занятия, в кино.

И Павел стал прилежным учеником.

Слесарные и деревообделочные мастерские ремесленного училища находились в просторном гулком помещении бывшего собора, давно оставленного верующими, на стенах которого еще сохранились красочные изображения богов и богородиц. К ним ребята добавили немало своих рисунков, не отличавшихся особой святостью, зато не скучных.

Высоко под куполом летали голуби, неизвестно каким образом проникавшие в это теперь хорошо отапливаемое и освещаемое здание, вили гнезда на разных выступах и в углублениях, на верхних подоконниках, на скрещениях балок.

Ниже голубиного потолка висела сеть электрических проводов, вращались трансмиссии, гудели моторы, шлепали ремни, и, наконец, уже на цементном полу, местами застланном досками, стояли столы, обитые жестью, и станки довоенных и даже дореволюционных марок. Был там один токарный станок «ДИП», и он во всем городе считался чудом техники.

Массивные четырехугольные колонны, соединенные деревянной переборкой, делили помещение на две половины, и не только помещение, но даже запахи и звуки в нем. В первой от входа половине было царство мазута и машинных масел, металлические спиральные змейки свисали со станков, стоял звон, скрежет, визг. Во второй половине, начавшейся примерно там, где раньше был клирос, на полу валялись вороха желтых сосновых и березовых стружек, в которые обязательно хотелось запустить руки, как в вороха ржи на полевом току, либо просто на ходу разгребать их ногами; здесь преобладали звуки шваркающие, шипящие — не звуки, а шумы.

Павел переходил из одной мастерской в другую. На первых порах ему больше нравилось быть в слесарной, где все напоминало о промышленности, об индустрии и все для него было новым, а в столярной пахло деревом, лесом, живицей — все это было чересчур свое, знакомое, деревенское. Поэтому, хотя учителя и называли оба помещения цехами, Павел не принял этого названия для деревообделочников. Какой же это цех? Это даже не мастерская. Это деревня, дерево, надоевшее с детства, неинтересное. Заводом, техникой тут и не пахнет.

Настоящего труда до жестокой усталости, до ломоты в костях, до боли в спине Павел еще не испытывал, но ра-

ботать ему хотелось. Он не отказался бы от любого поручения, стоял бы за станком день и ночь у всех на виду, только чтоб это было не в столярном, а в слесарном, в железном цехе. Павел мечтал: придет такое время, вызовут его в дирекцию училища (может, сам директор, а?) и скажут ему: «Товарищ Павел Мамыкин! Получен срочный заказ (а вдруг правительственный, а?). Изготовить к такому-то сроку вот *это* (Павел пока не мог представить себе, что *это* будет такое), и вам, как лучшему нашему ученику и умельцу, доверяется сделать *это,* не щадя своих самоотверженных сил и времени. И Павел сразу станет за станок и будет делать *это,* все будут смотреть на него и помогать ему. Из столовой в цех принесут обед: «Кушай, Мамыкин, пожалуйста, тебе сейчас надо хорошо кушать!» Он поест и все нормы выполнит и перевыполнит. И снимок его будет висеть на самой почетной, на красной доске, и в дирекции будут говорить: «Вот видите, из деревни, а в какие люди выходит человек, деревня тоже новые кадры поставляет!»

Хронический насморк давно уже не беспокоил Павла, но рот его по привычке все еще частенько был приоткрыт, особенно если удивление и любопытство брали верх над всеми прочими чувствами.

— Куда прешь? — закричали на него в слесарной, когда, размечтавшись, Павел ступил в масляную лужу на цементном полу. Вздрогнув, он метнулся в сторону, под трансмиссии, и какая-то неловкая чудо-техника сбила его с ног.

— Вот черт! Не повезло парню! — крикнули рядом, и больше Павел ничего не слыхал.

Прямо с грязного цементного пола перенесли его с разбитой головой в карету Скорой помощи.

Для ремесленного училища это было чрезвычайным происшествием. Значение этого факта перешло даже границы училища. Им заинтересовались и в милиции, и в профсоюзной организации, и в райкоме комсомола. На какое-то время к Павлу Мамыкину было приковано внимание всего районного начальства. И аппарат заработал. Раздавались телефонные звонки, составлялись акты, писались донесения по службе, кому-то грозило наказание за халатное отношение к технике безопасности в мастерских РУ.

В больнице Павла навещали одноклассники и учителя, несли ему разные вкусные передачи, спрашивали его

о состоянии здоровья, о температуре, об аппетите, о работе желудка. Казалось, всему городу было нужно, чтобы он скорей поправился.

Павлу все это очень понравилось. Настолько понравилось, что ему даже захотелось подольше полежать в больнице. Врачи спрашивали его: не кружится ли голова, не наблюдаются ли приступы тошноты? А как зрение? Как слух? И Павел стал говорить: приступы тошноты наблюдаются, голова побаливает, зрение и слух как будто немного ослабели. К нему приходили специалисты — отоларингологи, окулисты, показывали ему с разных расстояний таблицы с буквами и знаками, спрашивали: «Как видите?», проверяли глазное дно, лазили в уши, в нос.

Павел заметно поправился, раздобрел, привык подолгу спать.

Незадолго до выхода его из больницы в палате появился сам директор ремесленного училища товарищ Тетеркин и сообщил своему воспитаннику, что для него в профсоюзной организации приготовлена путевка в областной дом отдыха работников лесной промышленности. Разумеется, бесплатная.

Директор Тетеркин очень боялся за свой пост. Его уже не раз перемещали, как не обеспечивающего нужного руководства, с одного места на другое: с картофелесушильного завода на лесопильный, с лесопильного на маслобойный, с маслобойного в ремесленное училище, но все в должности директора. А сейчас появилась реальная опасность, что его лишат этого почетного звания.

В палату к Павлу Тетеркин вошел с сияющей, добрейшей улыбкой, какая может быть только у отца родного. Но именно из-за этой сияющей улыбки да еще из-за белого халата, необычно висевшего на директорских плечах, Павел и не узнал сразу своего посетителя. А когда узнал, то поначалу оробел.

— Как здоровье наше, Мамыкин, как лечимся?— заговорил директор весело и вроде бы непринужденно, но глаза его при этом крутились настороженно и воровато.

— Да я уже... я скоро!— замялся Павел.— Опять учиться буду. Я же не виноват... Если бы я знал...

— Что ты, что ты! Разве мы тебя виним? В таком деле никого винить нельзя,— обрадовался Тетеркин.—

Несчастный случай, и только! Кого мы с тобой винить будем? Никого винить не будем! А тебя в беде не оставим, даже не беспокойся. Вылечим тебя, до конца вылечим, это я тебе говорю.

— Понимаю!— Павел действительно начинал понимать, что ничего плохого ему не будет и опасаться нечего.— Я же не виноват.

— Конечно, не виноват, никто не виноват, ты так и говори. А мы для тебя путевочку выхлопотали. Тебе, брат Павлуша, просто повезло.

— Понимаю!— сказал Павел.

— Путевочку, брат, тебе достали. В дом отдыха. Повезло тебе.

— А что я там буду делать?— спросил Павел.

— Отдыхать. Лечиться.

— Как, ничего не делать?

— В том-то и дело, что ничего не делать. Повезло, говорю.

— И кормить будут?

— Еще как!

— Здорово! А далеко это?— В голосе Павла слышалось уже ликование.

— Ехать надо. Сначала на попутной, потом — поездом.

— Где я возьму деньги на дорогу?

— Попроси у родных.

— Бабушка не даст, у нее нет.

— Напиши заявление.

— Кому?

— В профсоюз. Я передам...

И Павел написал еще одно заявление:

«Мой отец погиб смертью храбрых на фронте Отечественной войны. Моя мать, не щадя своих сил, работала на колхозных полях и отдала жизнь за высокую производительность труда. Я — круглый сирота, учусь в рабочем училище. Прошу дать мне денег, чтобы съездить в дом отдыха на лечение, на туда и обратно. Выучусь — за все отработаю».

* * *

Выйдя из больницы, Павел расписался в ведомости на получение бесплатной путевки, затем получил деньги на дорогу — опять расписался. Как это просто: распи-

шись — и на тебе путевку, еще распишись — и на тебе двести рублей! Иван Тимофеевич, его бывший квартирный хозяин, рассказывал однажды про такое же. Но то было в Москве...

До ближайшей железнодорожной станции шестьдесят километров. Осень наступила в этом году поздно, но зато в течение нескольких дней подняла реки, размыла дороги, разнесла по бревну ветхие мосты. Движение грузовиков прекратилось. Пассажиры, застрявшие на волоках, оставляли громоздкие вещи на время распутицы в знакомых деревнях и продолжали путь пешком.

Павел не смог выехать из района и, огорченный, пришел в райсовет профсоюзов. В тот день на станцию отправляли инструктора областного совета профсоюзов. Женщина, маленькая, круглая, в очках, уже одетая для дороги — в сером брезентовом плаще, наброшенном поверх зимнего пальто, и толстой шерстяной шали, согласилась взять его с собой.

Профсоюзная лошадь, запряженная в легкий, плетенный из ивовых прутьев тарантас, стояла под окном. На козлах сидела девушка-возница, тоже в сером брезенте, но уже заляпанном грязью.

Павел едва успел сбегать в общежитие, взять фанерный, выкрашенный зеленой масляной краской баул с висячим побрякивающим замочком на крышке, и они поехали.

Сидит Павел на мягком свежем сене в тарантасе, ноги его прикрыты учрежденческим тулупом, взятым только ради него, потому что областная начальница заметила, как легко парень одет, и пожалела его, и теперь Павлу тепло и покойно — все его заботы и тревоги остались позади.

Первые несколько километров от городка дорога была песчаной, негрязной, и лошадь бежала споро. Позвякивал колокольчик под дугой, постукивали железные шины о камушки, скрипел хомут твердой кожей. Все располагало к размышлению.

Павел поначалу чувствовал себя неловко, сжимался в тарантасе, сколько мог, чтобы не стеснить свою благодетельную начальницу; боялся кашлять, сморкаться и даже старался дышать как можно деликатнее. Но постепенно угнетающая скромность его оставила, он небрежно откинул казенный тулуп, высвободил левую ногу и свесил ее снаружи корзины: в этом было какое-то щеголь-

ство, так ездят люди, знающие себе цену,— председатели колхозов, районные служащие. Приятное ощущение своей значительности, незаурядности все больше и больше щекотало его самолюбие. Вот уже и начал он выходить в люди! Такую ли жизнь пророчил ему Прокофий Кузьмич или намекал на что-то другое? Конечно, он еще не служащий и зарплаты не получает, но все-таки и не простой учащийся-ремесленник. Кто еще, кроме него, может вот так взять да и поехать, сидя рядом с областным ответственным работником? И куда? В дом отдыха! И зачем? Отдыхать! От-ды-хать, черт возьми! И все правильно, все по закону. В кармане у него путевка: фамилия, имя, отчество — Мамыкин Павел Иванович; год рождения — указан, место рождения — тоже, пол — мужской, профессия — такая-то, путевка выдана по решению... Все законно!

Хорошо бы сейчас свернуть с большого тракта на проселок, да заехать бы в свою деревню, да подкатить бы к своему родному дому, да чтоб Шурка с бабушкой выбежали на крыльцо: «Господи, кто это к нам?» Да чтоб слетелись ребятишки со всех концов стайками воробьиными, а потом бы подошли мужики, хозяева домов: «Здравствуйте, мол, Павел Иванович, спасибо, что мимо своего колхоза не проехали, не побрезговали земляками, не похармовали!»

Да еще чтобы женщины столпились вокруг тарантаса, и под окном избы, и у крыльца и ахали бы да охали: «Наш ведь парень-то, свой, не чей-нибудь, Пашка, Ваньки-солдата сын, а ныне Павел Иванович, вот как!» А главное, чтобы девушки увидели его и пожалели бы, что не понимали раньше, какой он, раскаялись бы: «Вот, дескать, думали мы, Павлик, Павлуша — и все тут, а, оказывается, пальца в рот ему не клади, не простой он, Павлушка-то! С таким человеком любая девушка пойдет хоть на гулянку, хоть на край света — не зазорно, таким Павлушей вся деревня еще гордиться будет, за такой спиной, как у этого Павлуши, не пропадешь!» Вот как!

Сидит Павел на теплом сене, теплый тулуп в ногах, и картины одна обольстительней другой разворачиваются в его воображении. Негромко, размеренно поет колокольчик, хрустят рессоры, постукивают колеса, на ухабах раскачивается тарантас и кидает Павла то в одну сторону, то в другую, то притиснет его к плетеному боку корзины,

то прислонит к теплому мягкому боку женщины. И вздрагивается и дремлется. А колокольчик то замирает совсем, то вдруг начинает звенеть продолжительно и требовательно, и звук этот сливается в одно сплошное гудение, и это уже не колокольчик, а автомобильный сигнал. И тарантас уже не тарантас, а легковая машина. И восседает в ней, мягко откинувшись на спинку, и впрямь уже не какой-то Пашка Мамыкин, а Павел Иванович, не то генерал, не то секретарь райкома. Здорово!..

Жалко, что и ребята из училища не видят его в эти минуты, среди ребят все-таки есть ничего парни, те, что ходили к нему в больницу и всегда что-нибудь приносили с собой. Ничего ребята!

— Что с тобой стряслось?— вдруг спросила его женщина.

— Что? Чего стряслось?— встрепенулся задремавший Павел.

— Отчего заболел?

— А... Не помню. Меня ударило по голове в цеху.

— Травма, значит?

— Вот-вот, травма.

— Меня зовут Людмила Константиновна.

— Ладно!— сказал Павел.

— Тебе удобно?

— Ничего.

— Голова не болит?

— Шумит немножко.

Шумел лес по обеим сторонам дороги, шумела вода в речках, под мостиками и в канавах, шумела и шипела грязь под колесами. Девушка-возница то и дело спрыгивала с козел прямо в жидкую, либо коричневую, либо серую, либо черную с примесью торфа кашу, и плечом и руками поддерживала тарантас, и кричала на лошадь, и била ее кнутом по крупу, на что та неизменно помахивала хвостом, словно от овода отбивалась. Брезентовый плащ на девушке покрылся свежим слоем грязи. Трудно ей было.

Молодая, с ямочкой на самой середине подбородка, белобрысенькая, в мужской зимней шапке, из-под которой выбивалась и падала в откинутый брезентовый капюшон негустая льняная коса, девушка делала свое неженское дело старательно и ни на кого и ни на что не роптала. Дорога ей была знакома от начала до конца,

как сплавщику капризная неширокая река, где за каждым поворотом ждет его какая-нибудь каверза,— должно быть, ездила девушка здесь взад и вперед бесконечное количество раз. А ей бы, с этими ее маленькими, несильными руками, ходить в ненастную осень на гулянки (и Павлу бы вместе с ней!), участвовать бы в клубных кружках, ставить спектакли или читать стихи со сцены. Почему она стала возницей, училась, что ли, мало? Павел начал всматриваться в нее пристальнее, и она ему понравилась. Он с пониманием и сердечным сочувствием следил за ней из тарантаса, когда девушка утопала в грязи и задыхалась от усталости.

Грязи особенно много было на улицах деревень. В одной деревне на крутом подъеме лошадь заскользила и упала на колени. Круглая Людмила Константиновна мгновенно выпорхнула из тарантаса, и этого одного оказалось достаточно, чтобы лошадь справилась, ободрилась и потянула дальше. Павел просто не успел выскочить на дорогу.

Опять стали сменяться избы, серые от дождя, кривые от времени, и у каждой под окнами палисаднички с черемухами да рябинами, да колодезные журавли — на одном конце коромысла длиннющий шест и бадья, на другом — груз для равновесия: разные деревянные и металлические подвески вплоть до тракторных шестерен и колесных втулок от старых телег.

На волоку, где дорога проходила над рекой по самому краю высокого подмытого и не огражденного никакими столбиками берега, тарантас вдруг начал резко крениться, и его потащило к обрыву. Даже лошадь почувствовала неладное, всхрапнула и круто повернула в сторону от реки, напрягаясь изо всех сил, и, кажется, не устояла бы, не совладала бы с экипажем, если бы из него вовремя не выпрыгнули и Людмила Константиновна и возница. Только Павел остался сидеть как сидел. Вероятно, он просто не успел сразу понять опасности.

И тогда нравившаяся ему девушка вдруг рявкнула на него совсем не по-девчачьи:

— Вылезай, раззява, ваше благородие!..

Ямочка на ее подбородке была заляпана грязью.

Павел испуганно выскочил, когда этого можно было уже и не делать, и, очутившись по колено в грязи, испугался еще больше. Людмила Константиновна и девушка,

схватившись за оглобли с двух сторон, помогали лошади, а Павел стоял в грязи и, виновато моргая, смотрел на них, не зная, что делать, за что взяться.

— Барин! До дыр просидел свою сидальницу!— ругалась девушка-возница.— Еще один начальничек растет, не хватает их.

Людмила Константиновна, то ли обидясь за «начальничков», то ли Павла пожалев, негромко, но внушительно остановила ее:

— Чего взбунтовалась? Шумишь? Он нездоров, а ты его в грязь вытолкала. Дались тебе начальники! Не любишь, а возишь. Не вози тогда, откажись.— И она приказала Павлу:— Садись, Павел, не слушай ее!

И Павел больше ее не слушал, сидел в тарантасе, не вылезая до самой станции, и думал о своей болезни. Разное думал.

А все-таки настроение его было испорчено. Исправилось оно лишь около железнодорожной кассы, когда Людмила Константиновна купила билеты и для себя и для него за свои деньги и не захотела, чтобы Павел платил, хотя он настаивал, очень настаивал.

— Ладно, ладно,— отбивалась она,— помалкивай! Не стесняйся. Тебе эти деньги пригодятся, а у меня есть, я работаю. Будешь работать и ты — все окупится, расплатишься.

Павел стеснялся недолго, сказал: «Спасибо!» — и замолчал. Ему было не так неловко, как радостно. Все-таки здорово ему везет: какая-то ответственная бабеха, незнакомая тетка, а почти сто рублей остается в кармане.

* * *

Профсоюзный дом отдыха помещался в старинном купеческом особняке на высокой сосновой гриве. Правда, старое здание много раз уже перестраивалось, и столько выросло вокруг него всевозможных новых построек — флигелей, крытых веранд, сараев, что былой хозяин вряд ли теперь узнал бы свои владения. Конечно, и сосны были уже не купеческие. Стволы в один, в два обхвата, с массивной, рубчатой, пепельного цвета корой — снизу, бронзовой и медной — сверху, вздымались в небо, словно кирпичные трубы, и там их зеленые кроны, как дымы, сливались в сплошной непроницаемый полог. Все дорож-

ки в парке ежились шишками и колючими, затвердевшими от первого заморозка иголками. Сосновые иголки лежали на скамейках, на круглых, сколоченных из грубых досок одноногих столиках, на беседках, бесхитростно изображавших шляпки белых грибов и мухоморов, на декоративных мостиках и клумбах с поблекшими хризантемами. С одной стороны сосновая грива примыкала к полям пригородного овощеводческого совхоза, с другой — к большой сплавной реке. Спуск к ней начинался от самого дома отдыха.

С железнодорожной станции Павел шел пешком. Он робел и перестал верить в магическую силу своей путевки — что-то его ждет там? А вдруг не примут? Но кругом были обыкновенные, знакомые с детства поля, и знакомо, по-обыкновенному побрякивал замочек на крышке фанерного баула — это успокаивало. Везде своя земля, везде свои люди — может быть, все еще будет хорошо.

И как только он вступил за ограду соснового бора, с ним стали происходить чудеса, не всегда понятные, но, безусловно, приятные и лестные для воображения.

— Добро пожаловать!— сказала ему молодая женщина в белоснежном халате еще при входе в дом и повела его в контору.— Вы отдыхать?

— Да,— робко ответил Павел.

— Вашу путевку.

Он достал из баула путевку, передал ее, при этом рука у него дрожала.

— Вот,— сказал он.

— Раздевайтесь, пожалуйста...

Законность путевки не вызывала никаких сомнений. Тогда Павел сразу почувствовал себя уверенней.

— Обедать скоро?— спросил он.

— Обед уже закончился. А вы проголодались? Я сейчас отведу вас в столовую, все сделаем, все устроим, не беспокойтесь.

— Я не беспокоюсь.

Женщину в белом халате не смутило, что Павел был одет неказисто; насколько он успел заметить, тут все отдыхающие одевались не ахти как — рабочий народ, сплавщики, лесорубы.

В столовой, похожей на светлую больничную палату, Павла усадили за квадратный стол, рассчитанный на четырех человек, накрытый такой чистой белой ска-

тертью, что он даже откинул один ее конец, чтобы не запачкать.

— Обед новенькому!— крикнула официантка на кухню.

— Что поздно?— спросил откуда-то грубый женский голос.

— Он не виноват. Новенький, говорю!

Из окон столовой, как из любых окон этого дома, видны массивные сосновые стволы с их зеленой иглистой кроной, а дальше, за соснами,— спуск к реке и сверкающая извилистая вода, в одном месте широкая, как озеро, в другом — как узкий ручеек, еле заметный под крутым берегом; еще дальше — необычайные поемные луга, забитые древесиной, оставшейся от молевого сплава, теперь обсохшей и сложенной кое-где в штабеля, либо гниющей вразброс.

Павлу подали сразу три блюда: первое — кислые щи, второе — антрекот («Что?» — весело переспросил он, когда услышал название блюда. «Просто кусок мяса»,— ответила девушка. «Кусок мяса — это и просто неплохо!» — сострил новичок) и на третье — клюквенный кисель.

— Рыбий жир будете пить?— спросила девушка.

— Как в больнице?— вопросом ответил Павел.— Я уже не грудной, можно пить и не рыбий жир.

Он съел все и не наелся, но добавки не попросил. «Успеется еще!»— подумал.

— Что дальше?

— Идите опять в контору, откуда пришли. Вы еще не мылись?

— Нет.

— Ужин в восемь часов.

Из конторы та же сестра в белом халате, которая принимала Павла и отводила в столовую, сейчас провела его в комнату на втором этаже, сказала: «Вот ваша постель, ваша тумбочка!» Затем показала ему душ, сказала: «Мыться обязательно. А через два дня общая баня. Ужинать в восемь часов».

«О-го! — подумал Павел.— Порядочек, как в ремесленном общежитии»,— и спросил:

— Что дальше?

— Дальше ничего. Отдыхайте! Завтра утром обратитесь к врачу, если нуждаетесь в чем. Библиотека внизу. «Распорядок дня» висит на стенке. До свиданья!

К строгому режиму дня, при котором по часам встают, по часам завтракают и обедают, Павел уже привык, и дисциплина эта не удивила его и не огорчила. Напротив, он, как почти все, скоро научился и нервничать и ворчать, если встречались даже незначительные отступления от распорядка. Быстро свыкся он и с тем, что здесь после завтрака и после обеда, да и весь день с утра до вечера ему не нужно было ни работать, ни учиться, ни готовить уроки. У него не было никаких обязанностей, если не считать обязанности хорошо отдыхать. И он стал считать отдых своей обязанностью, это было для него ново и приятно. Хорошо отдохнуть, восстановить свои силы, свое здоровье — это долг. Для этого тебе предоставлены все условия, все возможности. Обслуживающий персонал дома отдыха обязан тебя обслуживать, обязан — это Павел скоро и хорошо уяснил. За это ему, обслуживающему персоналу, деньги платят. И надо уметь требовать, чтобы обслуживающий персонал честно и добросовестно выполнял свои обязанности по отношению к тебе.

И Павел стал требовать.

Утром он терпеливо выстоял длинную очередь у кабинета врача. Врач, седая женщина лет семидесяти, не меньше, задыхающаяся от астмы, сгорбленная, которая сама должна бы жить здесь в качестве отдыхающей, взглянула на молодого Мамыкина с явным, как ему показалось, недружелюбием.

— На что жалуетесь, молодой товарищ?

— На травму.

— А что с вами случилось?

— Голова болит.

— Вы лечились? Случилось что?

— Лечился в больнице. Был удар по голове в цеху.

— В цехе? Вы — рабочий?

Павел промолчал. Врач заглянула в документы Мамыкина, в медицинское заключение, прилагаемое к путевке, и спросила снова:

— Сильно болит голова?

— По-разному.

— Часто?

— Вот посидел у вас в очереди, и опять заболела.

— Очередь... да... одна я здесь,— начала оправдываться старая женщина.— Очереди большие. Вам бы в санаторий надо, а не в дом отдыха, там — лечение.

— Начальству виднее, куда посылать,— дерзко сказал Павел.

— Начальству?— удивленно переспросила женщина и опять посмотрела в его анкету.— Мо-олод!— покачала она головой, увидев его год рождения, и словно задумалась: продолжать ли называть этого дерзкого мальчишку на «вы» или разговаривать с ним, как принято разговаривать со школьниками.— До чего молод!— еще раз протянула она.

— Молод, значит, и лечить не надо?— спросил Павел.

— Нет, лечить мы тебя будем,— решительно перешла врач на «ты».— Будем лечить. Только без лекарств. Отдыхать будешь, гулять, много кушать, заниматься физкультурой, обтираться холодной водой. А снег выпадет — на лыжах пойдешь. Аппетит хороший?

— Аппетит ничего, есть могу.

— Ну вот и будешь много есть. Обязательно принимай рыбий жир, он с витаминами. И воздух тут витаминный, смоляной с фитонцидами. Дыши глубже. Я тоже здесь живу из-за воздуха. Он лучше всякой пенсии. Люблю запах живицы. Ну иди, все!

— Как все?

— Все! Иди гуляй. Следующий!— крикнула врач в дверь уже мимо Павла, не глядя на него.

* * *

Из-за сырой, мозглой погоды отдыхающие сидели в парковых беседках и в главном здании — в коридорах, в комнатах общего пользования. Играли в шашки, в шахматы, катали на маленьком бильярдном столе светлые подшипнички, не крупнее пушечной картечи,— на приобретение большого бильярда профсоюзных средств пока не хватало. Кое-кто сидел по углам, на стульях и диванах, либо у светлых окон, читали книги.

Никаких знакомых здесь у Павла, конечно, не оказалось. Не было и сверстников. Но он не унывал. Последнее обстоятельство ему даже льстило — он тут самый молодой, значит, самый удачливый. Скрытого ликования его не испортили даже грубоватые слова рыжего бородача с рыжими глазами и рыжими волосами на руках:

— Рано ты, паренек, начал по домам отдыха ездить, голова бы не закружилась.

— Из-за головы я и приехал.
— А что у тебя с ней?
— Травма.
— На работе получил?
— Да.
— Вершиной прихватило или комлем?
— Не, не в лесу.
— Значит, на сплаве? Или в конторе служишь?
— Не, в цеху.
— Так, понятно. Ну ничего, вылечат. Только маху дал, парень. В другой раз проси путевку в санаторий. Государство у нас богатое!

Павел не ответил, но совет запомнил.

За обедом в столовой не оказалось рыбьего жира. Павел не забыл, что ему врач советовала обязательно принимать рыбий жир, и хоть не любил ни вкуса, ни запаха его и, возможно, даже не стал бы пить ежедневно да еще трижды, но раз жиру не оказалось, Павел потребовал, чтобы ему дали его.

— Положено — значит, подай! — сказал он официантке — низкорослой, некрасивой и, вероятно, потому много кокетничавшей, грубо накрашенной и мелко завитой девушке Фросе.

Фрося обиделась.

— Во-первых, я тебе не «ты». А во-вторых, где я тебе возьму рыбий жир, я не рыба.

— Какое мое дело,— сказал Павел.— Положено — подай!

— Что значит «подай»?— возмутилась Фрося.— Я тебе не лакейка какая-нибудь и не куфарка. Я такая же служащая, как и ты.

— Вот и служи,— сказал Павел.— Ты к чему приставлена?

— Не к тебе же!

— Нет, ко мне. Тебе государство за что деньги платит?

— Много я получаю!— разбушевалась Фрося.— Ученый приехал.

— Где мой рыбий жир?— настаивал Павел на своем.

Вокруг одобрительно засмеялись.

Послеобеденный тихий час отдыхающие обязаны были проводить на открытой веранде. Павлу отвели плетеный лежак, старенькая няня показала ему, как пользоваться спальным ватным мешком; на первый раз сама

помогла ему залезть в мешок, застегнула все пуговицы и затянула все шнурки на нем.

Густо, бархатисто шумели влажные сосны, мелкий осенний дождик шебаршил на дощатой крыше, то затихая, то усиливаясь, водяная пыль пронизывала воздух, он становился зримым. А в ватном мешке было и тепло и сухо, и Павлу приснился добрый сон.

Опять поет колокольчик, дорога постепенно становится грязнее. Деревня. Перелески. Поля. Изгороди.

Возница понукает лошадь, на подъемах соскакивает с козел, идет пешком.

Павел поначалу чувствовал себя неловко, потом осмелел, высвободил левую ногу и свесил ее снаружи корзины — так ездят люди, знающие себе цену: районные уполномоченные, председатели колхозов.

И вот уже слышен не робкий звон колокольчика, а требовательный, резкий звук автомобильного сигнала, и тарантас уже не тарантас, а легковая автомашина. И восседает в ней, мягко откинувшись на спинку, не какой-то Пашка Мамыкин, а Павел Иванович — не то директор, не то секретарь райкома...

...Шумят влажные сосны, идет мелкий дождик. Людмила Константиновна накрывает колени Павла тулупом, а он с сочувствием смотрит на девушку-возницу, которая опять одна бредет по грязи сбоку лошади...

— Садись рядом со мной,— говорит он ей.— Что ж ты в люди не выбилась? Хочешь я тебя научу?

Девушка благодарно садится рядом, прижимается к нему, а Людмила Константиновна залезает на козлы и погоняет лошадь. Она же первая замечает на дороге узелок и показывает на него кнутовищем.

— А ну, подними!— приказывает Павел.

Людмила Константиновна, не слезая с лошади, поднимает кнутовищем узелок. А узелок этот оказывается бабушкиным платком, а в платке — деньги.

— Возьмите, Павел Иванович, это ваши деньги!— говорит Людмила Константиновна.

Павел набивает деньгами карман и выбрасывает старый платок на дорогу. Платок на дороге опять свертывается в узелок, а в узелке опять деньги. Тогда Павел слезает с лошади, чтобы поднять узелок, и видит,

что грязь на дороге — тоже деньги. Он собирает их — мокрые, мятые рублевки и десятки — и развешивает на оглоблях, на ободах колес, на дуге, как выстиранное белье для просушки.

Деньги подсыхают, он заполняет ими все карманы. А Людмила Константиновна говорит ему, протягивая расходную ведомость:

— Распишитесь, пожалуйста, это же деньги. Просто распишитесь!

...Между тем тарантас потянуло под откос, лошадь напряглась, Людмила Константиновна и девушка-возница изо всех сил стали помогать ей.

И вот девушка, которая нравилась Павлу, вдруг рявкнула на него:

— Вылезай, раззява, ваше благородие!

Ямочка на ее подбородке заляпана грязью.

Павел выскочил на дорогу и стоит по колено в грязи, не зная, что ему делать.

— До дыр просидел свою сидальницу!— продолжает ругаться девушка.— Еще один начальничек растет, не хватает их нам!

На следующий день после обеда отдыхающие опять устраивались на веранде, и Павел захотел, чтобы ему снова помогли забраться в спальный мешок.

— Дует!— крикнул он няне, пожелавшей всем хорошего отдыха.

— Застегнуться надо.

— Как же я застегнусь, руки-то в мешке?

— А как другие застегиваются?— удивленно спросила старушка.

— Я в мешках никогда не спал. У нас в мешках только картошку хранят.

На плетеном лежаке недалеко от Павла поднялась рыжебородая, рыжебровая голова.

— Слушай ты, начальничек! У тебя травма, ну и лежи спокойно.

— Я и лежу.

— Спокойно лежи, не картошка, не рассыплешься. Ишь нервный какой.

— Ну нервный, и что?— не испугался Павел.

— А то! Рано привередничать начал.

— Тебе хорошо говорить.

— А тебе плохо?

— Плохо. Я всю жизнь без отца, без матери рос.

— После войны, может, половина людей так выросла. Ты один, бедный, обижен! Наверно, давно уже за девками бегаешь...

* * *

Доить коров, конечно, нелегко, особенно если их много, убирать двор лопатой и вилами тоже не сладость, а носить утром и вечером воду на коромысле, да греть ее, да разливать пойло по корытам — от этого одного за один год можно сгорбиться. Но, пожалуй, тяжелее и надоедливее всего — каждый вечер бегать за коровами на выпас. Если бы только раз в неделю, ну, на худой конец, два раза, а то ежевечерне, да по одним и тем же местам. Обрыдло!

Нюрку еще выручали молодые ноги, а пожилым напарницам ее было просто невмоготу.

Так велось от века: по утрам подоенных коров выгоняли из оград на улицу, иногда провожали их до околицы, а дальше они шли, позвякивая колокольцами, уже одни, без пастухов, и кормились до вечера, разбившись на небольшие стада.

В сумерках ко второй дойке коровы сами возвращались в деревню, каждая спешила в свой дом, к своему стойлу, где приветливые хозяйки встречали их крепко посоленным куском хлеба, мучной с отрубями болтушкой или охапкой зеленой травы. Редко-редко какая-нибудь строптивая пеструха устраивалась на ночевку на выгоне, и то лишь потому, что дома во дворе было слишком грязно либо хозяйка угощала ее чаще пинком, чем хлебным куском.

Заблудиться коровам было негде. На десятки верст вокруг деревни тянулись изгороди из жердей и кольев. Они охватывали и поля, и луга, и выпасы, разделяя их и перекрывая все выходы в глухой лес и на угодья других сельских общин.

Называли эти изгороди осеками́. За каждым домохозяином закреплялось по нескольку участков осеков, за исправность которых он отвечал своей совестью и головой перед сельским сходом.

— Как это — головой?— спросила однажды Нюрка у своего деда, когда он рассказывал о том, что было раньше.

— Да что ж, простое дело. Если кто прохлопает ушами, не починит вовремя свой огород, потраву допустит — вызовут его на общий сход и поучат.

— Как поучат?

— Что, паре, свой язык понимать перестала? Ну, по шее поучат, по спине и по разным другим местам. Да так поучат, что больше вовек не забудет, и совесть не потеряет, и осека будут всегда целы.

Никакой необходимости в пастухах раньше не было. Но с годами старые осека подгнили, начали разваливаться, чинить их не стало сил, и колхозное стадо уходило от деревни порой слишком далеко. К тому же не стало и колокольцо́в на коровах.

Поначалу отказывали ворота в изгородях, поломались запоры.

Сейчас дивно вспомнить, сколько раньше было самых необыкновенных, простых и хитроумных деревянных запоров у полевых ворот. К установке их крестьяне относились как к искусству. Не признавали никаких железных крючков, никаких ершей и гвоздей — это было бы слишком богато и чересчур непритязательно. Зато изготовление накидных колец, петель и обручей из распаренных виц, всяких березовых задвижек, упоров, заворней, заверток, щеколд требовало выдумки и мастерского владения топором.

Сооружались даже своеобычные автоматические защелки: чуть отогнешь в сторону пружинистую жердочку — и ворота, скрипя деревянной пятой, распахиваются сами, хлопнешь ими — и жердочка становится на свое место, упираясь концом в гнездо обвязки. Не то что корова или лошадь, никакая коза таких ворот не откроет.

Хорошими запорами деревня гордилась, как резными балконами, просмоленными крышами и убранством своей часовни. Это, как и многое другое в те времена, было творчеством.

Но вот перестали запираться ворота, начали обваливаться изгороди то в одном месте, то в другом — и скот пошел гулять по посевам, по сенокосам, по болотам и лесам. Вечером жди не жди — не придет в колхозный двор ни одна корова.

Долгое время на выгон в сумерках бегали сами доярки. Выйдут из деревни, осмотрятся: «Ну, кто куда? Давайте лучше порознь — скорей наткнемся». Нюрка Молчунья несется через все Летовище в Угол, Авдотья Мишиха к Югскому кордону, Ваниха Пронькина на Казино болото — все в разные стороны. Найдут коров, пригонят домой, но сами так вымотаются, что и подойник в руки брать неохота.

Пастух нужен — это уже понимали многие, но слишком необычным, даже нелепым казалось для здешних мест: пастух за коровами! Ну, пастушок, мальчонка какой-нибудь, школьник — еще куда ни шло. Но мальчонка с коровами не управится. А взрослого ставить — это значит оторвать от дела рабочего человека, да еще и платить ему придется.

Нюрка долго молчала, думала, как быть, и, наконец, решилась пойти в контору, к самому председателю. О своей усталости она не заикнулась бы, но за других постоять ей не казалось зазорным.

— Чего тебе?— спросил ее Прокофий Кузьмич, когда Нюрка переступила порог кабинета и молча замерла у дверей. Письменный стол председателя был завален какими-то ведомостями и окурками. Хозяин неохотно поднял глаза на девушку.

— Ну, чего молчишь?

— Я не молчу.

— Чего тебе?

— О пастухах нынче много пишут, Прокофий Кузьмич,— сказала Нюрка.

— Тебе что за дело?

— А у нас пастуха нет.

— В пастухи, что ли, хочешь?

— Нет, я коров дою.

— Ну и дой, выполняй план.

— Я выполняю.

— Тогда иди, все!

Прокофий Кузьмич снова уткнулся в ведомости.

Но Молчунья продолжала стоять у порога.

Прокофий Кузьмич подождал и спросил ее снова:

— Еще чего тебе?

— Пастуха бы, Прокофий Кузьмич.

— Так, опять пастуха?

— Пастуха.

— Вот что!— В голосе Прокофия Кузьмича послы-

шалось озорство, он захотел пошутить с робкой девушкой.— Значит, пастуха захотела?

— Колхозу пастух нужен! — ответила Нюрка серьезно.

— Вот Пашка выучится, и отдам его тебе в пастухи.

Нюрка пропустила мимо ушей и эту шутку.

— Удои бы сразу прибавились,— сказала она.

— Все у тебя или еще не все?

— У всех пастухи есть,— настаивала Нюрка.

Прокофий Кузьмич начал терять терпение.

— Да ты что, ополоумела? И без того работать некому, а тебе еще пастуха подай!

— Без пастуха коровы бегают далеко, не столько едят, сколько траву топчут,— не унималась Нюрка.

Прокофий Кузьмич мог накричать, указать Нюрке на дверь — выйди, дескать, и не мешай работать, тем более что работы всякой в страду было много и не так уж хорошо все шло, а тут еще уполномоченные один за другим... Но он сдержался и заговорил с Нюркой совершенно спокойно, сквозь зубы:

— Вот что, девонька. Если Пашку ждать не хочешь, мы тебе другого пастушка подберем, раз уж приспичило. Или подождешь? Любовь, говорят, зла... За такой клад, как ты, любой парень ухватится...

— Тогда я зайду в другой раз!— спокойно и серьезно сказала Нюрка, как будто не слышала, о чем перед этим говорил председатель.

В другой раз она держалась так же робко и так же твердо.

— Людей жалко, Прокофий Кузьмич,— начала она, остановившись опять у порога.

— О чем ты? — не сразу понял ее председатель.

— О доярках, о напарницах своих.

— А! О пастухе?

— О пастухе, извините уж меня.

Прокофий Кузьмич взял со стола тяжелые, массивные счеты, неторопливо вышел из кабинета в общую конторскую комнату, что-то поговорил там с бухгалтером и скрылся.

Через несколько дней Нюрка пришла к нему в третий раз. Перед этим она повидалась с директором школы Аристархом Николаевичем и разговаривала еще с каким-то уполномоченным.

В третий раз к Прокофию Кузьмичу ее не пустил

главный бухгалтер, лысоватый старомодный человек, нанятый колхозом где-то на стороне и отлично умевший исполнять приказания непосредственного своего начальника. Он просто взял Нюрку за рукав, притянул к своему столу и сказал:

— Не надо, Аннушка-девочка, туда больше ходить, ты своего добилась: пастуха мы уже подобрали, приказ подписан, все по закону, и послезавтра за твоими коровами будет полный присмотр и пригляд. Все по закону!

* * *

В парке дома отдыха вокруг одного из сосновых стволов был сколочен грубый, но милый для всех дощатый стол. Сосна поднималась к небу прямо из середины его. Замкнутым кольцом вокруг стола была сделана и скамейка. В хорошую погоду здесь собирались отдыхающие, играли в карты, в домино, рассказывали анекдоты. Книги тут читались редко — все, кто любил посидеть с книгой, забирались подальше от дома, в глубь сосновой гривы или на берег реки, в кусты, где ютилось множество разных птичек, а весной заливались по ночам даже соловьи.

В туманное осеннее утро Павел ходил по парку. На тропинках валялись ощеренные сосновые шишки, похожие на маленьких ежиков, и навалом лежали мягкие хвойные иглы. Иголок особенно много было там, где в дождливые дни текли ручейки. Увидев круглый стол вокруг сосны и подивившись выдумке мастера, Павел присел на скамью и почувствовал, что ему страшно не хватает брата или бабушки или хоть кого-нибудь из односельчан, чтобы можно было поговорить со своим человеком и похвастать всем, что он теперь имеет. Разве не ему принадлежит все это богатство, разве не он, рабочий человек, здесь хозяин? Он! Ведь так и в газетах пишут. Он — хозяин, и все это — его! Посмотрел бы сейчас Шурка, каким стал его брат! Глянула бы бабушка — заплакала бы!

Павел решил написать письмо. Сходил в свою комнату, взял из баула бумагу, карандаш, конверт.

«Здравствуй, бабушка, здравствуй, Шурка-черт! Всем по низкому поклону. Вы сейчас меня не узнали бы, какой я стал. Живем мы на высокой горе в двухэтажном доме. Это дворец! В одних комнатах живем, в других питаем-

ся. Столовка наша вся в узорных скатертях, и это не столовка, а ресторан. Кормят меня почем зря, чем только не кормят, как на убой, и все бесплатно. И лечат. И все по часам. Три раза в день дают рыбий жир с витаминами. И разные другие блюда. Везла меня от нашего города до станции сама Людмила Константиновна из области. И по железной дороге у меня билет был бесплатный. Мне все везде дают бесплатно. Директор нашего дома, когда узнал, что меня привезла сама Людмила Константиновна, обрадовался и распорядился, чтоб все для меня было. Спим мы не в доме, а на веранде, под крышей без стен — мороз не мороз. Это для здоровья. И все за мной ухаживают...»

Павел кончил писать, и неожиданно ему пришло на ум: а вдруг бабушка испугается, что на веранде он мерзнет, что кашлять начнет? И он хотел было зачеркнуть слова про веранду, но подумал и не зачеркнул: даже интересно, что бабушка из-за него может прослезиться. И, представив себе, как она будет охать и ахать, и сердиться и ругаться, он добавил в письме, что голова у него все еще болит. Ничего, пускай бабушка немножко испугается!

В поисках почтового ящика Павел вышел за деревянную ограду дома отдыха. В мокром песке, среди обнажившихся корней старой сосны, возились ребятишки, о чем-то разговаривали, спорили. Они не сразу заметили Павла, остановившегося над ними, и он услышал, о чем они говорят.

— Как это — охотником? На охоту ходят, когда уработаются до смерти. На охоту все ходят — и летчики, и моряки, и звездолеты. А кем ты будешь жить?

— Я все равно охотником буду.

— Это не жизнь.

— А я хочу всю жизнь спектакли ставить.

— Ну и ставь!

— А я никуда отсюда не уеду. Я всю жизнь буду отдыханцем.

— Кто тебе столько путевок даст?— неожиданно для ребят спросил Павел.

Мальчики вскинули на него глаза, но не испугались, потому что Павел не показался им настоящим взрослым. Один мальчишка ответил:

— Зачем ему путевки, он — сын здешнего директóра.

Тогда Павел сказал уже по-взрослому, строго:

— Простудитесь тут. Идите домой! Зачем корни у сосны подрываете?

— Мы не подрываем!—дерзко ответил сын директора, малец лет пяти-шести в ярком шерстяном костюме-комбинезоне и прорезиненной куртке.

— Как не подрываете?

— Не твои корни!

Чтобы не унизить себя, Павел не стал спрашивать о почтовом ящике, а прошел мимо, словно перешагнул ребятишек. Им еще мечтать да мечтать о путевках в дом отдыха, а он уже отдыхает в нем, как все, и живет на всем готовом.

* * *

Одно тревожило Павла, что врач, старая женщина, не хотела его лечить, то есть не давала ему никаких лекарств. Не выписывала лекарств, значит, не признавала больным — как же иначе можно понимать ее? Так именно Павел ее и понимал. А если врач не считает его больным, то, спрашивается, зачем же его, молодого парня, сюда послали, за что ему бесплатную путевку дали? Конечно, врач об этом своем мнении либо скажет кому-нибудь, либо напишет, что еще хуже, и тогда Павлу больше уже не видать никаких путевок.

Такое предположение беспокоило Павла настолько, что он изо дня в день стал навещать врача и убеждать ее, что болен всерьез, а не как-нибудь, и что его надо лечить, несмотря на возраст, и что жалеть для него лекарства сейчас нельзя, иначе потом придется расходовать в несколько раз больше. Это ли не антигосударственная практика? Он так и говорил: «антигосударственная практика».

Как-то Павел узнал стороной про сердечные приступы и какие ощущения при них испытывает больной. В результате у него несколько раз произошли неприятности с сердцем.

Старушка на первых порах выслушивала все его жалобы, но потом стала отделываться от него шуточками, посылала выкупаться в холодной осенней воде, либо поиграть в волейбол, либо поухаживать за девушками — да, да! Посылала ухаживать за девушками. И Павел невзлюбил врача, эту старую несерьезную женщину.

Только ведь другого врача в доме отдыха не было. Были медицинские сестры, но разве без докторских указаний могли они хоть шаг ступить? Да, кажется, и сестры не относились к Павлу Мамыкину всерьез. По крайней мере, ни разу среди ночи, когда его донимала бессонница, сестры не вызывали врача к его постели. И Мамыкин рассердился и пригрозил сообщить о невнимательном к себе отношении директору дома отдыха, а главное — Людмиле Константиновне, в областной Совет профессиональных союзов.

Эта угроза произвела впечатление на дежурную няню, и когда однажды, глубоко за полночь, Павел вдруг забился в нервном припадке, она, всполошенная, бросилась прямо на квартиру к доктору, в дальний флигелек в парке, и забарабанила в дверь, потом в окно, потом опять в дверь, вопя: «Человек умирает!»

Павлу приснился страшный сон с участием всех главных нечистых сил сразу, от страха он дико закричал и проснулся, когда простыня была уже основательно подмочена. Страх сменился стыдом, поэтому Павел продолжал кричать и визжать даже после того, как проснулся, затем упал с кровати и забился в истерике на полу. Повскакавшие спросонок соседи попытались его поднять с полу, но парень стал драться, и они робко топтались вокруг, не зная, чему верить, чему нет и что они обязаны делать в таких случаях.

Разбуженная воплем няни старушка врач, не зная, к кому ее зовут среди ночи, кто умирает, разволновалась больше, чем ей было положено, с трудом и кое-как оделась и почти бегом кинулась через весь парк в главный корпус. Поднявшись на второй этаж гораздо быстрее, чем ей самой разрешалось по состоянию здоровья, и увидев на полу ругающегося и хрипящего Мамыкина, она сразу заподозрила симуляцию. Гнев отнял последние силы у ее больного сердца, и срочная помощь потребовалась ей самой.

* * *

Голова у Павла действительно побаливала, но не так сильно и не так часто, как он любил об этом говорить. Через месяц, вернувшись домой, он сказал о головной боли бабушке и еще о том, что у него время от времени покалывает в боку, и есть кашель, и опять бывает на-

сморк, и бабушка не отпустила его в город на ученье, а принялась лечить по-своему.

В избу затащили деревянный бук — кадку почти в рост человека, в которой можно и пиво варить, и белье бучить, и поставили между печным челом и кухонной заборкой. Павел сам носил с колодца воду, а бабушка кипятила ее в чугунах и в самоваре и сливала в кадку. Кадку она прикрыла половиками и полушубками в несколько слоев.

— В этом чане, Пашута,— говорила она,— я не раз твоего батьку лечила. И дедушку лечила. Приедет, бывало, дед из лесу, из деляны, в страшный мороз або со сплава, ледяной насквозь, что тебе кашель, что хрипота в грудях, и горлом глотать не может, а я его в баню, в вольный дух. Парю день, парю два — у самой сил уж нет, а немочь из него никак не выпарю. Ну тогда сажаю его в чан, на бук, да и кипячу под ним воду, а потом дам выпить стаканчик-другой перегару або водки — все немочи как рукой сымает. Да что немочи — любая лихоманка от такого пользования не устоит. Каюсь, грешная, матерь твою лечила не тем, надо бы и ее на бук посадить сразу, ни одного пупыша на теле не осталось бы. Опоздала я, окаянная! Все пупыши у нее были от простуды, простуду каменьями выпаривать надо — люди дольше жить будут. Вот сейчас я тебя попользую, ты уж на меня надейся.

В печи, в березовом жару, камни доходили до белого каленья — не один десяток булыжников. Бери их, шипящие, вилами по паре и стряхивай в кипяток на дно кадки, чтобы заклокотало, забурлило, чтобы пар приподнимал над головой болящего половики и овчины.

Бабушка заранее поставила в кадку высокую табуретку и придирчиво осмотрела, высоко ли она стоит над водой,— не дай бог обжечь парня, когда вода закипит.

Павел не раз слыхал, как лечат людей на пару, и относился к бабушкиному колдовству с полным доверием.

— Полезай, Павлуша!— сказала она наконец, заглянув в печь и убедившись, что камни достаточно раскалены.— Раздевайся!

Павел разделся за печкой догола и, стыдливо прикрываясь, пододвинул скамейку к кадке, чтобы забраться в нее.

— Будто газовая камера, бабушка.

— Какая такая?

— Ну, душегубка.

— Ты, соколик, неладно сделал. Подштанники надень на себя и рубаху нижнюю ие сымай, брызгать будет. Да ноги под себя на табуретке подожми. И дыши паром, первое дело — дыши паром. Пар, он от всех недугов пользителен.

— Ладно, бабушка!

Когда Павел с головой укрылся в кадке, старуха достала с верхней полки-поднёбицы глиняный горшок с мелко нарезанной вяленой травой вроде крапивы и темно-зелеными шишками хмеля, высыпала содержимое на белую тряпицу, посолила для силы, старательно перемешала, что-то шепча, и, оглянувшись, не следит ли за ней внучек-безбожник, перекрестила и стряхнула все это к нему под ноги в кадку. Затем она выгребла из печи клюкой румяный, в искрах, ставший почти прозрачным камень и, накрепко зажав его угольными щипцами, перенесла и опустила в воду под ноги Павлу.

— Держись, Павлуша! Блаослови, осподи!

Павел испуганно сжался, сдвинулся в сторону. Камень словно бы взорвался под ним, вода раздалась, сердито заклокотала, белый пар повалил клубами. Бабушка наглухо закрыла кадку. Второй камень обдал жаром лицо и босые ноги Павла, ему стало страшно — вдруг каленый орешек упадет на колени или просто коснется тела. Не успеешь закричать, а бабка замурует тебя — и все. И ничего не будет слышно в этом клокотании — ни стона, ни рева.

Вот опять на мгновение появился просвет над головой, мелькнуло в тумане красное лицо старухи, и новое ядро взорвалось под ним. И снова он один в темноте, в жаре, как в кратере вулкана, как на сковороде у сатаны. А бомбардировка продолжается, а жар увеличивается, дышать все труднее.

— Доведу я каменья,— шепчет бабка,— до белого каленья, чтоб от пара, от жара простуда сбежала, чтоб от белого тела вся хворь отлетела...

Павел почувствовал себя маленьким и беззащитным.

— Баушка!

— Сиди, Пашута, не бойся. Вот я еще!..

— Баушка!

— Сиди, сиди, пущай пар до костей достигнет. Жарко тебе?

— Дых... дышать!

А половики и полушубки над головой опять сомкнулись. И Павел, теряя силы, исходил пòтом не столько от жары, сколько от страха.

— Бабка!

— Сейчас, сейчас, добавлю. Ты о хорошем думай, очищайся!

Павел слышит это, но думать ни о чем не может. В сознании мелькают только обрывки каких-то давних видений — лесные пожары в хвойных зарослях, зайцы и белки, бегущие к реке, красные птицы, косяками мечущиеся в небе, грозовая молния, однажды расколовшая колодезный журавель, изба, загоревшаяся посреди деревни,— в тот летний страшный день пламя смело половину посада и почти все поле спелой сухой ржи, прилегавшее к гумнáм со стороны леса.

— Ба-абка!

— Сиди, говорят тебе. О хорошем думай!

Вода клокочет под табуреткой, вот-вот ключи коснутся скрещенных поджатых ног. Вскочить бы, поднять головой крышку, выбить дно и выйти вон! А вдруг качнешься неосторожно и табуретка подвернется, упадет набок. Или приподымешь голову, а бабка в этот миг сунется с камнем,— она торопится,— и сослепу да впопыхах ткнет тебе огнем прямо в лицо либо уронит красное ядро на плечо, на колени. Уф! «О хорошем думай!» О чем о хорошем? В сосновом бору, в доме отдыха дышалось легко и свободно. Главное в жизни — дышать. Дохнуть бы! Скоро ли она?

— Скоро ли, баушка?

— Сейчас подбавлю. Потерпи! Все как рукой сымет.

Павел не потерял сознания, но если бы бабушка не оказалась такой проворной, не вылезть бы ему из кадки, не забраться бы на печь, не укрыться. Нижнее белье, мокрое до нитки, облегло его тело, приклеилось; но будь он сейчас совсем голый, окажись в избе все деревенские девушки, он все равно не испытал бы уже никакого стыда — не до стыда было.

— Блаослови, осподи! — шептала бабушка, укладывая его на печи.— Уйди, хворь-хвороба, из костей хлебороба, из суставов, из жил, чтобы не ныла утроба, не скудался б до гроба, не хирел, не тужил. Руки, ноги покинь, не держись цепко. Слово мое крепко. Аминь!

Пар валил из кадки сквозь половики, в избе стояла духота, окна запотели, Павлу все еще трудно было ды-

шать. Полегчало только, когда бабка влила ему в рот стакан самогона, крепкого, вонючего, живительного.

Через час-полтора прибежала Нюрка. Лицо ее было бледно, глаза расширены. Откуда она узнала и что̀ — никто бы не сказал. Ни бабка Анисья, ни сам Павел никому ни слова не говорили о предстоявшем лечении. А Нюрка что-то узнала. И хоть губы ее дрожали, она постаралась вымолвить первые свои слова от порога как можно спокойнее:

— Здравствуйте! Я просто так. Шла и зашла. Никакого дела нет.

Говорила она это, а глаза ее так и бегали и, казалось, кричали от страха, пока Нюрка не увидела на печи живого Павла.

— Ой, что это у вас? — спросила она, указывая на бук, из которого валил пар.

Все окна были еще в испарине, и на потолке висели светлые капельки воды, словно после большой стирки.

Бабка Анисья вытирала тряпкой пол около печи, где была рассыпана зола и валялись мелкие угольки.

— Да вот Павлушу пользовала,— сказала она.— Лечили его там, на городах, лечили, а толку, гляжу, все мало. Дай, думаю, сама возьмусь, поставлю его на ноги, або всю жизнь будет скудаться здоровьем. Да ты проходи, садись, в ногах правды нет.

Нюрка сглотнула, словно во рту у нее была какая-то горечь, и, не сводя глаз с печки, спросила:

— Ой, что это с ним?

— Да ничего с ним. Садись, говорю, проходи! Я тебе толкую, что лечила, а ты спрашиваешь, что с ним.— Анисья повернулась к Павлу.— Жив ты там, Павлуша?

Павел застонал.

— Ой! — отозвалась на его стон Нюрка Молчунья. Ей, видимо, хотелось спросить о многом и сказать многое, но не решалась — боялась выдать себя, и она спросила только: — А Шуры дома нет?

— Нет Шуры дома,— ответила Анисья.— Нужен он тебе?

— Да нет, так я. Ну, я пойду!

Нюрка убежала. А через несколько минут после нее появился Нюркин дедушка, Михайло Лексеич. В бороде его желтели крошки вощины.

Надо полагать, Молчунья наговорила ему всяких

страхов, потому что, едва переступив порог, он начал совестить Анисью:

— Ты что, ополоумела, старая? Что натворила? Погубить, конечно, парня хочешь аль что? Беги к председателю! Посылай за доктором!

Анисья, стоя на табуретке, выгребала угольным совком камни из бука и складывала их в ведро. Она только выше засучила рукава кофты и закричала в ответ так же неприветливо:

— А ты, старый умник, с цепи сорвался або что? Положи крест на лоб — в дом вошел.

— Что с парнем сделала, спрашиваю тебя? — настаивал старик.

— А ты кем ему доводишься? Может, ты ему дед аль тесть потайной? Або ты сам председатель колхоза, что входишь в чужие дома, не перекрестясь, будто в свой дом?

Михайло Лексеич сплюнул на пол и, поднявшись на печной приступок, заглянул в лицо Павлу.

Павел спал и потел. Струйка пота со лба по переносью и мимо носа стекала, как по желобку, в приоткрытый рот.

— Смотри у меня, дурная! — шепотом пригрозил Михайло Лексеич Анисье и, не попрощавшись, пошел из избы. Но в дверях столкнулся с председателем колхоза и вернулся.

— Что тут у вас, кто кого уморить хочет? Я ничего понять не мог! — во всю силу голоса закричал Прокофий Кузьмич, словно пришел не в избу, а на гумно.

Михайло Лексеич опять сплюнул и погрозился, на этот раз уже не в сторону Анисьи, а в адрес своей внучки.

— Вот полоумная, успела, конечно, взбулгачить всю деревню! Сейчас и доктора на себе, конечно, привезет, лошадь запрягать не надо.

Председатель колхоза разбудил Павла, чтобы спросить, как он себя чувствует. Павлуша поднял голову, лицо у него было жалкое, красное и все в поту. Казалось, он плачет.

— Мне хуже! — сказал он.

Тогда председатель набросился на Анисью:

— Ты, пережиток капитализма, что делаешь? Варварство в колхозе разводишь? Невежество? Государство не жалеет средств, учит людей, а ты подрываешь? Смену мою загубить хочешь? Шурку своего лечи...

Перепуганная Анисья перестала возражать, отмалчивалась, и только.

* * *

После этого Павел еще не раз получал курортные путевки. Бесплатное направление на курорт, как многие другие блага, получают далеко не все. Не все умеют писать заявления. Трудно бывает получить первую путевку, трудно распознать, как это делается,— научиться просить, войти в нужный список, в доверие. Павел прошел эту школу с успехом.

Женщина-врач, молодая, добрая, следившая за состоянием здоровья учеников ремесленного училища, однажды по-матерински посоветовала ему:

— Пожил бы ты подольше у своих родных в деревне. Походил бы там по лесам, полям, подышал бы родным воздухом, попил бы молока да поел бы не в столовой, а своей деревенской здоровой пищи — и перестал бы болеть.

Павел ответил ей с полным доверием:

— Сирота я круглый, Вера Дмитриевна, куда я поеду, кому я нужен? Дома только бабушка да брательник, совсем еще мальчишка. И одни-то они едва концы с концами сводят на своем участке. Что я свалюсь им на голову, больной, им и без меня тошно. Плохо у них. А меня воспитала советская власть. Я же не дома травму получил, не в колхозе. Бабушка меня лечила на буку паром, чуть до смерти не залечила. Варварство у нас там, невежество. Больные зубы лошадиным пометом лечат — кладут на зуб вместо лекарства. А кто с пупа сорвет — горшок на пуп ставят вместо банок, весь живот в горшок втягивается. Да разве бы я болел, если бы не сиротская жизнь!..

Всякие сомнения у Веры Дмитриевны исчезли, и она заполнила очередную курортную карту на имя Павла Мамыкина.

По этой причине он редко стал бывать дома, даже каникулы у него были заняты. Бабушка и Шурка недоумевали и обижались на него.

Чем дороже обходился Павел Мамыкин государству, тем значительнее казался он самому себе. Он становился своего рода «номенклатурным больным».

Заявления приходилось писать все чаще, и не только о выдаче бесплатных путевок. Однажды Шурка сообщил Павлу, что в колхозе не смогли достать нескольких мелких деталей для конного привода к молотилке. Павел по-

говорил с ребятами, с преподавателем слесарного дела, побывал вместе с ними в РТС, и было решено изготовить эти детали собственными силами и отправить в колхоз в качестве шефского подарка. Для оформления операции потребовалось заявление. Павел написал его по всем правилам от имени правления колхоза. Училище гордилось проделанной работой, и Павла очень хвалили за инициативу. Правда, когда подарок был отправлен, Павел написал своей бабушке, чтобы она знала, что это он, а не кто иной, удружил своему колхозу, и бабушка извлекла из его сообщения немалую пользу: в пору самой тяжелой бескормицы ей было отпущено для коровы несколько вязанок колхозного сена.

Павел продолжал писать заявления и по окончании учебы: о трудоустройстве — не по разнарядке, а где самому хотелось; о подыскании комнаты — не всю же сознательную молодую жизнь скитаться ему по общежитиям! — и, наконец, опять о курортном лечении.

Форма заявлений постепенно сложилась и отработалась — устойчивая, постоянная: вначале он рассказывал о своей тяжелой личной судьбе — отец погиб на войне, мать — на колхозном фронте, двое маленьких детей остались круглыми сиротами; затем — что если бы не советская власть да не колхоз, погибли бы они голодной смертью. Но советская власть не бросила сирот, не позволила им пойти по миру. И вот они, два брата, теперь работают: один — в сельском хозяйстве, другой — на производстве. Далее он излагал, в чем нуждается и почему не может сейчас обойтись без поддержки, без помощи. При этом обещал, что придет время и он за все отплатит своему щедрому отечеству. Наконец: «Прошу не отказать мне в моей просьбе».

Редко, очень редко подобные заявления не действовали на сердобольных начальников: любой из них когда-нибудь сам побывал в беде, и государство у нас богатое...

* * *

Шурка так уставал на колхозной работе, что с вечера забирался на сеновал спать, когда его сверстники, умывшись и поужинав, шли на угор, в темноту, к девчатам, к песням. Деревня затихала не сразу: возвращались люди с сенокоса, возвращались коровы с выгона, лаяли собаки,

гоняясь за скотом, скрипели колодезные журавли, молоковоз кричал на всю улицу, таская тяжелые бидоны в телегу и торопя оформление очередной накладной. Ветер замирал, и хвойные и травяные запахи, залетавшие в деревню из окрестных лесов и лугов, сменялись теплыми застойными запахами дворов и поветей. В небе проступали звезды, извечные, как слова любви, как звуки гармошки — простые и волнующие.

Молодежь зимой собиралась на беседки, а летом — на угор, обычно около пожарного сарая, где хорошая площадка для возни и для плясок.

С повети Шурке хорошо слышны и сонное бормотание кур на насестах, и всполошенные петушиные крики, и хлюпающая, влажная топотня дождя на драночной крыше, и грустные коровьи вздохи во дворе у пустых яслей, и, конечно, каждый живой звук на сельских улицах.

— Марья Митрошина, опять твоей пегой сатаны с рогами нет, весь день ходила вместе со стадом, а как вечер — она в лес. Гляди, медведь задерет, не ровен час.

— Вот окаянная, не любит домой ходить.

— Невзлюбишь, коли в стойле жижи по брюхо. В лесу грязи меньше.

— А может, она с колхозными на мэтэфэ ушла? Спроси доярок!

— Нет на мэтэфэ. Ищи на Мокрушах!

— Куда я в лес пойду на ночь глядя. Все равно молока со стакан дает.

Медные колокольцы гремят все реже и реже — коровы расходятся по дворам. Шурка не может заснуть, ожесточенно ворочается на сене, словно набилось оно под рубашку, и колет, и царапает, и щекочет его. А спать хочется. Если не заснуть сейчас, то завтра опять придется клевать весь день, того и гляди, под колеса попадешь, а то и под лемеха.

— Груня, пошли полуношничать! — слышит он знакомый зов девушки-соседки.

— Спать охота!

— Плюнь, на том свете выспишься.

«Оно, пожалуй, и верно,— думает Шурка.— Все равно не заснуть».

— Эй, карапуз, позови батьку к окошку! — раздается другой голос где-то поблизости.

— Я здесь, кто это? — отзывается глухой бас.

— Пойдем хватим с устатку. Гарман в район ездил.

«Где-то сейчас Пашка? — начинает думать Шурка о старшем брате, и накопившиеся за эти годы боль и обида на Павла опять поднимаются в его душе.— В районе он или где? Неужто дальше куда уехал! Ученье, должно, уже закончил, а домой даже не заглянул. Бабушка слаба стала, спит мало, все переживает. А Пашка и на письмо не ответил. И летом дома не стал жить, все устраивает свои дела где-то. Все они такие, ученые, только выйдут в люди, хлебнут городской жизни — и нщи-свищи, назад в деревню калачом не заманишь, батогом не загонишь...»

А как жил сам Шурка все это время, чем он занимался? А тем и занимался, что колхозу требовалось. Увлекся льном, потому что от льна колхозу шла самая большая прибыль. В льноводческом звене вся инициатива постепенно перешла к нему, и Клавдия стала упрашивать его взять звено в свои руки. Женщины ее поддержали, и Шурка согласился. Со всеми наравне он возил навоз на участок, и теребил лен, и расстилал, и собирал, сам следил за его сортировкой. А когда выяснилось, что приемщики на льнозаводе занижают сортность тресты в своих интересах и спорить с ними невозможно — они специалисты, Шурка поехал в район к агроному, набрал книжек, чтобы досконально изучить, по каким признакам определяются номера тресты, и сам стал ездить сдавать лен заводу. Колхоз выиграл на этом несколько десятков тысяч рублей.

Но, взявшись за книжки, Шурка почувствовал, как много он потерял в жизни, как трудно ему будет без ученья. И об этом думал он сейчас:

«Уцепился за бабушкин подол, брату помогал, смотрел в его раскрытый рот, а о себе забыл! Теперь и брат забыл обо мне. А может, еще не забыл? Вот приедет начальник начальником и скажет: «Ну, родные мои, всё, собирайтесь, всех с собой беру!» Куда беру?..»

— Какое вам кино в горячую пору? — вдруг закричал на улице бригадир — Шурка узнал его по голосу.— Планы сорвать охота?

— План, план... А люди для тебя что?

«Кино тоже по плану можно бы показывать,— думает Шурка.— А то кампания за кампанией по плану, всякие заготовки и сдачи по плану, а все, что для души,— от случая к случаю. Почему это?»

На повети такая темнота и так душно, что Шурке иногда кажется, будто он закрыт наглухо тяжелым покрывалом. А стоит курице или петуху переступить на насесте да квокнуть чуть слышно — и сразу становятся словно бы видимыми и крыша над ним, и стропила, а над крышей ночное небо и звезды.

«Все-таки не зря сказал тогда директор школы,— вспоминает Шурка,— я бы тоже учиться мог. Эх, мне бы поучиться! У меня и здоровья хватило бы. Для ученья хорошее здоровье нужно. Родись в деревне, закались на свежем воздухе, на колхозном хлебе — и тогда уж никакая наука не будет страшна...»

Шурка не верил, что в городах не хватает умных людей, таких, скажем, как Павел. В деревнях, да, не хватает! Значит, учиться надо не для города, а для своей же деревни, для своей земли. Людей кормить надо, а если земля совсем осиротеет, тогда что будем делать, куда покатимся?

«Где же все-таки Пашка, сукин сын? Хоть бы на время вернулся, пожил бы хоть один год с бабушкой, а я бы той порой... Эх, уж и впрягся бы я, сразу бы трехлемешным, четырехлемешным поднимать целину начал! За год — семилетку, за два года еще чего-нибудь кончил бы. Всех бы нагнал. Да разве опоздал я? Опоздаешь, если бабушка только и дело, что о женитьбе сказки рассказывает. Ей помощницу нужно. А бригадиром хотели избрать, так председатель сказал, что еще молод, рано и доверия, говорит, не заслуживает, шумит много. Шумит — это значит критикует...»

Все дневные голоса и звуки на улице наконец смолкли. Тогда на угоре заиграла гармошка-хромка. Ее щемящие душу переборы возникли где-то далеко-далеко, наверно, еще в поле, и оттуда, из-за перелесков и пустошей, усиливаясь и раздаваясь вширь, неотвратимо надвигались на Шуркино неокрепшее сердце, как наводнение, как бедствие, и — какой уж тут сон! — Шурка не выдержал, встал, на ощупь оделся и почти бегом бросился с повети на призывный зов гармони и девичьих прибауток.

Бабка услышала, что внучек ушел на угор, и тайно порадовалась этому: «Растет, растет парень, еще немного — и невестку приведет в дом. Дай-то бог!» И лишь после его ухода она заснула спокойным, надежным сном.

А не спалось ей все потому же, что и Шурке: она много думала о своем старшем внуке, о Павле. Что-то не совсем понятное, не осознанное еще происходило в ее душе. Где же все-таки Пашута, чем он живет, почему не подает голоса и как ей ко всему этому относиться?

Бесконечно много надежд, больших и маленьких, связывала она с Павлом. «Вот вырастет, вот выучится, вот выйдет в люди!» — постоянно повторяла она и про себя и вслух, и это звучало как извечная старушечья молитва: «Помоги, господи! Спаси, Христос! На тебя вся надежда!»

Крыша над избой давно прохудилась, течет и весной и осенью, кое-где дранка совсем сгнила, сколько уж лет не смолили ее — какая ныне смола! Ладно, теперь недолго осталось ждать: Павлик вернется, либо сам перекроет, либо денег привезет, а на деньги и дранку и смолу достать можно.

С коровой тоже надо было что-то порешить — стара шибко, брюхо большое, а вымя как мочалка выжатая. Сдать бы Пеструху на мясо, хватит, послужила, а взять другую, первотелочку, либо своего телка выкормить. Да ведь без мужика нелегко решиться на это, на одну животину сена не наскребешь, а тут двоих надо кормить. И опять: вот ужо Пашута возьмется за все сам, парень он прилежный, не глупый, не шалопай какой-нибудь.

И с коровником тоже — ломать, перестраивать надо. Ставился двор не на одну скотину, а на целое стадо. И стояло в нем раньше, худо-бедно, четыре, пять коров, да бык, да телята, какой ни мороз — тепла хватало. А ныне в этом же дворе стоит-дрожит одна Пеструха, пережевывает свои коровьи думы, вздыхает, зимой вся закуржавеет, и на морде иней и в пахах, даже вымя в инее. А корму маловато — какое уж тут молоко! Развалить надо этот двор, отобрать бревна, которые поцелее, укоротить их, добавить свеженьких и собрать новый коровничек, чтобы в нем уместить всю свою живность — корову, пару овец, поросенка. А куры по-прежнему на повети... Эх, силы нужны, деньги нужны, хозяин нужен! Обсудить надо поначалу все как следует. С Шуриком не обсудишь — молод еще, не все понимает, старается не для дома, встает рано, приходит поздно, все на колхозной работе, все там, трудодни зарабатывает, ему не до своего хозяйства. А трудодни тебе двор не перестроят, крышу не закроют. Опять же свои-

ми руками надо делать. Вот выучится старшой: и глаз хозяйский, и деньги — все будет сразу.

Да мало ли всяких забот у бабки, мало ли о чем думает старуха, когда ей не спится! И все ее добрые помыслы, все заботы ее сходятся в одной точке: Пашута! Вот кто избавит ее от горьких дум, от мирских обид и несправедливостей, вот кто успокоит ее старость.

На чем держится любовь бабушки к своим внукам, в чем она и какова мера этой любви,— кто знает? Родительская любовь понятна. Детеныша своего защищают и звери и птицы. Чем неудачливее отпрыск, тем больше отдает ему мать сил и чувства, жалость к уродцу умножает ее самоотверженность. А почему бабушка с дедушкой любят своих внуков и внучек порой не меньше, чем матери своих детей? Что известно об этом, кроме того, что бабушка рассказывает сказки, а дедушка обещает: «Будет вам и белка, будет и свисток»?

У бабушки Анисьи никого в жизни не осталось, кроме Павлика и Александра. Они внуки ее, они и сыновья. Они наследники ее жизни, будущие хозяева, большаки. Если бы их не было, трудная ее судьба стала бы казаться совсем невыносимой, а испытания, выпавшие на ее долю, бессмысленными. Как можно допустить, будто не окупится все то, что она вложила в своих внуков, особенно в старшего! Об этом даже подумать страшно. Отдача будет, обязательно отдача будет! Вот только приедет Пашута...

И Павел приехал.

* * *

Но сначала от него пришло письмо.

Странное это было письмо. Шурка, устроившись на табуретке, читал его вслух, как обычно, но на этот раз часто останавливался, словно обдумывал прочитанное, а бабушка и ахала, и охала, и все торопила:

— Да читай же, читай скорей, только не прибавляй от себя ничего, выдумщик ты!

Она то садилась рядом с Шуркой и с недоверием поглядывала на листок бумаги, то поднималась и шла на кухню либо к порогу и обратно, а руки ее хватались за фартук; казалось, старушка вот-вот расплачется, и фартук был наготове, чтобы слезы вытереть и высморкаться.

Павел писал, что хотя здоровье его не поправляется, но на работу он устроился выгодную и сейчас хочет начинать жить как следует. Только на первых порах надо, чтобы ему помогли, потому что положение его трудное: он женился!

Дочитав до этого места, Шурка вдруг недобро расхохотался, а бабушка дотянула-таки фартук до лица, и ситчик быстро потемнел от мокрых пятен, будто на нем рядом с серенькими полинявшими цветочками появились какие-то новые причудливые узоры.

— Спаси Христос! — говорила она.— Ни о чем не спросил, не показал девку, какая такая, не пособирался, путного слова не молвил и... женился. Обманул ведь, а? Да как же это он?

«Дорогая бабушка, родимый мой братик Александр,— отхохотав, продолжал читать Шурка,— жена у меня городская, Валерия — ничего, хорошая. Кроме нее, у отца с матерью никого нет, и все хозяйство остается после их смерти за нею; значит, все будет наше. Есть корова, поросенок, огород, две яблони и все такое. И вот мы решили с тестем, с Петром Фомичом, сразу же, не оттягивая дела, перестроить дом, перебрать все стены и покрыть крышу, мало ли что может случиться. Здоровье у него неважнецкое, и всяких врагов много. На него опять насчитали по ларьку не одну тысячу, и надо все выплатить, а то уволят, и, говорит, денег теперь у него своих нет. А сами знаете, чтоб дом перестроить — лес нужен, и гвозди, и рабочая сила. Вы уж пожалейте меня («Слыхала?» — резко крикнул Шурка, оторвавшись от письма и взглянув на бабушку),— помогите мне подняться на ноги, соберите, сколько сможете, и напишите, я живо приеду в деревню сам. По трудодням, наверно, как и прежде, одни разговоры, но, может, у вас боров хороший, можно заколоть да на базар увезти. Петр Фомич говорит, что он тоже мог бы способствовать пропустить мясо через ларек, только я думаю, что на базар лучше. Встану на свои ноги и больше никогда ничего не потребую, помогите лишь, не откажите в моей просьбе, никого у меня, кроме вас, нет.

К сему *Павел Мамыкин*».

— Слыхала?! — сказал опять Шурка, бросая письмо на стол и с укоризной обращаясь к бабушке, словно она

в чем-то была виновата, при этом самое неподдельное удивление и недоумение звучали в его голосе.— Слыхала сироту? — Казалось, он мог ожидать от Павла чего угодно, только не сообщения о женитьбе.

Бабушка с еще большим усердием начала сморкаться и протирать глаза свои ситцевым, уже наполовину мокрым фартуком.

— Слыхала, как не слыхать! Женился-таки... О, господи! И не отписал ничего, не посоветовался, будто ему советы мои больше и не нужны.— Бабушку, видно, больше всего обидело, что Павел не сообщил ей заранее о своей женитьбе.— Как же мы теперь с тобой будем, Шурик? Как же он-то без нас будет жить? Не рано ли женился-то? Парнишка ведь еще, есть ли у него самостоятельность-то, есть ли опытность-то? Как бы чужие люди над ним верх не взяли, как бы молодая жена каблуком на горло не наступила. А молодая ли жена-то? Может, вдова какая, раз хозяйство свое имеет? Отпиши-ка ты ему, Шурик, сейчас же и спроси: мол, была ли свадьба-то; может, бабушку-то на свадьбу позвать бы надо, коли еще не повенчанные?

С удивлением и недоумением смотрел теперь Шурка и на бабушку свою. Он словно впервые увидел ее такой, какова она есть, и растерялся.

— Он же не об этом пишет, бабушка, он помочь просит, ему дом перестроить надо, им с тестем деньги нужны! — закричал он ей в самые уши, будто глухой.

Растерялась и бабушка. Но представление о Павле как о маленьком мальчишке, все еще нуждающемся в ее опеке, и жалость к нему постепенно брали верх над всеми прочими ее чувствами.

— А что же делать-то, Шурик? Брат ведь он родной тебе! Только как мы ему поможем, чем? Может, в правление сходить надо, посоветоваться або что, там тебя нынче уважать стали, никто о тебе худого слова не скажет. Так и так, мол, старший брат женился, подмогнуть бы ему на ноги встать, а уж он добра не забудет, не такой он человек.

Шурка рассердился.

— Никуда я не пойду и никого просить не буду. Не мое это дело. Я не нищий и не маленький, чтобы просить. Так я и буду на него всю жизнь работать? — Шурка впервые говорил о своем брате со злобой.— Не буду я на него работать! Женился, папочкой, наверно, уже зовут, а

все в сиротах ходит да на подмогу надеется. Батраки ему нужны!

Бабушку испугали эти необычные слова его: какие батраки? Кому нужны? На кого он не будет работать?

— Ты это про кого? — тихо спросила она.

— Про него, про сиротинушку твоего, про Пашутеньку! — кричал Шурка.— Он всех обманул! Он и председателя колхоза обманул: тот на него надеялся — вот вырастет, вот выучится, руки ему развяжет, на пенсию отпустит. Он и нас с тобой обманул.

— Обманул, внученька, это уж верно, что обманул. А может, еще и не обманул?

Бабушка опустила фартук, разгладила его на коленях, и руки ее повисли, словно и они, и сама она не знали, что делать дальше.

— Ты от своего брата отказываешься? От родного брата отказываешься, Шура?— спросила она тихо.— Кто у нас еще есть, кроме него? А у него кто есть, кроме тебя? Никого нет. Всю свою молодость провел он на чужих людях, учился, а ты от него отказываешься?

Бабушка говорила тихо, она не ругалась, не корила внука, а все будто спрашивала, будто хотела уяснить, что же все-таки происходит на ее глазах.

— Ведь он сколько лет учился, ведь он уже выучился, как же ты от него отказываешься?

— И я бы учиться мог! — вставил Шурка, но уже без крика.— Мне директор говорил, что у Павла не получается, а у меня бы получилось. Директор сам говорил.

— Директор говорил, а вот Павлик-то выучился, в люди вышел, на городское жительство осел, а ты дома был, дома и остался. Как же ты без него, без брата, проживешь, коли от него отказываешься? Деревня — она деревня и есть, а Пашута в городе будет жить, он неделю поработает — и деньги получай на руки, чистенькие. А мы от кого помощи ждать будем, кто тебя выручит, когда хлеба купить будет не на что? Або не так?

— Бабушка, ты, видно, ничего не поняла. Пашка у нас денег просит.

— А ты не суди старшего,— успокаивала она его.— Чуть что — он тебе и заступа, и ходатай в районе.

— Никаких мне ходатаев не нужно. Руки свои да горб — вот наши ходатаи. Да и он, Пашка, со своими поросятами далеко не уйдет.

— Ученый, Шура, завсегда далеко пойдет. А Пашута теперь ученый.

— Никуда он не пойдет. А пойдет — так споткнется!

Перед самым закатом солнце заглянуло в избу. Днем оно было за облаками, а вечером, когда небо очистилось, его заслоняли крыши соседних домов. Но теперь солнце оказалось на противоположной улице в просвете между двух домов, прямо перед окнами и совсем рядом. В избу оно глянуло не сверху, а снизу. Засияли потолок, полати, печная лежанка, верхние края цветастых занавесок на кухне, горшки и подойник на полице и даже старинный медный с рожком висячий умывальник на стене около входной двери, а пол и вся часть избы ниже подоконников остались неосвещенными и, казалось, посерели еще больше. Так всегда: нет большого света — и серенькое кажется ярким, а при большом свете все черное чернеет еще сильнее, тени углубляются, краски свежеют, и оживают, и оживляют все вокруг.

Солнце озарило избу так неожиданно, что и бабушка и внук перестали разговаривать. Закатный огонь заиграл на стеклах окон, на стекле висевшей над столом лампы — похоже было, где-то затопилась большая печь и свет из ее чела проник в избу. Бабушка подошла к умывальнику сполоснуть руки и заслонила его спиной: умывальник потух, а когда повернулась боком, чтобы вытереть руки, медный раскачивающийся ковшик снова засиял, и медный зайчик забегал по стене и по полу. На освещенной стене зайчик казался бледным, робким, а на темном полу ярким, озорным.

Вытерев руки, бабушка прошла на кухню, села против печного чела и опять подняла фартук к глазам. Шурка услышал, как она вздохнула, всхлипнула и сквозь слезы начала жаловаться своей богородице:

— На свадьбу не позвал. Ведь не позвал! А уж я ли его не честила, я ли его не обхаживала. Конечно, куда мне, старой ведьме, все равно не поехала бы. Да и ехать-то не на чем. А все-таки пригласить должо̀н был...

Перебежка зайчиков по избе оборвалась, солнце ушло из окон, и бабушка Анисья опустила голову еще ниже. Ни о чем ином она не могла сейчас думать, как только о Павле. А *что* можно было думать о нем и *как* о нем думать — хорошее или плохое? Все-таки Шурка не зря обиделся на письмо брата, почуял он что-то неладное в нем. А что не-

ладное? От веку так велось: женится один из братьев, и начинаются всякие ссоры да раздоры. Вот и женился Пашута, и стал он больше думать о себе. Ему же надо свой дом собирать. Что же в том неладного? Конечно, он сейчас только о себе думает...

Разные чувства боролись в душе старой Анисьи, когда она думала о неожиданной женитьбе своего старшего внука. Горечь и гордость, обида и радость. Ведь женился-таки! И свах никаких не понадобилось, все сам сделал — значит, самостоятельный человек! Поглядеть бы, какова его Валерия? Городская, видно, коли Валерия. Городская, а пошла ведь за нашего Пашуту. Значит, верно, что выучился он. За ученого, конечно, любая девка пойдет, верное это дело ныне.

— Что написать ему, бабушка? — спросил Шурка.

— Ой, Шура, и не спрашивай, сама ничего не понимаю. Не знаю, что и написать ему, прости меня господи. Ничего не пиши!

* * *

В сумерках в избу вошла Нюрка Молчунья. Она открыла дверь, не постучавшись, ступила за порог неслышно, не здороваясь остановилась у печурки, постояла немного и прошла вперед, села. Платье на ней новое, бесшумное, как она сама, но, должно быть, дорогое, платок расшит своими руками — это было видно сразу.

— Чего тебе? — неприветливо спросила бабка.

— Я так. Дай, думаю, загляну,— смущенно ответила Нюрка.

— Ну, сиди! — разрешила бабка.

Шурка, согнувшись у края стола на лавке, мял в руках газету и отрывал от нее лоскутки, будто для цигарок. Но он не курил.

Молчунье на этот раз было тяжело молчать, и она, поерзав на месте, спросила:

— Может, вам что надо? Я бы сделала.

На молочнотоварной ферме Нюрка считалась теперь одной из лучших работниц. Ее выдвигали, ее ставили в пример другим чуть ли не на каждом собрании, по крайней мере, во всех отчетных докладах она упоминалась обязательно, и уже по имени, по отчеству. Кличка Молчунья постепенно забывалась. До наград дело еще не до-

шло, но славу создавали девушке быстро и организованно. Нюрка нравилась и председателю колхоза, и бригадирам, и всем прочим колхозным начальникам: безотказная, нестроптивая, нетребовательная, куда ни пошлешь — пойдет, что ни поручишь — сделает, нагрубишь ей — слова в ответ не скажет, роптать не станет.

С тех пор как Павел уехал учиться в город, она не переставала навещать бабушку и Шурку. То прибежит воды с колодца наносит полную кадушку, то под вечер избу вымоет, то баньку под праздник истопит. А для Шурки она уже не одну рубашку сшила, не один платок носовой вышила разноцветным крестом, а сколько носков заштопала — и сосчитать нельзя. Шурка принимал все без смущения: он знал, что делается это не для него. Понимала все и бабушка и часто называла Нюрку доченькой, привечала ее, как могла, заласкивала. Не очень-то она верила, что Нюрка, деревенская простая девушка, может стать подходящей парой для ее любимого Пашуты, но ведь девушка-то хорошая, работящая, как ее обидишь!

А теперь и бабушке было не до ласковых слов, письмо от Павла надолго расстроило ее и заставило думать, а думать бабушка не привыкла, она больше сердцем чувствовала, что хорошо, что плохо, что справедливо на земле, что нет.

— Что нам делать? Ничего нам не надо делать,— ответила она Молчунье.

Девушка быстро взглянула на Шурку, словно от него надеялась узнать, что случилось, почему бабушка не такая, как всегда.

Шурка не взглянул на нее.

— Может, тебе самой что надо? — спросила бабушка.— Не зря ведь пришла.

— Нет, я так.

— Узнать, поди, чего хочешь?

— Нет. Просто, дай, думаю, зайду.

— Письмо от него пришло,— жестко сказала вдруг бабушка.

— Ой! — вскрикнула девушка.

— Вот тебе и ой!

Нюрка вскочила с лавки и выбежала на улицу. И даже дверью на этот раз хлопнула.

— Видишь, до чего дошла девка. А у него — Ва-ле-ри-я!

В избе стало совсем темно, темней, чем было за окнами, на улице. Бабка сняла висячую лампу вместе с кругом, покачала ее, придерживая стекло, и, убедившись, что керосину мало, поставила на стол, сняла стекло, достала из-под лавки на кухне черную литровку и добавила из нее керосину в лампу. Резкий запах керосина разнесся по всей избе. Бабка убрала бутылку под лавку, зажгла лампу и опять повесила ее над столом. Теперь пахнуло жженой спичкой. Лампа разгоралась медленно: сначала обозначился светлый круг на потолке и темный на столе прямо под лампой, затем свет усилился и озарил весь стол, и лавки вокруг него, и табуретку, и две иконки в сутном углу, потом прояснилось и в остальных углах, опять стали видны кринки, горшки, подойница, и медный умывальник с рожком около входа, и березовая метла у порога.

В конце деревни сначала негромко, как бы прощупывая настроение молодых парней, подала голосок извечная гармошка, и Шурка встал и надел на голову кепку.

— Я пойду! — сказал он.

— Иди с богом,— согласилась бабушка,— иди погуляй. Когда придешь, в печке молоко не забудь. Лампу я потушу.— И она стала готовиться ко сну.

* * *

Нюрка вынырнула из темноты бесшумно и неожиданно, как лучик света. Шурка даже вздрогнул.

— Ой! — вскрикнула Нюрка только для того, чтобы что-нибудь сказать.

— Ты что? — спросил Шурка.

— Я ничего, так.

— На угор пойдешь?

— Не пойду. Я тебя ждала.

— Вот я. Пойдем.

— Не пойду.

— А чего тебе?

Девушка немного помедлила и вдруг тяжело повисла у него на руке, совершенно измученная, усталая, и зашептала торопливо, отрешенно, словно в воду кидаясь:

— Ой, Шура, Шурочка, скажи что-нибудь. Хоть что-нибудь!..

— Что я тебе скажу?

— Хоть что-нибудь. Что за письмо от Паши?

— А хочешь, я тебе все скажу?

— Все скажи, Шурочка, родненький мой!

— Тебя как зовут в деревне — Нюрка, Анюшка, Анюха? Да еще Молчунья. А тут Ва-ле-рия, понимаешь?

— Какая Валерия?

— А вот такая! Ты одна дочь у своих родителей? Не одна. А тут одна. А приданое у тебя есть? Корова, поросенок, дом свой есть? Нет ничего, все — на всех. А тут одна дочь, и корова, и поросенок, и дом, и родители скоро помрут — все ей достанется одной. И — Ва-ле-ри-я! Понимаешь? Ва-ле-ри-я! Я тебе все скажу: женился Пашка. И денег на обзаведение просит. Пожалейте, говорит, сироту. Все я тебе сказал?

Нюрка передохнула.

— Все, Шура! А как я-то теперь? Как? Куда я теперь, Шура? — И она еще тяжелее повисла на его руке, припала к нему, как маленькая девочка.

— Э, что он понимает! — зло сказал Шурка и по-взрослому стал гладить Нюркины волосы, мокрые щеки, вздрагивающие плечи.— И за что ты его, девонька, полюбила такого?! Ладно, не раскисай!

На угор они не пошли. Горе было обоюдным, и его не хотелось нести на люди.

* * *

Бабушка в душе почему-то все еще не верила, что Пашута ее взаправду женился, и когда он вошел в избу, она первым делом спросила:

— Один?

— Один. С кем еще?

— А о какой жене писал? Жены нет?

— Жена есть.

— Так хоть привез бы, псказал, какую облюбовал да выбрал.

— Еще приедет. Недосуг было. Мы к тебе в гости все приедем.

— Вот-вот, всех и надо.

— Здравствуй, бабушка! Здравствуй, Шурка!— И Павел поздоровался за руку и с бабушкой и с братом.

Стояла осень, дороги всюду были непролазные, даже в самой деревне от дома к дому перебирались не по зем-

ле, а по изгородям, по жердочкам либо прыгали вдоль заборов да палисадников с камушка на камушек, с бугорка на бугорок.

На Павле топорщился дорожный брезентовый макинтош, в каких осенью разъезжают по колхозам районные уполномоченные; кожаные, с высокими голенищами сапоги казались тоже брезентовыми — таким плотным слоем покрыла их подсохшая грязь. Кепка на Павле была кожаная, в деревнях такие кепки даже шоферы раздобыть не могут. Портфеля у него не было, но все равно и без портфеля Павел так походил на районного ответственного товарища, что бабушка умилилась и сразу забыла обо всех своих обидах и горестях. Нет, что там ни говори, а не зря, видно, Пашута учился! Вот уже и рот больше не открывает, отучили, должно, возмужал парень. Рабочий он або кто другой, столяр, або слесарь, або еще кто, все равно городской житель. Даже если он простой кузнец покамест, так ведь и кузнец не деревенский, не у горна, не с кувалдой какой-нибудь стоит. Начать — главное дело, а там пойдет. Только бы на виду быть. А он, должно, теперь на виду. Вишь, какой стал сам по себе заметный да самостоятельный. Шурка что? Шурке, знамо дело, неловко, что не поучился, обижается на всех, злобится. А Пашута — вот он весь тут.

— На подводе, поди-ко, приехал али на машине або как? — захлопотала бабушка вокруг Павла.

— На подводе,— ответил Павел.

— На казенной али на какой?

— На попутной.

— Не озяб ли, Пашута, не продрог ли? Плащ-то сюда давай, я его вычищу да высушу. Ноги-то не мокрые ли? Сапожки снимай сразу, я их помою да на печке подсушу.

— На печку сапоги нельзя, кожа портится. А вымыть можно,— сказал Павел, снимая с себя все и отряхиваясь и одергивая пиджак и рубашку. Сапоги он поставил к умывальнику, а на ноги надел старые бабушкины валенки.

— Чайку, наверно, тебе, Пашута,— егозилась бабушка,— с дороги-то погреешься. Ох, и осень нынче, ох, и погода! Никогда раньше такого климату не было, все пошло наперекос. Так поставить самоварчик-то?

— Озяб я, бабушка, водочки бы стаканчик! — вдруг сказал Павел, сказал и не засмеялся.

— О, господи! — опешила бабушка.— Да шутишь ты, что ли?

— Озяб я, не заболеть бы.

Бабушка посмотрела на серьезное Пашутино лицо, подумала и согласилась:

— Водочка, она, верно, помогает, ничего не скажешь. Раньше я тоже, бывало, как закашляю, так выпью лафетничек да протру поясницу — и ничего, вся хвороба перегорит. Водочка — это верно! Только вот при Шуре как-то опасаться стала. Паренек-то еще не вызрел: думаю, не дай господи, если начнет раньше времени потреблять, а я виновата буду. Нет у меня водочки, Пашута.

— Ну нет так нет. Тогда чаю!

Шурка встал и вышел из избы, в сенях он загремел ведрами — отправился на колодец за водой для самовара.

Павел вынес из-под полатей свой чемоданчик, положил на лавку поближе к столу и открыл.

— Моя Валерия вам подарки послала, бабушка,— и тебе и Шурке. Кланяться велела! — говорил он, выкладывая на стол несколько белых хлебцев домашнего печения, кулек с фруктовыми подушечками, слипшимися в сплошной комок, с проступившей кое-где патокой, кулек мятных пряников, пачку чаю в двадцать пять граммов, стопку ученических тетрадок — видимо, из тех, что сам не успел исписать,— да два школьных карандаша. А напоследок достал снизу, из-под газетной прокладки, кремовый полушерстяной платок с ярким, вышитым гладью крупным цветком во весь уголок — для бабушки да штапельный белый шарфик — для брата.

— Вот! — сказал он, сам любуясь привезенными подарками.— Как в магазине.

Бабушка особенно обрадовалась сластям и чаю.

— Спасибо, вот уж спасибо! — то и дело повторяла она.— Вот уж знала, что послать. Ты думаешь, у нас чай? Разве по таким дорогам чай возят? Мы малиновый да клубничный пьем, в плитках.

За полушалок тоже благодарила, только примерять не стала, постеснялась.

— Куда мне, старухе, такой яркий? Не по роже кожа. Его бы Нюрке Молчунье подарил, девка то и дело о тебе спрашивала, полагалась на тебя. А нам сколько добра сделала — и не сказать!

Павел на это ничего не ответил. А когда вошел с ведром воды Шурка, он взял белый мягкий шарфик, встряхнул его, как заячью шкурку, и накинул на шею брата.

— Вот это тебе. От Валерии от моей.

— Спасибо! — поблагодарил Шурка.

— Торопился я очень со сборами, а то бы она больше послала всего. Она у меня такая! — хвалился Павел.

Анисья снова начала благодарить и Павла, и его жену.

— Да уж видно, что она такая! Уж знала, что послать, чем нас потешить. Как же ты такую бабу себе отхватил, городская ведь она?

— Городская, бабушка.

— Чем же ты взял ее, приворожил чем?

— Да ведь и я теперь не деревенский.

— А все-таки? Городские, ведь они гордые. А ты еще не совсем, поди, обтерся або совсем?

— Она у меня умная, бабушка. Она меня сразу увидела: «Ты, говорит, человек с будущим!» — продолжал хвалиться Павел.— Это мы с ней вместе на курорте были.

— Неужто и она по курортам ездит? — ахнула Анисья.— Скудается она чем або что?

— Да нет, здоровая. На курорты и здоровые ездят, отдыхают.

— Ой, паре! — охает Анисья.— Хоть бы Шурку этак-то послали куда-нибудь.

Павел удивился.

— А зачем ему это? И за что его? Он в деревне живет...

— И то верно,— согласилась бабушка.— Не за что. Да и не попросится он никогда. А старая она или молодая, жена-то, что по курортам ездит?

— Она, бабушка, одна у отца с матерью. И батька ее смолоду на курорты посылал. Вот и встретились.

— Ну, дай тебе бог! Добрая, видно: ишь, какой шарфик послала.

— Это для зимы или для лета? — спросил Шурка про шарфик.

— На всю жизнь хватит — и для лета и для зимы. На беседки будешь в нем ходить.

— Я же не всю жизнь буду на беседки ходить.

— Походишь еще.

— Ладно, спасибо. А тетради для чего? Бабушка неграмотная, мне учиться уже поздно.— Казалось, брат был недоволен подарками.

— Тетради для писем. Чтобы мне писал. Почему не ответил на письмо? — с упреком спросил Павел.

— Не знали мы, что ответить,— буркнул Шурка. Он был мрачен.

Бабушка убрала со стола все, кроме конфет, пряников и чаю, залила воду в самовар, опустила в трубу горящую лучину и угли и вернулась к столу.

— Ты уж прости, что не ответили,— вмешалась она в разговор.— Это я виновата.

— Тебе ведь не письмо нужно было,— мрачно заметил Шурка.

— А что мне нужно?

— Сам знаешь.

— А ты думаешь, если я женился, так уж больше ничего мне и не нужно? Все тебе одному? Ты думаешь, легко на ноги становиться?

— Ничего я не думаю. Только других с ног не сбивай.

— Я свое требую.

Шурка заморгал глазами.

— Ты требуешь? Нам показалось, что ты просишь. Чего ты требуешь?

— Того и требую!

— Ну говори, говори!

— Ладно, успеем еще, поговорим.

— Да уж говори сразу, чего тут.

— Ладно.

Похоже было, что братья начали горячиться, и бабушка встревожилась:

— Вы что, родненькие, о чем вы, родненькие! Ну-ка не сходите с ума, помолчите. Вот сейчас самоварчик спроворю, вот сейчас на стол его.

А Павел удивлялся, как это младший брат может в чем-то не соглашаться с ним.

Когда самовар закипел, бабушка хотела сама подать его, но Шурка вскочил с лавки, крупно шагнул в кухню, не грубо, но решительно отвел локтем ее руки, сдунул с крышки самовара угольную пыль и легко перенес его на стол. Пар столбом ударил в висячую лампу, стекло которой мгновенно запотело. Бабушка заметила это и ис-

пуганно передвинула самовар вместе с подносом чуть в сторону. В медных начищенных боках его, искаженно отразивших светлые прямоугольники окон, сахарницу с карамельками и стаканы на блюдцах, теперь не прекращалось движение. Вот бабушка уселась на табуретку перед краном, заварила чай из пачки, привезенной Павлом, и поставила белый с синими горошинками чайник на конфорку — руки ее мелькали в выпуклой медной глубине, то уменьшаясь, то увеличиваясь до чудовищной уродливости; вот Павел залез за стол, придвинул к себе чашку, еще пустую, и взял в рот из сахарницы пузатенькую карамельку с выдавленной липкой патокой — в отражении рот его разверзся до нелепых размеров и быстро захлопнулся; с другой стороны стола к самовару придвинулся Шурка, голова его была опущена, и в медном зеркале отразились не лицо, не руки, а темя да затылок, и длинные, как девичьи, волосы свесились до самого стола, от конфорки до поддувала.

Анисья разлила чай по стаканам, и все усердно начали дуть на горячий чай, тянуть его с блюдцев, пофыркивая. Бабушка брала поочередно то карамельку, то мятный пряник. Павел брал и то и другое, Шурка ничего не брал и пил чай без сладкого, вприглядку.

— Вот какие у меня мужики выросли! — хвастливо, как бы про себя, говорила старушка, подливая чай то одному, то другому внуку.

Особенно внимательно следила она за стаканом Павла, ей хотелось ухаживать за гостем, но угощать его тем, что сам привез, было как-то неловко, и оставалось одно — разливать чай, пока есть кипяток в самоваре.

Братья теперь могли сойти за одногодков, только у Павлуши лицо было длинное, вытянутое, а у Шурки круглое, словно происходили они от разных родителей.

По середине улицы мимо дома дважды, туда и обратно, прошли девушки. Они громко разговаривали, неестественно громко смеялись и искоса поглядывали на окна, стараясь обратить на себя внимание. В толпе девушек пряталась Нюрка Молчунья, бледная, с возбужденно горящими глазами. На что она надеялась, чего хотела,— просто увидеть Павла и ничего не сказать ему или ска-

зать что-нибудь такое, чтобы сразу надорвать ему всю душу, подкосить его на веки вечные?

Последний раз, проходя под окнами, девушки пропели частушку:

Я березу белую
В розу переделаю.
У милого моего
Разрыв сердца сделаю!

И скрылись.

Разомлев от крепкого чая, Павел чуть отодвинул от себя самовар, труба которого опять оказалась как раз под лампой. Через какую-то минуту ламповое стекло в струе пара щелкнуло, и его опоясала светлая трещинка, будто полоска блестящей фольги.

Бабушка охнула так, словно кто ее кулаком в живот ударил: стекол больше не было ни в доме, ни в магазине,— но промолчала.

Шурка тоже промолчал, лишь двинул самовар на прежнее место.

* * *

В сенях залаяла собака, и в избу, не стучась, вошел председатель колхоза Прокофий Кузьмич. Павел поднялся из-за стола, навстречу ему. При этом он отметил про себя, что на заводе директор, входя в рабочую квартиру, обязательно постучится и спросит разрешения: в цехе он — хозяин, в квартире рабочего — гость, не больше, а Прокофий Кузьмич входит в избу колхозника, в любую, как в контору правления, по-хозяйски. Раньше такие мысли Павлу в голову не приходили.

Настроение у председателя было веселое.

— Почему не докладывают? Гость появился, а я узнаю о том в последнюю очередь,— заговорил он еще от порога и, не останавливаясь, прошел вперед, подал руку Павлу и сел к столу.

— Проходи, Прокопий, садись чай пить с гостинцами! — с запозданием, но дружелюбно пригласила его бабушка.

Председатель за столом снял кепку и отряхнул ее от сырости.

— Можно и чаю, хотя его, как говорится, много не выпьешь,— засмеялся он.

В последнее время Прокофий Кузьмич не стеснялся заходить то в один дом, то в другой, когда ему хотелось выпить, и колхозники потворствовали этой его слабости, добывали водку, рассчитывая, в свою очередь, на разные поблажки с его стороны.

Анисья оделась и молча вышла из избы.

— Ну здравствуй, Павел! — сказал Прокофий Кузьмич, подняв глаза на Павла, словно только что заметил его, и сразу поправился: — Здравствуй, Павел Иванович! С приездом, брат! Давно тебя ждем. Исчез, голоса не подаешь — в чем дело? Я уж о тебе плохо стал думать.

— Что вы, Прокофий Кузьмич, зачем плохо думать? — ответил Павел.— Вот я приехал.

— Вижу, приехал. Давай рассказывай!

Павлу польстило, что председатель колхоза назвал его по имени и отчеству, и, выпрямившись, он искоса, с некоторым торжеством взглянул на младшего брата. Брат сидел, опустив голову.

— Да что ж рассказывать?

— Как что? С чем приехал, какой багаж за спиной? Ты же меня понимать должен. Может, с ревизией уже ко мне или с руководящими указаниями прибыл?

— Рано еще, Прокофий Кузьмич.

— Не допер?

Павел промолчал.

— Говори, говори,— настаивал Прокофий Кузьмич.— Кто ты сейчас, кем служишь?

— Училище я окончил, Прокофий Кузьмич.

— Так. Дальше!

— Техникой владею.

— Дальше.

— Что ж дальше, Прокофий Кузьмич?

— Говори, говори!

— Что ж говорить-то, Прокофий Кузьмич? — Павел либо оттягивал разговор, либо и верно не понимал, о чем его спрашивает председатель.

— А ты не тяни. Ишь, как отмалчиваться научился! — засмеялся Прокофий Кузьмич. Смех был веселый, добродушный, и настороженность Павла постепенно исчезала.— Ты же меня понимать должен! — повторил Прокофий Кузьмич.

— Да я понимаю вас.

— Ну, дальше что?

— Времена меняются, Прокофий Кузьмич.

— Так, значит, времена меняются? Вишь ты, черт!— опять засмеялся председатель.— Ну, тогда наливай хоть чайку, что ли.

Павел поспешно пересел к самовару на бабушкино место, налил стакан крепкого чаю, подвинул его председателю, подвинул и мятные пряники, и карамельки.

— В партию вступил? Или в комсомол? — снова начал спрашивать его Прокофий Кузьмич.— Это надо, брат! Да говори ты хоть что-нибудь.

Павел не успел ответить, вернулась Анисья. Она принесла от соседей поллитровку водки. Прокофий Кузьмич, сделав удивленное лицо, встретил ее прибаутками:

— Ох, и догадлива старуха! Дружку — стакан, от дружка — карман. А я-то думаю, куда она скрылась-удалилась? Ох, и научилась бабка с начальством ладить. Далеко пойдешь! А то чай да чай!..

Павел освободил бабушке стул, она села к самоварному крану, выбила картонную пробку из бутылки, слегка ударив в ее дно своей костлявой ладошкой, разлила водку по трем стаканам, а остаток выплеснула себе в чай.

— Ловко ты пробки выколачиваешь! — засмеялся председатель.

— Ладно уж, выпейте лучше, будет вам зубы-то скалить! — сказала Анисья, довольная, что вернулась не с пустыми руками.

— А что — зубы скалить? С начальством, говорю, умеешь жить в мире. Вот сейчас у тебя свой начальник в доме, теперь Павлу Ивановичу угождай, держись Павла Ивановича, с ним далеко пойдешь.

Всерьез говорил председатель или шутил, только Анисья ответила ему всерьез:

— Дальше могилы мне идти некуда, а уж Павла Ивановича я никогда не обижала и не обижу. Это уж верное слово! Выпейте на здоровье!

Выпили все. Выпил и Шурка. Павел пил свободно, не морщась, даже с заметным удовольствием,— видно, водка стала для него привычной. Прокофий Кузьмич посмотрел на стакан к свету, сказал: «Опохмелимся!» — мелкими глотками вытянул его до половины и закусил мятным пряником. Анисья вылила свой пуншик на блюдце и, подняв на растопыренных пальцах, пила, как чай.

— Вот так-то оно лучше, а то чай да чай,— снова похвалил ее Прокофий Кузьмич.— Правильно, Анисья, внука своего встречаешь. Так и надо, чтоб не обижался. Он теперь знаешь кем у тебя будет? Не знаешь? Так я тебе скажу. Сказать ей, Павел Иванович? — обратился он к Павлу и опять весело и хитровато засмеялся.

Шурка поднял голову, Павел насторожился.

— Я же его к себе в заместители прочил, смену себе в нем видел. Сам стар, песочек уже,— ха-ха! — на покой пора. А он — вот он, своя кадра, и техникой владеет... Как, Павел Иванович? Поживешь, поосмотришься, попривыкнешь к делу — и с богом! Ха-ха! Как, Павел Иванович?

— Спаси Христос, неужто правда это, Пашута? — охнула Анисья, не зная, чему верить, чему нет.

— Это еще как народ пожелает, Прокофий Кузьмич,— сказал Шурка.— Как мы пожелаем...

— Ты помолчи, зелен еще и неучен! — прикрикнул на него председатель.— Это как мы с Павлом Ивановичем пожелаем. Верно, Павел Иванович?

Павел смотрел на председателя во все глаза и ничего не говорил.

— Неужто обманул, сукин сын? — вдруг спросил его председатель и засмеялся.— Я так и знал, что обманешь. Обманул, Павел Иванович, да?

— В стаканах-то у вас еще водка есть,— встрепенулась Анисья.— Выпейте остаточки, оно веселее будет.

— Да нам и так весело! — Прокофий Кузьмич засмеялся еще громче. А потом начал журить бабку: — Ох, Анисья, Анисья, совсем ты меня не боишься! Споить, наверно, хочешь? Да разве трех мужиков одной поллитровкой споишь? По ведру на человека надо!

Анисья понимала, что председатель шутит, и сам Прокофий Кузьмич хотел, чтобы эти слова его понимали как шутку, но, кажется, не стал бы возражать, если бы на столе появилась и еще бутылочка. По тому, как быстро он пьянел, Анисья догадывалась, что председатель пришел к ним уже навеселе.

Выпили остаточки, и Прокофий Кузьмич сказал:

— Не пить я к вам пришел. Пришел я, чтобы на Павла взглянуть, каким он теперь стал. Ведь когда-то я тебя в ученье отвез, помнишь, Павел Иванович? И вот

не ошибся! А разве я о себе хлопотал? Нет, не о себе. О колхозе я хлопотал. Неужели ж обманул? — еще раз спросил он Павла. И сам же ответил снова: — Конечно, обманул! Тогда давайте выпьем еще. Э, да у вас уже ничего нет. Обижаешь ты, Анисья, Павла своего, плохо тебе будет.

— Когда это я его обижала? — возразила старушка, просто чтобы поддержать разговор.

— А помнишь, как ты его чуть до смерти не запарила в пивоваренном чане? В душегубке этой?

Павел обрадовался перемене разговора, с удовольствием поддержал новую шутку председателя:

— Верно, бабушка, ты же меня, как белье, бучила. Если бы не санаторий, мне бы тогда нипочем не выжить. Щелок ты подо мной кипятила или воду?

— Водку надо было кипятить! — смеялся председатель.

— В чане градусов было побольше, Прокофий Кузьмич! Я тогда, можно сказать, на том свете побывал! — засмеялся и Павел.

Анисья почувствовала в этом веселье что-то обидное для себя. Она поставила недопитое блюдце на стол, вытерла губы и с упреком промолвила:

— Я тебе, Паша, худа не желала. А если бы умирать пришло время, так и санаторий бы не помог.

Но Павел и Прокофий Кузьмич продолжали смеяться.

— А все-таки щелок был или вода? Чем ты меня пользовала? — допытывался Павел.

Они смеялись, пока не довели старуху до слез. Анисья подняла фартук к лицу и захлюпала. Шурка тяжело засопел. Казалось, он вот-вот взорвется. Тогда Прокофий Кузьмич вернулся к старому разговору с Павлом.

— Кто же ты сейчас, Павел, рабочий или уже мастер? Рабочий тоже, конечно, дело великое. Но ты мне вот что скажи, как на духу: вернешься в свой колхоз или не вернешься? Прямо скажи! Я, конечно, не верю, что вернешься. У нас такого случая еще не было, а все-таки вдруг вернешься? Ученых людей у нас, понимаешь, мало.

— Я пока не думал об этом, Прокофий Кузьмич!

— Не думал. И думать не будешь. Я уж знаю. Везде возвращаются, только у нас не возвращаются, все в ин-

дустриализацию идут. А мы давай так дело поведем: пускай не возвращаются! Для колхоза это не хуже. Понимаешь, что нам надо? Нам надо, чтобы в каждом городе у нас были свои люди, земляки. Вот наша установка на сегодняшний день!

Анисья, довольная, что ее больше не затрагивают, снова начала разливать чай в стаканы.

— Только земляки колхозу помочь могут,— продолжал Прокофий Кузьмич.— Они обеспечат нас всем, и мы выйдем из прорыва. Мы отстающие, пусть! Но отстающим помогать должны, нас вызволять из беды надо. Недоимки есть? Списать. Ссуду? Выдать! С уборкой не справляемся — горожан на недельку в колхоз. Вот где главное звено на сегодняшний день. Теперь, Павел Иванович, к тебе дело: мы тебя выдвинули, так смотри, не забывай своих при случае. Будь на посту! — Захмелевший председатель поощряюще хлопнул его по плечу.— А может, вернешься? Ты вот что запомни: если захотим, силой вернем. Думаешь, я в деревню добровольно приехал?

— Не вернется он! — вставила свое слово Анисья. Кипятку в самоваре больше не осталось, и она, повернув стакан кверху дном, отодвинула его от себя.— Как же он вернется, коли женился?

Самовар уже не парил, только иногда в трубе еще попискивало. Прокофий Кузьмич тоже отставил свой стакан.

— Кого взял?

— Валерию! — ответила бабушка.

— Чья это?

— Спроси его.

— Чужая, значит? — притворно обиделся председатель.— Разве у нас своих невест мало? Нам своих невест девать некуда, а ты — Валерию. Измена это, братец ты мой, предательство.

— Я, Прокофий Кузьмич, своему колхозу никогда не изменю,— запальчиво стал уверять его тоже опьяневший Павел.— Я принимаю все ваши указания и буду на посту. Я сейчас на складе инструменты выдаю. Я свое еще возьму. Я далеко пойду! Вот только и вы меня поддержите на первых порах. Трудно мне сейчас, женился я, дом надо подновить, а лесу нет. Дали бы вы мне десятка два бревен, за мной не пропадет, отблагодарю.

Председатель не то задумался, не то задремал.

— Помните, как я достал для вас запчасти,—продолжал Павел.— Сейчас я больше могу. За мной не пропадет. Выручите, Прокофий Кузьмич!

— Да разве я когда-нибудь своих людей оставлял в беде? — оживился председатель, видимо приняв какое-то решение.— Я своих людей никогда в беде не бросал. Только ведь осень, как же ты по таким дорогам увезешь строевой лес? Перевозка дороже будет стоить.

— Об этом вы не затрудняйтесь, Прокофий Кузьмич. Своя ноша не тянет. Мне тесть обещал достать машину на несколько рейсов, ему по службе устроят. Деньги тоже нужны, но в этом я надеюсь вот на бабушку да на брата, на Шурика. Они меня выручат.

Прокофий Кузьмич опять задумался. Порожний самовар пискнул в последний раз и затих. Тогда заговорил Шурка.

— Нет у нас денег! — сказал он, словно кулаком по столу ударил.— Не выручим!

Павел опешил, но за него заступилась бабушка. Она почувствовала, что назревает ссора, и заранее решилась не допускать ее, чего бы это ни стоило.

— Что ты, Шурик, говоришь? Как же мы его не выручим, мыслимое ли это дело? — накинулась она на Шурку. А старшего внука стала успокаивать: — И не сомневайся, Пашута, все сделаем, и поросенка продадим, и Прокопий, председатель, вот поможет нам.

«Только б не это, только бы не наперекос,— думала она между тем.— Упаси господи их от несогласья. Всю жизнь им отдала, отца с матерью заменила, вынянчила, вырастила, а теперь, того гляди... мыслимо ли это!»

— Не выручим! — крикнул еще решительнее Шурка.

Руки у старушки задрожали, и губы, бледные и тонкие, задрожали, и не знала она, что говорить ей и что делать — встать ли из-за стола и начать убирать посуду, или остаться на месте, или кинуться к обоим на шею, гладить их по головам да целовать поочередно.

— Не продадим поросенка! — упрямо заявил Шурка.— У него свой поросенок есть. И председатель ему не поможет!

— Ну уж за себя-то я сам все вопросы решаю,— весело сказал Прокофий Кузьмич.— Ты, братец, это брось, молод еще!

Шурка впервые прямо и строго посмотрел в его глаза и ответил спокойно, без крика:

— Не брошу! Работать нужно — так я не молод, а дела решать — молод.

А Павел, почувствовав, что на его стороне и бабушка и председатель, а стало быть, и правда на его стороне, решил отстаивать свои законные права твердо. К тому же по голосу, по повадке Шурки он сейчас понял, что брат уже стал взрослым, значит, н разговаривать с ним можно как со взрослым. Да и водка горячила Павла.

— До моего поросенка тебе дела нет. А долю мою отдай! — привстал он за столом.

— Какую долю? — удивился Шурка и уставился на Павла наивно и добродушно. Он снова перестал понимать своего брата.— Какую долю? Чего ты орешь?

— Такую долю! Ты не один в доме, нас двое. Отцовское добро для обоих одинаково. Я от своей доли не отказывался, я не пасынок у своих родителей.

Шурка все еще не понимал брата, но то, что Павел в который раз исключает из разговора, из каких-то своих расчетов, бабушку, словно ее нет в живых, это он понял сразу и возмутился.

— Нас двое, нас двое! А про бабушку забыл? Забыл, кто тебя выходил?

— Бабушка бабушкой, а ты мою долю отдай!

— Какую долю? — опять удивился Шурка.

— Господи, он же делиться хочет! — вдруг догадалась и ужаснулась бабушка.— Он же дом разорить хочет! Кто это тебя надоумил, Пашка? Мыслимое ли дело — отцовское гнездо разорять? Выродок ты эдакой!

Семейные дележи в колхозе ныне явление редкое. Шурке ни разу не приходилось наблюдать их, потому он так долго и не понимал, куда клонит брат, но когда понял, возмутился еще больше. Ему показалось странным, даже кощунственным, что дом, в котором он родился и вырос, в котором жили его отец и мать, а ныне живет его бабушка, нужно как-то делить, что он не вечен. Разве родину делят?

А старый председатель ничему не удивился, он все принял как должное. Веселое настроение снова захватило его.

— Делиться — это законное дело,— сказал он.— Ко-

нечно, и бабушку надо делить пополам. Делиться придется, раз Павел не хочет жить дома. С колхозом ему делить нечего, он в колхозе ничего не забыл. А с братом — законно. И бабушку разделить. Как ты, Анисья, полагаешь?

— О, господи! Думала ли я, что доживу до этакого!— вопила бабушка.

— Я делиться не собираюсь! — заявил Шурка.

— Придется! — торжествовал Павел.— Делиться — законное дело!

— Тогда делись сам, делись один, я тебе не помеха. Бери что хочешь. Все бери! Мы с бабушкой проживем без тебя, как жили и до этого. Новый дом выстроим.

Бабушка уже не плакала, а рыдала и больше не закрывалась фартуком.

Прокофий Кузьмич заметил, что разговор становится нешуточным, и решил сразу успокоить всех.

— Делиться вам, братцы мои, нельзя. Незаконное это дело: Шурке еще нет совершенных лет. А бабка престарелая сверх нормы — стало быть, тоже несовершенные года. Суд не возьмется делить. Ждать придется.

— О, господи! — рыдала Анисья.

А Шурка стал утешать ее, уже не слушая ни Павла, ни Прокофия Кузьмича:

— Ничего не бойся, бабушка, и ждать ничего не придется. Пускай делится, никакого суда не будет, не бойся. Буржуи мы, что ли, какие, чтобы по судам ходить. Ты на меня положись, я тебе новую избу выстрою. Пускай все берет — скорей подавится.

* * *

Может быть, на этом бы ссора и закончилась, если бы старуха после того, как председатель ушел домой, не начала снова упрекать братьев и уговаривать их помириться. Ребята долго отмалчивались, а она распалялась все больше и больше. Что бы ей остановиться вовремя! Что бы ей, уставшей вконец, трясущейся, забраться на горячую печку, да прикрыться овчинным полушубком, да пожелать внукам, как раньше бывало: «Спите спокойно, ребятки!»

Нет, не могла вовремя угомониться старая.

Обоих внуков она любила, обоих будто под сердцем своим выносила; и казалось, бог не простит ей, если не придут они сейчас же, немедля же, к миру, к послушанию.

И довела она ребят до драки.

Только подрались они не из-за имущества, а из-за Нюрки Молчуньи.

Случилось это так. Долго возилась бабушка с посудой на кухне, мыла стаканы, да ложки, да плошки, оставшиеся немытыми еще от обеда, долго, постанывая, бродила из угла в угол и все думала, как бы ей пронять неслухов, пристыдить их, усовестить, и так и этак пробовала заговорить с ними: и разжалобить-то пыталась, и обещаниями всякими задабривала — все молчали внуки.

Обращалась к младшему:

— Помоложе ведь ты, Шуренька, тебе бы и смиренья побольше надо. Не возносись перед старшим, уваженье к нему имей, не каждое лыко в строку ставь, не на каждое слово ответ держи, в твоем возрасте и промолчать иногда не грех. Это и мать перед смертью тебе наказывала.

Но Шурка не поднимал глаз.

Тогда обращалась бабушка к старшему внуку:

— Ты — большак, ты — главный в доме, и учился, разуму тебе добавили, как же можешь ты поступать не по справедливости, обижать слабых?

Но и Павел молчал не по-доброму, не отступал, не смирялся.

Тогда бабка решила разжалобить его:

— На кого же ты меня, Пашута, покидаешь? Хоть бы умереть дал спокойно. Нюрку покинул и меня покидаешь, старую.

Павел ответил угрюмо, устало:

— Я Нюрке ничего не сулил и голову ей не морочил.

— Знал бы ты, как она тебя ждала, полагалась на тебя...

— Я ей хомут на шею не надевал! — еще мрачнее сказал Павел.

— Прибежит, бывало, то сделает, другое сделает, сама молчит, а в руках у нее так и горит все — на любую работу спорая. Ради тебя все старалась, не раз из беды нас вытягивала. Душа у нее, у девочки, добрая, жалко мне ее...

— С доброй душой всю жизнь носом землю рыть будет! — как приговор, произнес Павел.

Но бабушка, словно не слышала его возражений, продолжала расхваливать Нюрку:

— Такую девушку поискать нынче, хороший она человек. Справедливый человек, правильный!. А уж как брату твоему услужить старалась — все ради тебя. Вон рубашка на нем — это она сшила, и вышивка — ее рук дело.

Павел пристально и нелюдимо посмотрел на Шурку.

— Скоро замену нашла!..

Тогда-то и вскочил Шурка с лавки, вскочил, как выпрямился,— резкий, злой, глаза горят, кулаки круглые.

Павел отступил, испугался.

И опять, может быть, на этом бы все и кончилось и Шурка не ударил бы Павла, если бы не увидел вдруг, как тот противно побелел, струсил, но Шурка увидел это и уже не мог не ударить его, просто от одного отвращения. И он ударил его по лицу — раз, и два, и три... Бил его и приговаривал:

— У, гнида! Сирота казанская!.. Иждивенец!

Бил, пока Павел Иванович не заревел в голос.

* * *

Утром бабушка не смогла слезть с печки.

Мамыкинский дом — это две некрупные избы под одной двухскатной крышей, с общими сенями. Снаружи он походил на пятистенок. Жилой была только одна изба, вторая служила вместо кладовой. В ней семья не обитала и до войны, потому что покойный Мамыкин, отец, не успел закончить отделку стен и потолка.

Эту вторую избу и разобрали по бревнам для Павла, когда недели через две из города от потребкооперации пришел грузовик с прицепом. А чтобы крыша, потерявшая с одной стороны опору, не рухнула, подвели под нее столбы, вроде костылей. Подперли столбами и половину мезонина, которая теперь оказалась на весу. Обкорнанный, обезображенный мамыкинский дом стал напоминать инвалида на костылях; его так и прозвали: «увечный».

— Всю деревню испохабил,— говорили про мамыкинский дом,— никакой красоты из-за него не стало.

Больная бабушка Анисья тяжело переживала раздел хозяйства, и когда разламывали избу и за стеной с грохотом катились бревна по слегам и устрашающе выл грузовик, она вздрагивала и каждый раз пыталась перекреститься, но рука у нее не поднималась. Не могла она и заговорить, не могла ни на что пожаловаться — язык у нее отнялся еще в тот день, когда младший внучек колотил старшего. Лежала она на печи тихая, безропотная, смотрела на всех сверху вниз и, кто знает, может быть, даже ничего не видела, из глаз ее текли мутные печальные слезы. К ней частенько заходили соседки, приносили еду, разные сладости, приезжала фельдшерица из сельсовета, прописала лекарства, заглядывал председатель. По целым дням сидела у бабушки Нюрка Молчунья, топила печь, доила корову, ставила самовар, кормила Анисью кашей с ложечки, поила горячим чаем, пробуя предварительно то и другое, чтобы не обжечь больную. Шурка стеснялся, когда Молчунья в избе была одна, и уходил из дому.

Павел заглядывал в избу не часто, но свободно, как хозяин, выказывал бабушке всяческие знаки внимания и следил, все ли для нее делается. С Шуркой он не разговаривал, только иногда шипел в его присутствии:

— Такую бабушку загубил, каналья, такого человека с ног сбил! — И, обращаясь к ней, спрашивал: — Не хочешь ли, бабушка, покушать чего-нибудь?

Бабушка смотрела на него без всякого выражения на лице, и только мутные струйки слез текли по ее пепельно-серым морщинистым щекам.

Однажды навестил старуху и дед Нюрки, колхозный пасечник Михайло Лексеич. Он принес для нее горшочек меду — тот самый горшочек, который Анисья не раз успешно ставила на пуп самому Михайле Лексеичу. Нюрка очень смутилась, увидев деда, вскочила со стула, намереваясь убежать из избы, но дед сказал ей резко: «Сиди!» — и она осталась.

— Возьми-ка вот и угощай по чайной ложке через час-два, лучше с водой, авось еще и выживет,— приказал он.— А дармоеда, хапугу этого, не подпускай к старухе!

— Что ты, дедушка! — вспыхнула Нюрка.

— Молчи! Делай, что говорят. На то ты и Молчунья.

Бабушка умерла, когда Павел увез на машине

последние бревна от избы. Михайло Лексеич взялся стругать доски, чтобы сколотить гроб, но Шурка захотел все сделать сам.

Хоронили Анисью по-хорошему, был народ, были слезы. Больше всех плакала Нюрка, она словно с молодостью своей прощалась. Простился со старухой и Прокофий Кузьмич. Не было только Павла. Он, должно быть, сразу начал перестраивать городской дом, потому и не успел приехать на похороны.

1961

Рассказы

ВМЕСТЕ С ПРИШВИНЫМ

ПОДАРКИ ПРИШВИНА

Дунинская дача — на крутом склоне горы, который, по всей видимости, был когда-то берегом реки. Спереди — деревня, садики, заливные луга, открытые солнцу дали, а сзади, на высокой гриве — густой темный лес. Заливные солнечные луга и темный ельник это как два мира, два континента. Ходим по сверкающему берегу реки — одни разговоры, ходим по лесу — и разговоры другие. Даже и погода в этих разных местах словно бы всегда разная. Может быть, это преувеличение, но сейчас мне кажется, что среди цветов и трав Михаил Михайлович ходил бодрее, больше улыбался и шутил чаще; во всем его облике и в его словах было больше света.

— Все что нужно человеку, то и цветам нужно,— раздумчиво говорил Михаил Михайлович, когда мы ходили по лугам.— Особенно верно это применительно к цветам домашним, комнатным,— продолжал он свою мысль, когда мы возвращались на дачу. Питание давайте им разное — полезен чай, сок лимона... Я даже водкой их пою... И во всем прочем тоже. Если человек долго не умывается, он запаршивеет. Так и цветок. Без омовения он совсем зачахнуть может. Дождь не только поит, но и умывает. Цветы очень чистоплотны, очень!

На Михаиле Михайловиче просторный полотняный костюм. Почему-то хотелось думать, что полотно это из нашего вологодского льна и выткано на нашей Красавинской фабрике близ Великого Устюга. Злата Константиновна сейчас вспоминает, что, может, всего-то раза два-три видела Михаила Михайловича в этом полотняном костюме, но после, в чем бы он ни появлялся, ей все представлялось, что неизменно на нем широкий, подбитый ветерком светло-серый пиджак и такие же серые брюки. Да и поныне она ни в чем ином не может себе представить Михаила Михайловича. Пришвину полотняный костюм шел, как шла длинная вельветовая рубаха к облику Льва Толстого.

Палка у Михаила Михайловича — складной стульчик. Воткнет он палку в землю — ручка раскроется, и он сидит на этой ручке, как на стуле, отдыхает. Кажется, точно такая же палка была и у старого Льва Николаевича. И к тому же оба они были такие русские.

С годами палка не всегда выручала Пришвина. Он не мог ходить с нами за реку по узкому шаткому мостику-лаве в дальние села, на заречные сенокосы. Но, возвращаясь, мы рассказывали ему о местах, где были, и оказывалось, что он все эти места знал, все помнил и понимал нас с полуслова. И получалось так, будто он был вместе с нами повсюду.

— Там обрыв крутой и две колоднинки через ручеек, у одной сучок застарелый смолевой,— подсказывал он и спрашивал: — Не сгнили ли колодинки?

Или еще:

— Крапива там справа. По-прежнему растет или нет? Вы не обожглись? — и смотрел на босые ноги Златы Константиновны.

По тому, какие цветы мы приносили с собой, Михаил Михайлович узнавал, где мы были.

— С того лужка никто без цветов не возвращается!— радовался он.— А если для цветов не время — несут сосновые ветки либо дудки. Богатые места, веселые...

В хвойном лесу на высокой гриве Михаил Михайлович больше молчал. А может, это мне сейчас так кажется?

Лесом ходили мы чаще по дорогам, а не по тропинкам. По тропинке идти — надо в затылок друг другу и то и дело кланяться, пролезать под деревьями, отгибать тяжело опустившиеся ветви — и света не увидишь. А по дороге можно двигаться всем троим рядом.

Все-таки Михаил Михайлович в лесу был менее разговорчив, чем на реке, на открытых местах. Он внимательно провожал глазами каждую птицу, перелетавшую через дорогу, была ли то ворона, или сойка, или синичка: Казалось, он истосковался по ним.

Однажды Злата Константиновна подарила Михаилу Михайловичу двух птиц. Случилось это так. Впереди нас на деревья уселись ворона и сорока. Сорока-непоседа перепрыгивала с ветки на ветку, а ворона как опустилась на сучок, так ни разу и не передвинулась на нем, только сучок от ее грузной посадки раскачался, и ворона показывалась то в тени, то на солнце да изредка для

равновесия чуть взмахивала хвостом: вверх-вниз, вверх-вниз. Пока ворона раскачивалась на одном и том же суку из света в тень, из света в тень, сорока на своем дереве пять или шесть ветвей переменила.

Злата Константиновна пригляделась к ним и сказала:

— Михаил Михайлович, примите от меня в подарок этих птиц, они не простые.

Пришвин поддержал игру, принял подарок и начал внимательно осматриваться вокруг. Когда мы уже выходили из леса к полю и за бугорком дороги показалась крыша амбара с двумя скрещенными над коньком жердочками, как с усиками, он обрадовался:

— А я вам дарю этого жука! — и указал на выдвигавшуюся из-за холма крышу с усиками, в которой мы, приглядевшись, действительно признали сходство с каким-то большим сказочным жуком.

Неумеренно ликовала Злата Константиновна, и довольно улыбался в усы Михаил Михайлович. Той порой ворона и сорока снялись с деревьев и улетели, а жук стал амбаром. Но подарки уже были сделаны друг другу, поэзия посетила нас.

— А мне? — ревниво взмолился я.— Ну хоть что-нибудь, Михаил Михайлович!

Пришвин подошел к толстой березе с поперечными черточками на коре, словно строчками стихов, разбитыми лесенкой, осмотрел ствол с одной, с другой стороны и сказал:

— Тут записей разных немало. Поэзии на целую книжку хватит. Сколько разберете — все ваше.

Потом выбрал на стволе место почище, огладил его ладошкой,— на землю полетела белая шелуха,— и добавил:

— Вот вам и обложка для книги стихов.

Я вынул перочинный нож.

— Маловато будет для книжки, но, ладно, попробую.

— Уберите нож,— сказал Михаил Михайлович.— Сфотографируйте крупным планом и дайте художнику, все остальное сделает он.

Я понял, но возразил:

— Темно, ничего не выйдет.

— А вы утром приходите, солнце с дороги подсветит...

30 января 1961 г.

ВИЛЫ

Кто собирал грибы, знает: стоит найти хоть один приличный гриб, и уже нет сил оторвать глаз от земли. Идешь по перелеску, по опушке, по лужайке и ничего не видишь, кроме мха, да кочек, да опавших листьев, ничего дальше своего носа. Мало того, и листья-то частенько принимаешь за грибные шляпки. Азартные грибники так привыкают за лето ходить с опущенным взглядом, что и в зимнюю пору, оказавшись в лесу, уже не могут глаз поднять.

А я знаю еще таких, что как тронутые ходят по асфальтовым шоссе и все чего-то ищут, что-то подбирают. Чаще всего это автомобилисты-любители, собирающие на трактах всевозможные гайки, болтики, все нужное и ненужное: авось в хозяйстве пригодится.

Но есть люди, что смотрят в лесу не под ноги, а в небо.

Деревня не может обойтись без вил. Раньше они были нужны каждому хозяину — на сенокосах, на гумне, на скотном дворе. Нужны не меньше и теперь. Какие бы хитроумные стогометатели мы ни изобрели, и даже если они будут работать безотказно, вилы все равно необходимы и в колхозах. А вилы эти березовые, металлическими их не заменишь, и растут они в березовых рощах. И надо оглядеть сотни, тысячи березовых вершинок в небе, чтобы обнаружить одну трехрогую, а то и четырехрогую, из которой могут получиться настоящие добротные сенные вилы. И чтобы рога эти были не сучьями, а рогами, расходящимися в стороны на одной высоте, из одного основания, и чтобы они были приемлемой толщины, и чтобы черенок тоже был не слишком толст и достаточно длинен.

И вот куда бы мужики ни шли, ни ехали, чем бы ни занимались, а в березовых лесах они задирали к небу головы, вытягивали шеи, прикрывали ладошкой глаза от света, и выпяченные острые мужицкие кадыки торчали, как твердые грибные наросты на березовых стволах.

Не любил крестьянин покупать то, что сам в своем лесу добыть мог. Каждый старался сделать для себя и сани, и дугу, и оглобли для телеги, и вилы. Но не все были удачливы.

Помню я одного мужика, Степу Оганёнка. Был он беден, многодетен, гнедка имел старого, слабого, обла-

давшего разве что четвертью лошадиной силы, и коровенку одну, а вилами мог обеспечить несколько деревень. Степины вилы славились легкостью, прочностью, красотой. Имея всегда большой запас, он отдавал свои вилы по дешевке, поэтому многие предпочитали покупать их у Степы, а не искать в лесу. А Степа по привычке всю жизнь ходил с высоко поднятой головой и даже в деревне часто спотыкался о камни, об изгороди, наступал посреди улицы на поросят и коз. Над ним смеялись, но беззлобно, говорили, что он не от мира сего, рассказывали про него всякие побаски и небывальщины. Однажды он будто бы упал в колодец, и когда его вытаскивали, он, сидя на бадье, разглядел в небе, почти под облаками, вершину березы с отличными четырехрогими вилами, которые можно было обнаружить только из глубокой колодезной трубы. Несмотря на то что береза росла у соседа под окном, ничто уже не смогло ее спасти от топора Степы Оганенка.

Рассказывали еще, что Степа все же уставился как-то и в землю. Было это на росстанях, на развилке трех проселочных дорог. Увидел он развилку и замер и долго стоял пораженный, сосредоточенный на чем-то своем. А когда глубинная работа мысли закончилась, он произнес:

— Дык это ж вилы! Надо же!..

И двинулся дальше, опять вскинув голову к небу.

— Запнешься, Степа! — кричали вдогонку взрослые и ребятишки, когда он шел по деревне, уставясь на облака, и открытый кадык его, казалось, готов был выскочить из дряблой загорелой кожи.

— Что там, Степа? Как там в раю живут? — спрашивали его.

— Ты землю-то хоть видал ли, Степа, какая она?

Об этом мужике я не раз вспоминал, когда думал о Пришвине. Пристальность, с какой вглядывался он в окружающий нас мир, в даль полей и лугов и в лесное многоэтажье, поражала меня.

Земляк мой Степа вряд ли видел в вершинах деревьев что-либо, кроме своих вил. При этом он топтал цветы.

А Пришвин видел и небо, и землю, всю глубину леса с его многонаселенностью, и все луговое многотравье, каждое зернышко в колоске, и каждую тычинку в соцветии, и никогда ни к чему живому не был равнодушен. Многие десятилетия он как одержимый бродил по землематушке от зари до зари то с ружьем, то с записной

книжкой — то вскинув голову к небу, то не отрывая глаз от земли. Он дружил с природой не заискивая, без низкопоклонства, дружил на равных началах, и природа ничего от него не прятала.

Рассказал я Пришвину на прогулке о своем Степе, о том, как он всю свою жизнь в небо смотрел. Михаил Михайлович остановился, вгляделся в меня, задумался, при этом губы его в глубине усов и бороды сделали какое-то чмокающее движение, и заметил:

— Ни земли, ни неба не видел ваш Степа Оганенок. Жалко мне его.

31 января 1961 г.

ПРИШВИНСКИЙ МОСТИК

На крышу дома отдыха нередко садилась ворона. Конечно, ворону от вороны отличить трудно, но когда я понаблюдал, то определил, что летает все одна и та же птица. Потом я обнаружил, что она лазит в кирпичную трубу. По-видимому, труба была вытяжная, вентиляционная, а если и печная, так летом все равно печи не топят.

Утром мы с Михаилом Михайловичем сидели на садовой скамейке, я ждал, когда прилетит ворона, чтобы показать ему, какие чудеса творятся на нашей крыше. Ворона прилетела и, оглядываясь и неторопливо переступая с места на место, осторожно приблизилась к трубе, затем сразу взлетела на нее и резко юркнула вниз.

— Видали? — торжествуя, спросил я, словно все это было делом моих рук.

Пришвин не удивился — как сидел, чуть согнувшись и опираясь обеими руками на самодельную палку, так и остался сидеть, только заметил как бы между прочим:

— У нее там гнездо и три свежих яйца.

— И вы не ошибаетесь?

— Я предполагаю. Время!

— А что, если мне слазить, заглянуть?

— Загляните, если вас это интересует.

Когда я забрался на крышу, Пришвина на скамейке уже не было. В трубе оказалось воронье гнездо, и в нем три яйца. Одно я взял сыну для коллекции. Мне казалось, что Михаил Михайлович осудит меня за этот разбой, но он равнодушно сказал:

— Ничего. Ворона добавит.

Утром мы с женой принесли из лесу в носовом платке несколько ранних грибов (сморчки — фигурные шоколадки). Зашли в комнату Михаила Михайловича, разложили их перед ним на рабочем столе: смотрите! Он надел очки, взял один гриб, повертел его, понюхал, взял другой, понюхал — и сказал:

— Да, снежком пахнут! В следующий раз загляните вон туда, за речку, там на склоне получше наберете,— и показал рукой за окно, куда надо идти следующий раз. Показал и отвернулся от грибов,— казалось, больше они его не интересовали.

Но это нам так казалось, что не интересовали.

Потом Пришвин почмокал губами и встал из-за стола:

— Пойдемте завтракать!

— А что с грибами будем делать? — спросила Злата.

Михаил Михайлович опять неторопливо почмокал губами, словно хотел что-то сказать, но слов подходящих еще не находилось, и потому только равнодушно повторил:

— Пойдемте завтракать!

«Откуда у него это равнодушие? — думал я.— От усталости или оттого, что любопытство, с которым я отношусь ко всему живому в окрестностях дома отдыха, для него лишь детские забавы? От этих мелочей он давно уже ушел — так, что ли? И я в его глазах только начинающий натуралист, школьник, впервые заглядывающий в птичьи гнезда, а он как бы доктор естествознания? Я юнга, а он маршал? Так, что ли?..»

Свежие грибы на кухне поджарили к обеду, и мы поделились закуской с Пришвиными. Михаил Михайлович был доволен несказанно, обстоятельно и подолгу разглядывал каждый кусочек, поддетый на вилку, вдыхал его аромат.

— Да! — говорил он.— Да-а!..

«А, проняло! — думал я.— Проняло! Но когда же он пойдет с нами вместе, как бывало раньше: за речку, в лес, в поля? Когда же хоть заговорит об этом?»

Мы снова и снова бегали за Вертушинку, по мягкой пахоте, по свежей зелени, по молодому брусничнику, в район пионерских лагерей, к Москве-реке, к Рузе-реке. А возвратившись, рассказывали, что где нашли, что видели, что слышали. И каждый раз несли что-нибудь из лесу. Нельзя же побывать в лесу и ничего не принести с собой. Кто-то несет из лесу вязанку дров, кто-то веники бере-

зовые, кто грибы, кто ягоды. Мы приносили либо веточку сосновую, либо горсть цветов, либо прутики черничника или вереска. Хорошо также взять прямо с земли кукушкин лен и пересадить его к себе под окно. Просто шишек разных набрать и то уже интересно.

А если совсем ничего не найдешь и вернешься с пустыми руками, то хорошее настроение обязательно принесешь с собой. Мы возвращались из лесу всегда с хорошим настроением.

Почему же Пришвин так безучастно относится ко всем нашим походам? Уж не завидует ли он?

А Михаил Михайлович тоже уходил куда-то почти ежедневно. Но куда и далеко ли?

Нашли мы как-то в поле, на пустыре, под можжевельником, маленькое теплое гнездышко с четырьмя пестрыми яичками. И птичку видели, и голос ее слышали, а что это за птичка, определить не смогли. Торопимся к Пришвину, несем ему пару яичек. Уж он-то скажет сразу, чье гнездо мы нашли.

Пришвина ни в доме, ни поблизости от него не оказалось. Спрашиваем всех знакомых:

— Не знаете ли, где Михаил Михайлович?

— В лес ушел.

— Как в лес, куда?

— Вот туда, за речку Родинку.

Спешим к речке — а это совсем рядышком — и видим: на берегу бушующей весенним половодьем Родинки стоит Пришвин, с палкой в руке, стоит, голову опустил, не шевелится. Спуск к речке крутой, скользкий, переход через нее есть, да ненадежный: мостик не мостик, два-три горбыля с поручнем, не каждый решится перебираться на другой берег через глубокий овраг. Должно быть, и Пришвин не решился.

Подбегая сзади по узенькой тропиночке, я кричу первые попавшиеся слова:

— Михайло Михайлович! Вот вы где, оказывается!

Обернулся Пришвин на голос, и мы увидели в его глазах тоску, самую настоящую тоску, не пришвинскую. Это были глаза прикованного Прометея. Лес рядом, а не войдешь в него. Рядом — а не переберешься. Лазать по колодинкам да по жердочкам — возраст не позволяет, силы не те. И — тоска в глазах.

— Да, да...— заговорил Михаил Михайлович тихо и не сразу, будто возвращаясь мыслями откуда-то из дале-

ка-далёка.— Я сюда часто хожу. Вот стою, слушаю. Велика ли речушка, а тоже рекой хочет стать. Переход неверный. Мостик был старый, должно быть, подмыло его, снесло.

— Пробовали перейти?

— Пробовал? Да, конечно, пробовал...

И он опять тоскливо посмотрел на противоположный берег, откуда начинался густой хвойный лес, а в лесу таились всякие чудеса, конечно же, неизведанные, потому что каждая новая весна для человека — это новое чудо. Весной любого из нас тянет вдаль, а о Пришвине и говорить нечего. Когда-то Михаил Михайлович в это время обитал уже в своем домике на колесах. И вдруг мутная речушка сносит старый подгнивший мостик и преграждает ему путь к чудесам.

Пришвин! А через речушку не может. Какое уж тут равнодушие...

Конечно же, в глазах его мы увидели тогда тоску смертную. Неужели мы могли ошибиться?

Мостик через Родинку построили новый, высокий, с прочными перилами, со ступенчатым спуском к нему с обеих сторон. Теперь через овраг нетрудно было переходить.

И стал этот мостик привычным местом прогулок для Пришвина. Он приезжал в дом отдыха в разное время года, чуть ли не ежегодно, и любил подолгу стоять на берегах Родинки. Спустится, бывало, на мостик, перегнется через перила, смотрит в глубину рва, прислушивается к журчанию воды, к пению птиц, иногда что-то записывает в блокнотик. Издали можно было принять его за одержимого рыбака, который следит с мостика за неподвижным поплавком. А это — Пришвин!

И стали мы этот мостик называть Пришвинским. Сначала только мы с женой, потом и другие — разные наши знакомые и товарищи, из тех, что бывали здесь вместе с Пришвиным и тоже не раз видали Михаила Михайловича перекинувшимся через деревянные перила, тихого и сосредоточенного. Дали мы его имя мостику, не сговариваясь друг с другом, а потом сговорились вкоренять название это в обиход, объяснять всем людям, почему мостик через речку Родинку должен называться Пришвинским. Больше того, мы захотели, чтобы на мостике, на одном из столбиков его, справа или слева, была приколочена дощечка с надписью «Пришвинский мостик».

Вот тогда-то вопрос о названии и пошел по инстанциям, сначала снизу вверх, и стали его согласовывать да увязывать, рассматривать да обмозговывать, как великую государственную проблему. Это согласовывание да увязывание не завершено и доныне, а когда оно будет завершено, то вопрос должен пойти уже сверху вниз и дойти наконец до кабинета директора дома отдыха. Когда дойдет — никому не известно. Может, и не дойдет. Сохранится ли до того времени мостик — тоже неизвестно: все-таки он деревянный, а не каменный и не железобетонный какой-нибудь. Пришвина уже давно нет в живых, а вопрос о мостике все еще ходит где-то по инстанциям.

А все читающие Пришвина, все любящие его животворные книги и благодарные ему, ничего не согласовывая и не увязывая между собой, а просто повинуясь велениям своих сердец, давно уже зовут деревянный мостик над речкой Родинкой Пришвинским мостиком.

Пусть так оно и будет навеки.

1 февраля 1961 г.

ЖИТЕЙСКИЕ БУРИ

Был я близок с одним очень видным, ныне уже покойным писателем. Старик стоял вроде бы в стороне от «житейских бурь» и мелкой борьбы писательских самолюбий, ему принадлежало будущее — он это знал, и все-таки много лет мечтал, как прочие смертные, о государственной премии. Втихую мечтал.

Поначалу это казалось странным. Но если задуматься, подойти ко всему по-человечески — ничего в этом странного не было. Старик жил не в безвоздушном пространстве, он любил свою страну, почему же было не мечтать и ему о тех знаках внимания, которые оказывались другим от имени народа. Почему одни получают высокие юбилейные награды, другие, не менее достойные, не получают ничего, либо получают не то, чего они заслуживают в ряду других?

Я решил «хлопотать» за старого писателя перед Фадеевым. Возможно, это выглядело наивным.

Александр Александрович тоже удивился поначалу:

— Неужели он этого хочет? — засмеялся он.

— Читатели этого хотят. Вы должны этого хотеть. Я этого хочу.

— Вы разбираетесь хоть немного в литературной политике?

— А вы читали его последнюю повесть?

— Читал.

Фадеев читал бесконечно много. О каком бы новом произведении с ним ни заговорили, оказывалось, что он его уже читал, чаще всего — в рукописи.

— Это же очень светлое, солнечное произведение!

— Согласен.

— И — там люди, большая любовь к людям.

— Согласен.

— Так в чем же дело? От этого будет только выигрыш.

Фадеев опять засмеялся. На этот раз, кажется, уже надо мной.

— Вот будет президиум — выступите. А я не всемогущий.

Я выступал на президиуме. Ничего из этого не получилось. Почему не получилось — до сих пор не могу понять.

И до сих пор считаю ошибкой, что не осуществилась маленькая затаенная мечта большого русского художника.

Должно быть, я действительно уже и тогда ничего не понимал в литературной политике.

А порой мне кажется, что сам Фадеев теперь отнесся бы ко всему совершенно по-иному.

[*1961*]

ТЮЛЕВАЯ ЗАНАВЕСКА

Что поделаешь, я не знал Пришвина молодым. Ни разу не ездили мы с ним на охоту, не коротали ночи у костра, не путешествовали вместе по белозерским лесам. Обо всем этом мы могли только разговаривать. А я все мечтал, что это еще будет, что все еще впереди. Однажды Михаил Михайлович показал мне свое трехствольное ружье — бокфлинт: два ствола дробовых двадцатого калибра, один нарезной для пули. Показывал и хвалился его удивительной легкостью.

— Для меня,— говорил он,— охота давно уже приобрела чисто спортивный интерес. Я не промысловик, не

добытчик, поэтому не люблю, да, пожалуй, и не любил никогда стрелять из двенадцатикалиберной пушки, когда дичь осыпаешь сразу целой пригоршней дроби. То ли дело ударить влет из двадцатого калибра и свалить летящую птицу прямо к ногам. Прицел в этом случае должен быть точным, верным, а это высокое искусство. Да и тяжело уже таскать большое ружье.

Слушал я его рассказы, смотрел на бокфлинт и верил, убежден был, что мы обязательно побродим еще с ним по полям-лесам, что не поздно еще...

Но верил ли в это Михаил Михайлович — не знаю. Человеку не всегда удается заставить поверить другого в то, во что он верит сам.

В июле месяце 1952 года я вернулся в Дунино со строительства Волго-Донского канала. Пришвин пригласил нас к себе на дачу. Обстановка на даче Пришвиных была в то время скромная, слишком скромная, комнаты производили впечатление почти нежилых; грешный человек — я иногда подумывал: не от скупости ли это?

Сидим в столовой. Кажется, пообедали. Кажется, был пущен в ход графинчик-уточка из-под ликера. И опять то же: нальют тебе рюмочку с наперсток, меньше глотка, выпей и жди — предложат еще или нет? Да не хватает у них, что ли, на водку?

И вдруг овладело мною страстное желание уговорить во что бы то ни стало Михаила Михайловича поехать, и по возможности немедленно, вместе со мной в Сталинград, в волго-донские степи, к людям, сооружающим канал и Цимлянское море, к шагающим экскаваторам, к великанам бульдозерам и скреперам, к мощным земснарядам. Желание до того сильное, и таким все мне представилось простым, осуществимым, реальным, что я, наверно, был даже красноречив. Я гарантировал все удобства: немедленно мягкий вагон, в Сталинграде, в Калаче и по всему каналу легковые автомашины, где нужно — катера, номера в гостиницах, необходимое питание — все, все. Я предлагал себя целиком в распоряжение Михаила Михайловича. И руководила мною не только любовь к писателю-кудеснику, мне представилось, что, вытащив его на «великую стройку коммунизма», я сделаю большое дело для советской литературы,— а ради этого можно ли перед чем-либо останавливаться? Я говорил, что для Пришвина это будет прямой литературный путь из «края непуганых птиц» — и с Беломорско-Балтийского канала

на Волго-Дон и дальше, до Черного моря, путь из первой пятилетки в четвертую, в пятую и без пересадки в коммунизм. Я все учел и все принял во внимание, кроме разницы в возрасте между нами.

Порой мне казалось, что я уже добился своего, что Пришвин уже загорелся, уже согласился, Валерия Дмитриевна уже собирает необходимые вещи в дорогу...

А Михаил Михайлович вдруг сказал, что он смотрит на мèня так, как если бы я был в освещенной комнате, а он на улице, и между нами легкая тюлевая занавеска: мне его не видно, а ему меня видно всего; легкий прозрачный тюль — это время, это его, пришвинский, возраст и жизненный опыт.

Однажды мы ехали на машине из Дунина к Москве: я, Михаил Михайлович и Злата Константиновна.

В последние годы Пришвин имел «москвича», предпочитая его всем прочим маркам, и водил его сам. Только я не могу представить, чтобы он всегда, всю жизнь водил автомобиль так, как этого последнего «москвича», а у него бывали в руках разные машины. Что-то такое произошло, из-за чего водитель потерял контакт со своей машиной, не доверял ей, не чувствовал ее. Дело доходило порой до курьезных вещей. Перед каждым подъемом и спуском Михаил Михайлович терялся и спрашивал:

— Переключать скорость?

Или:

— На какую скорость ставить?

Кончилась эта растерянность тем, что Пришвин вообще перестал переключать скорости и ездил только на первой, в крайнем случае на второй, никогда на третьей. А от Дунина до Москвы — около пятидесяти километров. Пришвинский «москвич» был в совершенно запущенном состоянии, хотя хозяин любил его и никому не доверял, доверил один раз только Злате Константиновне.

При езде по улицам Москвы Михаил Михайлович, должно быть, частенько ошибался и нарушал правила движения. Когда его задерживал милиционер, он предъявлял удостоверение, затем хитро обращал внимание на свой год рождения и говорил миролюбиво:

— Сынок, как же мне не нарушать? Доживете до моих лет, и вы нарушать будете.

На московских регулировщиков, как рассказывал сам Михаил Михайлович, это действовало безотказно. С ними у него был полный контакт, не то что с машиной.

Итак, мы ехали из Дунина к Москве — на этот раз на моем «москвиче». Сразу за дунинским полем, в лесу, где часто приходилось пробираться в объезд грязи почти без дороги, по корням и кочкам, мой «москвич» сел дифером на пень. Ну, конечно, не сам он сел, я его посадил. Вышли мы из машины, осмотрелись. Ноги погружаются в мягкий мох, кругом и сверху еловая хвоя, неба не видно. Помощи ждать неоткуда. А мы куда-то спешили. Михаил Михайлович, опустившись на колени, сам заглянул под задний мост и, видимо, прикинув свои силы, поднялся и попробовал один сдвинуть «москвич» с места. Конечно, ничего из этого не вышло. Злата Константиновна перепугалась за него и потребовала, чтобы Михаил Михайлович к машине даже не приближался. Если бы не это, он, вероятно, и сам бы не пытался больше поднимать машину, но волнение жены моей его раззадорило. Он снова почувствовал себя чуть ли не богатырем. Он поверил в свои силы, поверил, что для него все доступно. И оттащить его от «москвича» теперь было уже невозможно.

Прибегать к помощи домкрата мне не хотелось, это отняло бы слишком много времени, да не помню уже — был ли домкрат-то с собой. Только я сделал все, чтобы «москвич» слез с пенька сам. Сел я за руль. «Отойдите!» — говорю, дал газ, и машина рванулась вперед. Но Пришвин все-таки успел подбежать к ней сзади и, по-видимому, изо всех сил рванул буфер кверху. Получилось впечатление, что он таки поднял «москвич». Мы не стали разуверять его. Мы поверили, что Михаил Михайлович один поднял машину и стащил ее с пенька. Поверил и он сам. И до чего же ему было хорошо оттого, что он поверил в это. Такая вера делает человека неодолимым, удлиняет его жизнь. Верить в свои силы стоит!

А все-таки мы с ним и на охоту пе сходили, и на Волго-Донской канал не съездили.

3 февраля 1961 г.

ЯБЛОЧНАЯ ДИЕТА

Яблоки я увидел и отведал впервые в жизни, когда мне было уже лет шестнадцать — семнадцать. До той поры перепадали и то не ежегодно, как и всем моим сверстникам-односельчанам, лишь дикие кислые и мелкие, как

грецкие орехи, плоды с единственной яблони, раскинувшейся на нашей деревенской улице, в палисаднике Сеньки Каренка. Дерево это было широченное и высоченное и действительно больше походило на дерево грецкого ореха, чем на яблоню. Мощной кроной своей оно закрывало весь фасад старинного пятистенка с резным коньком на крыше, а куполообразной вершиной, казалось, достигало облаков. Мы нарочно проезжали под ним верхом на лошади либо сидя на возу сена или соломы, чтобы успеть на ходу сорвать несколько веточек с плодами. На огромном дереве этом яблоки вырастали не крупнее грецкого ореха, даже мельче и висели не по одному, а по два, по три и даже по четыре вместе. А вкус их был таков, что меня до сих пор передергивает всего от затылка до пят, стоит лишь вспомнить и представить себе, как я раскусывал и разжевывал эту деревянистую кислятину. Кажется, даже черви не трогали этих даров северного лета.

Тем больше мечтал я о яблоках настоящих, культурных, южных. И когда впервые испробовал их — тем вкуснее, тем сказочнее показались они мне.

Редким, божественным, царским лакомством остаются они в моих глазах и по настоящее время.

И вдруг Михаил Михайлович Пришвин, царь зверей и птиц, бог русских лесов, заявляет, что ненавидит — ненавидит! — яблоки.

Мы пришли к Пришвиным на квартиру в зимний день. Уже в коридоре обдало нас, как теплом, запахом яблок. В столовой нас стали угощать яблоками. На столе стояла широкая тарелка яблок — свежих, сочных, каждое величиной с хороший кулак, кажется, они только что были принесены из сада, у многих еще не отвалились черенки с листиками, капельки воды на кожуре блестели, как утренняя роса.

А какого же были они цвета, эти яблоки? Нет, только не кисло-зеленого.

Была в них янтарная желтизна осени, была розоватость и краснота, глубина и прозрачность.

Любое из этих яблок могло бы сойти за то самое, наливное, из старых сказок, которое подавалось только на серебряном блюдечке.

Из-за любого могла бы впасть в долгий волшебный сон царевна-красавица со всем своим многонаселенным царством.

Любое может ввести в грех или стать причиной раздора.

А он их ненавидит.

Как можно ненавидеть такие яблоки?..

Оказывается, можно.

У Михаила Михайловича раз или даже два раза в неделю по строжайшему предписанию врачей были дни, когда он имел право есть только яблоки, и ничего больше. А он — русский человек, и покушать любил плотно, основательно. Что для него это яблочное меню? Как для журавля каша, размазанная лисой на плоской тарелке.

И вот ради Михаила Михайловича в эти разгрузочные дни все в доме ели только яблоки. Случайных гостей и знакомых, забредших на огонек, угощали тоже яблоками, только яблоками. Яблочный занах стоит даже в кабинете Пришвина.

На щеках Михаила Михайловича яркий стариковский румянец с красными прожилками тоже заставляет думать о яблоках, об их окраске.

Михаил Михайлович предлагает гостям отведать яблок и сам смущенно чмокает губами — ему неудобно, он извиняется, но что ж делать, приходится мириться с медициной и с обстоятельствами.

— Конечно, Валерия Дмитриевна на кухне перехватила чего-нибудь,— сообщает он с проницательностью заговорщика,— но то, что женщинам позволительно, для нас с вами не положено.

— А я люблю яблоки! — говорю я.— Очень люблю.

Михайло Михайлович взглянул на меня сначала сбоку, потом еще более внимательно поверх очков, ну, думаю, сейчас что-то скажет особенное,— и сказал очень простое:

— Я тоже любил, пока они не стали для меня обязательными.

В ту пору я любил спорить, праведность моя не давала мне покоя.

— А положение об осознанной необходимости? — сказал я.— Все обязательное перестает быть тягостным, если воспринимается как осознанная необходимость.

Пришвин спорить уже не любил. Особенно с безусыми праведниками. Он просто смотрел из-под очков и, видимо; обдумывал своего собеседника. Но на этот раз он ответил мне:

— Есть люди, любящие природу, перелески, луга, любящие жить в лесу. Но если такому человеку сказать, что он должен жить в лесу,— он сочтет это за высылку, и приятная жизнь в лесу станет для него наказанием.

— Да, но...

— Кушайте яблоки. Старость — ведь тоже осознанная необходимость. Но когда вы состаритесь, вы поймете, что не со всякой необходимостью человек мирится охотно и легко. Кушайте яблоки, пожалуйста!

14 марта 1961 г.

«СОЛНЕЧНАЯ КЛАДОВАЯ»

Приходилось ли вам навещать винные подвалы — эти пещерные галереи бесконечной длины с причудливыми разветвлениями в глубине скал? Мастер-винодел водит вас по сказочным лабиринтам, и открывается глазам чудо за чудом. Так художник в своей мастерской открывает полотно за полотном, раму за рамой.

В винных подвалах вдоль влажных каменных стен, по обе стороны от прохода, ровными рядами лежат поленницы бутылок. В них бродит сгущенная солнечная энергия.

Еще внушительнее выглядят сотни и сотни бочек, расположенных в строгом порядке. В одном туннеле — «емкости» по пять сотен литров, в другом — по тысяче литров, в третьем — бочки-великаны таких размеров, что их даже бочками назвать неудобно, это скорее дубовые цистерны, резервуары на четыре с половиной тысячи литров каждый. В одних виноградный урожай одного года, в других — другого.

Один купаж...

Другой купаж...

Вина сортируются не только по сортам, но и по возрасту, и главным образом по возрасту. Есть драгоценные многолетние вина, бутылки столетнего возраста, а есть многовековые...

Винные поленницы называются коллекциями, библиотеками. Библиотеками!.. Хранятся они, как древнейшие пергаментные рукописи в ереванском Матенадаране, с соблюдением строжайшего постоянства влажности и температуры.

Я бывал в массандровских подвалах завода шампанских вин «Новый свет» на южном берегу Крыма и в криковских близ Кишинева. Нескончаемые ряды бочек разных размеров. Государственные винные библиотеки!..

Мне вспоминаются эти винные подвалы и все, какие я только видел на своем веку, в квартире Михаила Михайловича Пришвина на шестом этаже дома в Лаврушинском переулке. В коридоре, в комнатах стоят шкафы, просторные, как погреба, и в каждом шкафу рукописи — ряды папок тонких и толстых. А есть и несгораемые сейфы. Что вмещают они в себе? Какая сила, какая энергия заключена в этой солнечной библиотеке?

Папки расположены по годам, по десятилетиям. В них целая жизнь, и не одного Михаила Пришвина, а нескольких поколений людей, жизнь лесов и полей, зверей и птиц, вечная смена времен года — весны света, весны воды, весны тепла...

На мелких разрозненных листочках из карманных блокнотов бисерным почерком то карандашом, то самопиской занесены мысли, наблюдения, сюжеты, образы. Делалось это в далеких путешествиях, на охоте, на рыбалке, часто на ходу, а то сидя на какой-нибудь колодинке, на пеньке. Бисером — слово к слову, росинка к росинке, птица к птице, травинка к травинке...

Листочки из блокнотов собраны в пачки, пронумерованы и связаны бечевкой либо скреплены резинками. Многое уже прочитано, перепечатано, подшито.

Вот она где, пришвинская солнечная кладовая!

Вот где хранятся его неисчерпаемые дневниковые богатства на каждый день за много десятков лет:

Купаж 1930 года...

Купаж 1940 года...

Купаж 1950 года...

Сгущенная энергия добра и красоты. Пришвинская государственная библиотека! Пришвинская кладовая солнца!

Главный хранитель пришвинских подвалов — Валерия Дмитриевна неторопливо раскрывает шкаф за шкафом, словно ведет вас по широкой галерее, и папки на полках, будто бочки на подставках, одна к одной, десяток к десятку.

Много лет нужно, чтобы разлить все это вино по бутылкам и доставить его людям. Не одно человеческое поколение еще будет благодарно припадать к этой драго-

ценной живой воде, утолять ею свою духовную жажду, вспоминая добром великого жизнелюбца.

...Не так давно в Вологде вышла новая книжка Пришвина «Незабудки», составленная из его дневниковых записей. Я знаю, из каких подвалов она взята.

1962

ОН ДАЛ ИМЯ ЧЕЛОВЕКУ

Первого марта 1951 года Михаил Михайлович Пришвин подарил нам книгу «Моя страна» с надписью: «Злате Константиновне и Александру Яшиным от счастливого обладателя пика на Кавказе, озера и мыса на Курильских островах».

В 1950 году Географиздат выпустил четыре повести М. М. Пришвина под названием «Моя страна». В предисловии этой книги сообщалось, что Географическое общество присудило ему медаль и что он является старейшим действительным членом Географического общества. А в 1951 году Географическое общество назвало его именем пик на Кавказе, озеро и мыс на Курильских островах.

Каждая книга Пришвина была не меньшим пиком, чем тот, который ему подарили, но, кажется, ничем больше не гордился он в эти дни так, как гордился, что его имя носят гора, мыс и озеро.

Я расскажу, как Михаил Михайлович дал имя человеку.

В 1953 году у меня родился сын, и мы долго не могли подобрать для него подходящего имени. Он был седьмым, и казалось, что все возможные и приемлемые имена уже использованы. Прошел месяц, пошел второй, а наш сын все еще был «не окрещен». Из загса прислали предупреждение, что за промедление регистрации новорожденного человека мы будем подвергнуты строгому административному воздействию — штрафу.

В который раз мы прибегали к всевозможным уловкам. Тянули жребий: писали на бумажках до десяти приличных имен, добавляли к ним одну пустую, и дочка Наталья вытягивала из шапки почему-то обязательно бумажку без имени. Загадывали: кто первый утром придет, именем того и назовем своего сына,— приходила обя-

зательно женщина. Обращались даже к святцам — не помогло.

Нелегкое это дело — дать имя человеку! Ведь на всю жизнь. А вдруг оно к нему «не пристанет» или, как говорится, будет «не к лицу». Неподготовленность наша объяснялась еще тем, что до последней минуты мы ждали дочь — так все врачи предсказывали, и имя было приготовлено для дочери.

С таким же трудом подбирается иногда название для готовой книги или даже для небольшого стихотворения. Все есть — нет только названия. Правда, со стихами проще: можно поставить три звездочки — и все тут, и сдавай в печать. Но в загс с тремя звездочками не придешь.

Я решил позвонить Пришвину.

— Михаил Михайлович, сын родился.

— Знаю, мы уже поздравляли вас.

— Имени подобрать не можем.

— Да? Подумать надо.

— Нам уже штрафом грозят,— думали, да в сроки не уложились.

— Подумать надо! — Михаил Михайлович явно тянул, думал.— Есть два хороших имени,— наконец сказал он.

— Говорите!

— Первое — Дмитрий.

— Так! А второе?

— Второе... А может быть, лучше не сразу?

— Почему не сразу?

— Может быть, вы еще сами подумаете?

— Не понимаю вас.

— Тогда вот второе — Михаил.

— Спасибо, Михаил Михайлович,— говорю я.— Мы подумаем,— и вешаю трубку.

Мне становится понятным, почему он так медлил называть второе имя.

После этого разговора мы подходим к новорожденному.

Надо сказать, что дед мой тоже был Михайло Михайловичем. В деревне он всю жизнь, от рождения до смерти, назывался Мишей Малым, соответственно Михайловичем был мой отец. Мишей был мой брат, военный моряк, погибший при отражении первого натиска немцев на Сталинград,— значит, с именем этим мы уже давно не то что свыклись — сроднились.

Вглядываемся в новорожденного и видим, что он абсолютный, ну совершеннейший Михаил, иного имени у него и быть не может, да, собственно, он и родился с этим, уже готовым, именем. Как же мы этого раньше не замечали?

— Ах ты, мої Михайло Михайлович! — говорит довольная и счастливая мать, радуясь тому, что наконец-то загадка разрешилась.— Прямо-таки гора с плеч!

— Ах ты, мой Миша Малый! — говорю я, находя в сыне черты Михаила Михайловича, своего деда, и Михайлы Михайловича Пришвина одновременно.

Так стал Пришвин крестным отцом нашего Михаила и дедом его: ни одного своего родного деда увидеть ему не довелось.

Долго мы звали, да и сейчас еще зовем иногда Мишку Михаилом Михайловичем или Мишей Малым. Потом начали сокращать и варьировать это имя: Мих-Мих, Михай, Топтыгин и тому подобное. А затем, когда сын подрос, пришлось все чаще называть его разбойником, по сходству. Но первое имя — Михайло Михайлович — не забывается и поныне.

Знакомые иногда удивляются:

— Почему вы называете Мишу Михайловичем?

Мих-Мих теперь отвечает сам:

— Я — в честь Пришвина.

16 апреля 1961 г.

ПОСЛЕДНЯЯ ТРОПИНКА

Квадратный двор многоэтажного дома по Лаврушинскому переулку, в котором мы живем, неширок, но глубок. Такие дворы обычно называют колодцами. На уровне верхних этажей летают голуби. На крышах телевизионные антенны и круглая бетонная водонапорная башня.

Под окнами почти всех квартир, внутри двора,— балконы: простые, грубые, узкие, но достаточно длинные — по ним можно прогуливаться. Зимой балконы заставлены разными ненужными вещами, цветочными ящиками, старой мебелью, и редко кто выходит на них ради прогулки, разве что на мгновение откроют дверь да высыплют кулек корма для голубей.

Балкон Пришвиных также был всегда загроможден. Но в эту зиму его очистили. В любую погоду в середине дня Михаил Михайлович, одетый в шубу и валенки, закутанный в шерстяной платок, выбирался на балкон и ходил по нему из конца в конец, изредка останавливаясь, отдыхая. Красивая борода, усы и пышные стариковские брови его от мороза индевели, курчавились и были не просто седыми, а белыми. Когда сыпал снежок, Михаил Михайлович походил на деда-мороза.

Пришвин заболел и никуда не выходил из дому, кроме как на балкон. Да и балкон-то был в его распоряжении не весь — часть его, отделенная барьерчиком, принадлежала соседям.

До чего же укоротились пришвинские тропинки!

С балкона открывается только небольшой кусочек Москвы — несколько железных крыш в просвете колодца, Баженовская, недавно отремонтированная церковь, да вдали шпили высотного дома на Котельнической набережной, и еще голуби в небе. Вот и все.

А в каких только краях не бывал этот неутомимый следопыт, сколько дорог исходил он за свою жизнь! И вот из всех дорог осталась одна, и не дорога, а тропинка, да и та за решеткой балкона, вдоль стены, от угла до угла, в колодце сумрачного двора. Правда, рядом и над головой опять непуганые птицы, но это же московские голуби, они что куры: и птицы, а невольницы. Разве они понимают, что такое настоящие просторы, настоящая свобода!

Пришвин ходил по балкону неторопливо, держа голову высоко, и смотрел на стены домов, на окна соседских квартир, на крыши и в небо, главное — в небо. Иногда по старой привычке он пытался сцепить руки за спиной, но это ему не удавалось, может, из-за болезни, а может, потому, что на нем было слишком много теплой одежды. Порой он останавливался и клал руку на перила либо брался за металлические балясины, а однажды на ходу по-озорному провел по балясинам деревянной палочкой, как по клавиатуре ксилофона.

Как-то выглянуло солнце, мы открыли свой балкон, напротив пришвинского, и выкатили на воздух коляску с ребенком. Я крикнул:

— Как здоровье, Михаил Михайлович?

Он поднял палочку к небу:

— Солнце-то какое, а весны еще нет и в помине!

Мне показалось, что он не чувствует себя за балконной решеткой и видит вокруг не стены и крыши, а что-то другое, далекое.

Но вот он спросил глуховатым голосом:

— Как сын?

— Все еще без имени,— ответил я.— Второй месяц пошел.

Чуть позднее он дал имя моему сыну.

В конце декабря на пришвинском балконе появилась лесная гостья — свежая лохматая елочка для встречи Нового года. Михаил Михайлович несколько дней не показывался на балконе, и мы, посматривая во двор из окон своей квартиры, решили, что он начал выходить гулять на улицу. Елочка стояла в углу чуть запорошенная снежком, к ней никто не прикасался, никто ее не шевелил. Казалось, сам лес пришел к Пришвину в гости.

День стоит елка, два дня стоит...

Я перед Новым годом попал в больницу, а жена моя не выпускала елочку из глаз. На балкон к ней время от времени выбегала Жалька — последняя собака Пришвина.

Наступило тридцать первое декабря. Со всех балконов елки давно исчезли. По вечерам они, наряженные, сияли огнями в окнах квартир. А пришвинская елочка так и осталась на морозе не обласканная, не праздничная.

Злата Константиновна почуяла недоброе, заволновалась, но, вспомнив, что Пришвины по давней традиции справляют Новый год по старому календарю, успокоилась.

Только прошло и тринадцатое января, а Михаил Михайлович ни разу за все это время не появлялся на балконе, и елочка от ветра упала. Так и не внесли ее в квартиру, так и не нарядили.

— Значит, не до нее! — решили соседи.— Значит, не состоится в эту зиму в пришвинской семье новогодний праздник.

— Нет, праздник все-таки состоялся,— рассказала после Валерия Дмитриевна Пришвина.— Вышла «Весна света», и друзья из «Молодой гвардии» вместе с первым экземпляром книги принесли Михаилу Михайловичу небольшую елочку от издательства.

А та елочка пролежала под открытым небом до снеготаяния. Короткая тропинка на расчищенном узеньком

балконе с хвойным клочком леса на уровне шестого этажа стала последней тропинкой Пришвина.

Но вот что удивительно: с годами и я перестал видеть, что она — за балконной решеткой и что она — короткая и узкая.

Она — широкая и уходит далеко-далеко, через Дунино и Загорск, через мою Вологду, откуда Пришвин начинал свое первое путешествие в края непуганых птиц, к карельским озерам,— бежит она в приморские дебри, где растет жень-шень, к былинному Китеж-граду, к животворным родникам Берендея, в гущу народную, к тем, кто работает на земле и в лесах, и сказки складывает, и песни поет, и на ком вся земля держится,— к людям, к людям. Бежит и разветвляется на много разных тропинок, таких же бесконечных и непохожих одна на другую.

И кажется мне, что по одной из этих тропинок, уже не по пришвинской, а по своей, иду я сам. И может статься, еще не поздно, я расскажу людям обо всем, что увижу и услышу на своей родной стороне...

1961—1963

СЛАДКИЙ ОСТРОВ

КОГДА МЫ УЕДЕМ?

Мы не знали, куда едем, какой-такой необитаемый Сладкий остров вдруг обнаружился в Белозерье и как мы там будем жить. Думалось — едем дней на десять, не больше. Отдохнем, половим рыбку и обратно. Почему-то представлялось, что этот остров находится вблизи Кирилло-Белозерского монастыря, куда в свое время не раз наезживал Иван Грозный, где была заточена одна из его жен и отбывал ссылку архиепископ Никон; либо этот остров около другого архитектурного памятника русской старины — Ферапонтовского монастыря, в котором еще и поныне живы фрески гениального Дионисия.

Казалось даже, что Сладкий остров находится на самом Белом озере. Но на Белом озере никогда не было и сейчас нет никаких островов.

Сладкий остров мы нашли в не менее примечательных местах — на Новозере. И не там и не таким, каким представляли его по рассказам. Обычная история: сколько ни читаешь, сколько ни слушаешь о чем-нибудь, а когда сам увидишь и испытаешь — оказывается все не так. Северные сияния видали на картинках, все видали, и читали о них много, все читали. А, уверяю вас, они совсем не такие, какими вы их себе представляете. Никакая литература, никакие очевидцы, даже отец родной, не могли мне дать правильного представления о войне, пока я на ней сам не побывал. Зато, побывав и в огне, и в ледяной воде, я совершенно по-новому стал читать Льва Толстого. Он лучше всех передает состояние человека на войне.

Итак, мы переправляемся на лодках из деревни Анашкино на Сладкий остров, сначала в большой компании. Почему остров этот называется Сладким? Всегда ли, для всех ли он был сладким?

Местные люди рассказывают, что вблизи острова Сладкого, на острове Красном, процветал в свое время

Новозерский монастырь. О красоте его можно судить по сохранившимся до наших дней крепостным стенам, которые вырастают прямо из воды, и по остаткам церквей и прочих монастырских заведений. На каком бы берегу Новозера люди ни находились, на низком болотистом, где собирают клюкву и морошку, на лесистом ли высоком, где грибы и малинники и всякая боровая дичь — отовсюду, конечно, видны были золотые луковки куполов и далеко по озерной глади разносился медный гул и звон с высокой колокольни — «малиновый звон». Красного острова, по существу, не было и нет — ни клочка голой, не огороженной камнем земли. Просто посреди озера вознесся к небу сказочный град-крепость, будто один расписной волшебный терем, подобие которому можно найти лишь на самых замысловатых лубках и древних иконах. Он был весь «как в сказке» и в то же время был на самом деле, существовал, красовался.

А на примыкающем к монастырю, тоже небольшом, но совершенно плоском и очень зеленом островке господствовало и процветало православное купечество. В престольные праздники, особенно в дни «Тихвинской», здесь работали и лавки, и палатки, и лотки, бродили шумные коробейники — шла оживленная торговля. Купить можно было все — от заморских шалей и полушалков до детских пряничных петушков.

Но особенно славились новозерские базары сладкими винами и сбитнем. Что такое сбитень — выяснить точно не удалось. Это какой-то безалкогольный горячий напиток, приготовленный на патоке или подожженном меде со специями, с пряностями. Может быть, это нечто вроде кока-кола или наших ситро и лимонада. Продавали сбитень, как и все другое, с шуточками-прибауточками: «Сбитень горячий пьют подьячие; сбитень-сбитенек пьет щеголек!» И верно, горячий сладкий сбитень любили все от старого до малого, сладкие леденцы и пряники тоже.

Христолюбивым чадам, только что приобщившимся к святым тайнам и отведавшим сладкого причастия, не менее сладкими казались и русская горькая, и сивуха. Большие народные гулянья с торжественными обрядами и недолгие пиры скрашивали нелегкую крестьянскую жизнь — в престольные праздники, на миру, она казалась порой и обильной и сладкой. Потому будто бы и остров этот стали звать Сладким. Так рассказывают старые люди.

Позднее оба острова были использованы для других надобностей. А сейчас монастырская крепость пустует. Летом в ее стенах сторож Сергей Федорович, колхозник из деревни Карлипки, заготовляет сено для своей личной коровы — это его собственное угодье, и тут никто ему не указ.

Опустел и Сладкий остров. Догнивают на корню и рушатся березовые аллеи. Догнивают и разваливаются всевозможные постройки, постепенно исчезает разное мелкое имущество. Все оно не бесхозное, все где-то зарегистрировано, занесено в книги, но бывшим хозяевам оно теперь ни к чему, а передать его тем, кому оно необходимо или может пригодиться, они не удосужились. Вероятно, когда все служебные помещения, жилые дома и прочие постройки догниют, а имущество будет до конца расхищено — все будет просто списано по акту, как непригодное. Так у нас часто водится.

Поговаривают, что после этого на Сладком острове будет строиться дом отдыха леспромхоза или Вологодского отделения Союза писателей, либо колхоз организует здесь крупную утиную ферму.

Первое, что нас поразило на острове,— тишина.

Приехали мы туда поздно вечером, и это особенно усилило впечатление удивительной устойчивости, неколебимости всего, что нас окружало. Воздух был неподвижен, вода тоже. На Новозере даже ряби никакой не было, не только волны, разве что иногда рыба всплеснет. Деревья стояли на земле прочно, ни один листочек не вздрагивал. Свистели утиные крылья да гудели, пели, звенели комары. Комариный писк воспринимался, как вечный шум в морской раковине, как пенье самой земли. Он не нарушал тишины, а только усиливал ее. Ночью вокруг озера запели петухи да где-то далеко-далеко вскрикивали журавли.

Эхо отзывалось на всякий звук. В горах эхо, кажется, присутствует всегда, оно не исчезает. А здесь эхо — гость нечастый, и потому, когда оно появляется, с ним хочется разговаривать, дурачиться и детям и взрослым.

— Какой цветок вянет от мороза?— кричит почтенная мать семейства. И радуется, когда эхо отвечает ей: «Роза! Роза! Роза!»

— Что болит у карапуза? — озорно вопрошает отец.

«Пуза!»

Ах, до чего весело, до чего остроумно!

И вдруг эхо замолчало. Почему?

Старший сын едет за молоком, и в вечерней тишине плеск весел разносится по водной глади и повторяется многократно. Это тишина. Что может быть дороже тишины на свете?

Посмотрите кинокартину «Встреча с дьяволом» — люди, побывавшие в кратерах действующих вулканов, утверждают, что самое большое в мире достояние — тишина. Я понимаю их. Я живу в большом городе.

Тишина осталась и утром, и на весь день и уже казалась непреходящей. Утром по берегу из деревни Карлипки в деревню Анашкино и дальше к деревне Артюшино — центральной усадьбе колхоза «Заря» — проходила грузовая машина с молоком, только одна грузовая машина — вот и весь шум, а хватало его на весь день. След машины отмечался скорей не шумом, а пылью. Пыль, как дым, клубами поднималась над лесом вдоль берега озера и долго-долго не рассеивалась. По пыльному следу хорошо было видно, где проходит дорога, все изгибы, все неровности ее.

Но до Сладкого острова не доплывала и эта пыль. Здесь воздух был абсолютно стерильным. И потому так ярко горели здесь закаты и восходы, тысячекратно повторенные в воде. Весь остров просвечивался, вода была видна отовсюду, и он всю ночь сиял в огнях снизу доверху — летние ночи здесь очень коротки. Не успевал потухнуть закат, как рядом с его кострами возникало зарево восхода.

— Когда же мы спать будем? — радостно и встревоженно спрашивали мы друг друга.

Для детей наших, питомцев большого города, все казалось особенно диковинным и волнующим.

— Как? Это и есть белые ночи? Значит, мы уже на настоящем севере?

Мы облюбовали один из домов, заняли половину его, наносили в комнату, предназначенную служить спальней, свежего сена, расположились и сказали себе:

— Десять дней мы здесь проживем. Это уже ясно. Сможем ли только уехать отсюда через десять дней?

Новый быт складывался сам собой. Мы стали ходить сначала в трусах и майках, потом только в трусах. Затем перешли к плавкам, чтобы лучше загореть. Под конец кое-кому и плавки показались лишними. Умывались мы

в озере, завтракали на берегу озера прямо у костра. Купались по нескольку раз в день. Обыкновенные пластмассовые мыльницы нас перестали удовлетворять, и мы заменили их створчатыми ракушками. Любой кусок мыла на перламутре казался совершенством. Зубы продолжали чистить, но неохотно,— вероятно, надо было заменить простой зубной порошок святым озерным песочком.

Миша мыл руки в озере и удивлялся: не скрипит.

— Почему-то мыло не смывается? — спрашивал он.

— Потому, что здесь вода очень мягкая.

— Как это — мягкая?

— Не могу тебе объяснить,— в свою очередь, удивлялась мать.— Наверно — ласковая!

— А, понятно! — удовлетворялся Миша.

Конечно, легко сказать: завтракали, обедали и ужинали на берегу озера, прямо у костра. Но ведь скатерти-самобранки у нас с собой не было. Не захватили. Значит, кто-то должен был разжигать костер, готовить завтраки, обеды, ужины, мыть посуду. Кто же? Конечно, мать. Мать и на озере оставалась матерью. Отдыхала ли она сама — трудно сказать. Но нам казалось, что она больше всех довольна, что приехала сюда. Она ликовала. Она во всем находила что-то прекрасное и радовалась не одним закатам и восходам. Она сочиняла сказки, сочиняла сказки для всех. Отец, конечно, писать не смог, здесь было слишком хорошо, и это ему мешало. Ему всегда что-нибудь мешало: слишком хорошо — плохо, и слишком плохо — не хорошо. А мать мыла посуду в озере и радовалась: как хорошо — оказывается, и в озере вода течет. Полоскала с мостика наши трусы и майки и говорила:

— Удивительно, как быстро и легко прополаскивается!

Теперь я понимаю, почему в русских городах, где есть уже и водопровод, и ванны в квартирах, женщины все-таки предпочитают полоскать белье в реке, на речке. В Вологде у причалов стоят новенькие обтекаемые катера, теплоходы с канала Москва — Волга, по асфальтированным улицам носятся сверкающие лаком и никелем автомобили, а на берегу реки, напротив педагогического института, вологодские хозяйки, как и восемьсот лет тому назад, с мостков, с дощечек полощут свое белье, выжимая и перекладывая его с левой стороны на правую, с правой стороны на левую. Складывают его в плетеные

корзины и на коромысле уносят домой. Попробуй после половодья не навести мостки в срок — поднимут бунт! Зимой они полощут его в прорубях, обставленных вокруг зелеными елочками — от метелей, а потом развешивают на морозе на веревках. Вот и становится белье белоснежным и попахивает ледком, морозом. Как хорошо!

Мы радовались всем маминым радостям и на многое смотрели ее глазами. Интересно было, когда она вдруг замечала в жизни, в природе что-то такое, мимо чего мы проходили, не обращая на это внимания. Она часто заставляла нас как бы прозревать.

— Обыкновенная лебеда, а тень от нее богатая, узорная, как от диковинного цветка...

Узнала от рыбаков мать, что лещ рыба мирная, не хищная, питается насекомыми, червяками, любит жить в траве, в хвоще, а растет быстро и достигает размеров необыкновенных. Силища у этого водяного вегетарианца страшная. Посмотрела мать на леща, подняла золотистого, влажного, чешуйчатого великана и сказала:

— Вот, ребята, озерный лось. Заходит он в камыши, как лось в осиновую рощу, питается травкой, личинками, червячками, сам никого не обижает, а его все боятся. Озерный лось!

— Это надо записать,— сказал папа,— может, пригодится.

Серебристую плотву мама сравнивала с сыроежкой. Сыроежка гриб вкусный, но портится быстро, легко крошится, белая гребеночка ее снизу шляпки осыпается. Плотичку тоже надо немедленно чистить и варить или жарить, не то загниет. А чуть переваришь — вся разлезется, есть станешь — костей не оберешься. Не крепкая рыба, что и говорить.

— Записать надо, это интересно: плотичка что сыроежка. А ведь похоже! — восхищался отец, отдавая должное маминой наблюдательности.

Мы купались ежедневно и утром, и днем, и вечером, а почувствовали всю прелесть лишь после того, как выкупалась в озере мать и, выкупавшись, повернулась к озеру и поблагодарила его, а затем наклонилась к воде и поцеловала ее.

— Когда купаешься, плывешь — все тело пьет воду.

— Это правильно,— сказал отец,— это надо записать.

А Миша сказал:

— Не понимаю, почему папа писатель, а мама не писатель.

— Что ж, сынок, бывает и так. У нас это бывает,— согласился отец. Он не обижался. Кажется, он думал так же.

9 августа 1960 г.
Череповец — Москва

ЧАЙКА

Какой только рыбы не водится в Новозере, каких только птиц не летает над ним. Однажды утром Миша вышел на песчаную косу, чтобы послушать, как далеко-далеко на болотах, за береговой излучиной, кричат журавли. Солнце уже всходило, и озеро то и дело меняло цвета, будто примеряло разные наряды — какой из них больше подойдет на сегодняшний день. На небе солнце взошло одно, а в озере их отразилось тысячи.

Журавлей Миша никогда не видел. Не увидел он их и сегодня. Зато на песчаную косу вдруг спустилась с неба удивительная птица: вся розовая, только клюв черный да черное пятнышко на голове. Миша видел, когда птица летела, и ее длинные тонкие крылья показались ему похожими на гребни волн. Он всегда рисовал море с такими волнами. Села розовая птица на песчаный откос и так неторопливо сложила свои волнистые крылья, будто кружевной подол платья подобрала.

Прибежал Миша домой, рассказал маме, какую он удивительную птицу видел, а мама выслушала и сказала, что это была чайка.

— Нет, мама, это была не чайка. Чайка же белая!

— Да, это правда, что чайка белая.

Вечером того же дня Миша увидел еще одну необыкновенную птицу — совершенно голубую. Голубую, как вечернее предзакатное небо.

Рассказал он маме и об этой птице, а мама подумала и опять сказала, что и это была чайка.

— Нет, мама, это была не чайка, а какая-то небывалая птица. Чайка же белая.

— Да, чайка бывает белая, это верно. Сходи на берег, присмотрись к ней хорошенько еще раз.

Вернулся Миша на берег озера, когда солнце уже садилось и его нетленный огонь разгорался все больше и больше. Это уже был целый костер. Казалось, коснется солнце своим краем озерной глади, и закипит, забрызжет, запенится под ним вода.

В этом закатном огне увидел Миша в небе целую стаю птиц, похожих на чаек, и все они были золотые, огненно-золотые.

— Как в сказке! — сказал про себя Миша. — Но это же чайки. Это все одни и те же чайки.

— Это чайки, мама! — согласился наконец Миша.

— Ты их видел белыми?

— Нет, я не видел их белыми. Они белые, но на этом озере все, как в сказке, все сказочное — и восходы, и закаты, и лунные ночи. И птицы и люди — как в сказке.

5 августа 1960 г.

ТЫСЯЧА ПЕРВАЯ ПЕСНЯ

В Новозере было очень много рыбы, но питаться одной рыбой скоро надоело, она, как говорится, приелась. К тому же для шестилетнего Миши из-за болезни почек была противопоказана пища, богатая белками. На уху он уже смотреть не мог, ел иногда лишь жареных окуньков.

Из-за этой Мишиной диеты мы, собственно, и побаивались отправляться из Москвы в далекое путешествие. Но раз уж приехали и заняли на Новозере необитаемый островок — Сладкий остров, и погода была на редкость хорошей: мы купались по нескольку раз в день, и загорали, и жили всласть,— то надо было подумать не только о рыбе, но и о мясе.

Председатель колхоза, на земле которого мы устроились летовать, сам предложил нам либо гуся, либо утицу, либо куру на выбор. Молоком и творогом мы пробивались на соседнем островке, на котором жили-были старик со старухою.

Колхозная птицеферма находилась от Сладкого острова километрах в трех. Мы отправились туда на лодке втроем — я, Саша и Миша, то есть отец и его сыны.

Уток и гусей считали в колхозе тысячами, кур и того больше. Район в течение одного года резко увеличивал производство мяса, и колхозам разрешено было часть

птичьего поголовья сдавать па сторону, помимо плана: все равно для трудящихся, для рабочего класса.

— Прибыльное ли это дело — гуси и утки? — спросил я бригадира, человека немолодого и, по-видимому, в колхозных делах сведущего. В недавнем прошлом он сам был председателем колхоза, одного из тех двенадцати, которые объединились в нынешнем, укрупненном.

— Пока не очень прибыльное! Не очень! Не прибыльное! — ответил бригадир.— Новое оно для нас — дело это. Цыплята привозные, по четыре рубля за штучку. Инкубаторные, растут без отца без матери, вроде приютских ребят, сироты. Ну, и дохнут. В чем причина, не выяснено. Кормим, даже рыбий жир даем против авитаминоза. Специалистов привозили — ничего сказать и они не смогли. Может, партия яиц попалась плохая, потомство слабое. Конечно, убыток. Посудите сами: за матку платили по тридцать восемь рублей, а на мясо сдаем утицу за двенадцать рублей; вес ее — килограмма два. Маток оставляем на зимовку штук пятьсот, на каждую уходит семьдесят килограммов пшеницы. Яиц они почти не несут. Линяют раньше срока. Куда что девается? Убыток один. Но дело это новое, поэтому все списывается по акту.

— И семьдесят килограммов пшеницы списывается?

— Как же, приходится. И рыбий жир списываем.

Бригадир рассказывал обо всем этом с точным знанием дела, памятливо, с цифровыми выкладками и с таким искренним огорчением за колхоз, что я решился спросить:

— Простите, но ведь за всем не уследишь. Может, не все птице перепадает, что ей положено?

Бригадир огорчился еще больше:

— Ну что вы! Ни утки, ни гуси, ни куры не обижены. Уток моя жена сама кормит. На моих глазах. Тут злоупотребления исключены.

Мы решили взять для Мишиной диеты двух кур. Бригадир предложил петуха и куру. Мы согласились. На птицеферме начался переполох. Птичница ловила то курицу, то петуха, бригадир сам ощупывал их и браковал:

— Давай пожирнее. И где ты таких драных находишь?

Птичница молчала, ловила следующих. Наконец и петух и курица были отобраны. Мне они не показались жирнее предыдущих, но были красивы, кремово-белы.

Хороши были обе птицы. У петуха, конечно, был королевский вид, и красная раздвоенная борода, и красная

корона на голове. Но ежели петух — король, то курица выглядела королевой. В ней было столько врожденной женственности, что ее гребешок скорее походил не на корону, а на старинный северный кокошник. Узорчатый зубчатый верх кокошника свешивался на сторону, словно бархатные кисти и расшитые бисером многоцветные подвески.

Миша повизгивал от радости.

— И у царицы есть бородка,— кричал он,— только маленькая. Ну дайте же мне подержать курочку, я всю жизнь не видел ее так близко.

Петуха он пока побаивался.

Но и петух и курица были предназначены для заклания, поэтому четырехклассник Саша считал необходимым держаться в данном случае солидно и покровительственно относился ко всем Мишиным восторгам. Он только с пониманием посматривал на отца: пускай, дескать, малый потешится, от этого аппетит его хуже не станет. Отец сам любовался птицами и почти по-детски радовался им, будто видел таких впервые. Он в свое время учился довольно долго, но в жизни чаще всего требовалось знание только четырех действий арифметики, и ничего больше, поэтому его образование в настоящее время уже сравнялось с образованием старшего сына, четырехклассника.

Птиц, не связывая, положили в мучной мешок, и Миша понес их сам, сначала осторожно, на вытянутых руках, впереди себя, а потом просто перекинул их через плечо.

В лодке на середине озера курица выбралась из мешка. Первый заметил ее Саша,— он сидел на корме с доской вместо рулевого весла, а мешок с курами лежал на носу, за спиной отца, который сидел на веслах.

— Курица, курица! — вдруг завопил Саша.— Улетит!

Все обернулись. Курочка сидела у борта лодки и недоуменно осматривалась. Кокошник и бородка ее были белы от муки. Она никуда не хотела лететь: кругом вода, ни земли, ни крыши. Она казалась совершенно спокойной, но когда ее стали брать в руки, она всполошилась, закудахтала: «Куда, куда, опять в мешок?!» — и попыталась ринуться в озеро. Все-таки свобода, даже куриная, была ей дорога.

Миша радовался, еще больше кричал, визжал, кудахтал.

— Ой, спасибо вам, товарищи! — то и дело говорил он отцу и брату.

Саша покровительственно улыбался.

На острове нас встретила мать. Смертельно уставая возиться с утра до вечера с рыбой, с рыбьей чешуей, с рыбьими костями и колючками, из-за которых у нее болели все пальцы на руках, она обрадовалась не так нам, как птицам.

Начался детский шум, рассказы вперебой, взахлеб, словно мы вернулись из дальнего пионерского похода.

Птиц мы выпустили на свободу. Петух долго не мог прийти в себя. Он задыхался от жары и мучной пыли, стоял с раскрытым клювом, уставившись в одну точку, и казался очумелым.

— Папа, он умирает,— перепугался Миша.

Но петух не умер. Голова его наконец задвигалась, бородка дрогнула, словно бархатный занавес перед началом спектакля, он переступил с ноги на ногу, увидел курочку, зелень, деревья, увидел небо и воду, что-то бормотнул, квокнул и начал щипать траву. Первого же червячка или букашку, а может — какое-то зернышко, которое он нашел в траве, он подарил своей курочке. Чья же она и была, если не его? Не могла же она быть ничьей? Курочка не жеманилась, не отбивалась, а приняла подарок, как должное, подбежала и клюнула что-то, видное лишь им одним.

Когда их стали кормить хлебом, петух взял в клюв первую крошку и опять деликатно позвал свою курочку, и та уже опрометью бросилась на его зов, к его крошке, хотя рядом лежала целая хлебная горка.

Покушав, петух тут же без ханжества и блудословия потоптал свою подружку, и вместе они стали закусывать, заедать хлеб травой. Они были как дома, они были на земле.

А когда петух впервые кукарекнул, необитаемый дотоле остров стал и для нас совершенно обжитым.

До вечера мы их не трогали. Только посоветовались, которого порешить первым. Мать сказала:

— Надо примечать, кто первым затоскует. Птица тоже чует свой конец.

Ни курица, ни петух своего конца не чуяли.

Миша целый день ухаживал за ними, кормил их остатками каши, вареной и жареной рыбой, собирал дождевых червей и предлагал даже кусочки сахара. Сугубо

городской мальчик и немного вялый после тяжелой болезни, он оживился и, кажется, розовел на наших глазах.

Вечером мы стали думать о курятнике, о ночлеге для нашей птицы. Требовался насест.

— Какой насест? — спросил Миша.

— Вот не знает! — высокомерно сказал Саша.— Какой насест, мама?

— Обыкновенный насест, чтобы спать. Жердочки вроде любой ветки, как для любой птицы.

— Понял? — сказал Саша брату.— Насест — это вроде ветки на дереве. Птицы должны спать на деревьях, высоко над землей. Правда ведь, мама?

— А разве куры это птица? — удивился Миша.

— Вот не знает! — сказал опять четырехклассник, обращаясь на этот раз к отцу.— Конечно, птица, раз перья. Правда ведь, папа?

— Правда, мой старший. Перья и яйца — значит, птица,— подтвердил родитель.

На ночь решили устроить кур в одной из свободных комнат. Казалось, на одну ночь — что ж тут такого? Ведь пустовал весь дом. Мать выбрала комнату и положила в ней жердочку между подоконником и письменным столом. Канцелярские столы остались здесь во всех комнатах без исключения: когда-то и Сладкий остров был учреждением.

Курица далась в руки легко. «Ко-ко-ко»,— сказала она, и только, и мы посадили ее на насест в канцелярском кабинете. А петух начал носиться по острову, как ракета, резко меняя направления и заранее предугадывая все наши маневры. Никакие оцепления, никакие «котлы» не были для него в диковинку. Щуку в озере поймать было легче, чем его на суше. Когда мы прижимали его к изгороди или к стене дома, он проскальзывал мимо наших ног, когда брали в клещи в крапиве, куст крапивы вдруг взрывался, и петух с криком выносился из него вверх, на крышу.

— Это гениальный петух! — сказал про него Саша.— Правда, папа?

Миша пробовал пробиться к петушиному сердцу.

— Милый петух! Петенька! Мы же твои друзья, уступи, пожалуйста, тебе давно спать пора. Тебя курочка ждет. Комната отведена, насест приготовлен.

Петух не уступал.

— Все они, короли, такие, правда, мама? — сказал Саша и с деланным равнодушием вышел из игры.

— Он просто жить хочет,— заметил на это Миша.— Как ты этого не понимаешь?

— Ну да, я не понимаю. Ты все понимаешь...

Наконец от петуха отступились все. Мама заявила, что слыхала еще от бабушки, будто с заходом солнца куры перестают видеть, и тогда можно будет взять петуха запросто и водворить, куда следует.

Стали ждать захода солнца. Но когда закатилось солнце — петух исчез. Исчез бесследно. Вся семья снова была поднята на ноги и в течение получаса, не меньше, мы все, островитяне, обыскали каждый уголок родной земли: бурьяны, крапиву, ивняк, полусгнившие домовые пристройки, уцелевшие дровяные сарайчики, баню и предбанник — петуха нигде не было.

— Гениальный петух: дал мат в три хода! Не так ли, Миша? — попытался заключить старший брат.

Миша не ответил ему. Он размышлял вслух:

— Неужели петух мог решиться на такой перелет? Неужели он пересек озеро? Конечно, он птица, но он тяжелый. Что же он подумал про нас, если решился...

Миша был огорчен больше всех, что петух исчез. Это же был его петух.

Мама не верила, что петух мог куда-то улететь с острова, но и она огорчилась. Она уже начинала понимать, словно предчувствовала, что с утра придется ей опять чистить и варить рыбу.

Петуха нашел отец. Уже в сумерках.

— Я же старый охотник! — хвалился он, когда семья сбежалась на его крик и еще никто не знал, куда надо смотреть.— Я же бывалый охотник и вырос среди охотников. Сколько этих глухарей я за свою жизнь перебил. Вон где он, вон куда смотрите! — указал отец на березу, огромную и широкую, как дуб.

В сумерках сквозь ветви березы проглядывало не то небо, не то озеро — и вода и небо были одинаково розовыми. И на этом розовом фоне, в закатном огне отчетливо прорисовывался силуэт большой и гордой птицы с зубчатой короной на голове. Петух сам нашел свой насест — высокий и могучий сук.

— Глухарь, настоящий глухарь! — восхищался отец.— Эх, куда забрался! Ну, токуй, токуй!

Петух повернул голову и встревоженно подал голос. Им любовались, как дичью. Он украсил собою этот островок, это озеро, и вечернюю зарю, и эту березу, которая одна теперь сходила за глухую, населенную птицами и зверьем, нехоженую рощу.

— Если его сегодня не взять, завтра не поймаешь,— сказала мама.

— Возьми его. Как ты его возьмешь?

— Он же слепой, солнце уже село. Столкни сейчас — где упадет, тут и сядет и прижмется.

Нет, этот петух и в сумерках видел неплохо. Сбитый с березы длинным шестом, он долго еще носился по острову, пока не был водружен в канцелярию в принудительном порядке.

«Ко-ко-ко!» — ласково спросонья сказала курочка, когда он устроился наконец рядом с нею меж письменным столом и подоконником.

В эту ночь Миша спал мало. Должно быть, не раз заглядывал в соседнюю комнату к птицам. И проснулся он раньше птиц. Когда мать заворочалась в постели, он сказал ей:

— Такого петуха, мама, нельзя убивать. Лучше я рыбу буду есть, я без диеты поправлюсь. Правда, мама? И курочку надо ему оставить. А то как же он без курочки будет жить на свете?..

— Правда, сынок, спи!

И на заре петух запел свою тысяча первую песню.

4 августа 1960 г.

ЛУННЫЙ МОСТИК

Вечером сидел Миша на берегу озера. Днем озеро казалось совсем мелким, а сейчас в него заглянуло небо, и Миша увидел, что у озера, как у моря, дна нет.

Мише вдруг захотелось попасть на другой берег, где люди с песнями шли с работы, где коровы мычали, возвращаясь с выгона, и трудились грузовики с сеном. Но как попасть?

Тогда вышла на небо луна и перекинула перед Мишей светлый, будто тесовый, мостик.

— Беги, мальчик, не бойся, вот твоя дорожка с острова на Большую землю!

Веселее стало Мише, вскочил он, кинулся к берегу, чтобы перебежать через озеро по лунному мостику. Но за Мишу испугался ветерок, пожалел его, дунул из-за кустов и раскидал, разрушил лунный мостик.

— Не верь, мальчик, луне, возьми лучше лодку. Вон в камышах лодка стоит.

Послушался Миша, спустился к лодке, сел за весла и стал отталкиваться от берега. Но луна рассердилась и на ветер и на Мишу и торопливо скрылась за облака.

Было светло, как днем, стало темно, как в полночь. Скрылся из глаз большой берег, куда тянуло Мишу. Не стало видно ни земли, ни озера.

А ветерок опять шепнул Мише:

— Не спеши, Миша, подожди до утра. Утром солнце взойдет, и не будет страшно. Все успеешь, подожди до утра!

Заплакал Миша и вернулся домой.

Утром ему уже не захотелось на Большую землю.

1960

ЩУКА

За месяц до отъезда из Москвы папа начал готовиться к рыбной ловле, и у нас не стало денег. Зато появились спиннинг в чехле, удочки в чехлах, садок для рыбы, сачок, наборы всевозможных лесок, поливиниловых и хлоридных жилок, разных блесен, в том числе даже для зимнего подледного лова (это в июле-то!), глубокомер, разные грузила, поводки, карабинчики, колечки, коробочки — чего только там не было! Приобретены были и резиновые рыбацкие сапоги-бродни, с голенищами, которые подвязывались к ремню.

— Чем же я вас кормить буду? — говорила мать, обозревая все это снаряжение.

— На этот раз кормить буду вас я,— убежденно заявил отец.— Рыбой!

И вот началась ловля.

Уселся отец на берегу, разложил все свое хозяйство, опустил садок в воду, закинул удочки — нет рыбы. Посидел он с часок, свернул удочки, перенес все добро в лодку и выехал на середину озера, к тресте — так называют здесь озерную траву: хвощи, камыши. Слышал он, что где-то около травы на середине озера проходит каменная

гряда, на которой хорошо берет окунь. Облюбовав местечко, отец опустил якоря — кормовой и носовой (это были шестеренки от какой-то машины и обыкновенный кирпич). Закрепил лодку на месте и опять принялся за работу. Нет рыбы! Тогда он решил сменить червей: слыхал, что окунь любит красных червей. Вернулся отец на берег, разыскал глинистое место, накопал красных червей — загляденье, а не черви, один к одному! — и снова принялся за лов с неослабевающим азартом. Клюнуло. Вытащил несколько окуньков, каждый сантиметров на десять в длину, с трепетом опускал их в садок, но скоро заметил, что в садке окуньков нет. Оказалось, что ячейки садка таковы, что сквозь них легко проскальзывает и более крупная рыба.

Многое из закупленного отцом снаряжения рыболовецкого оказалось либо ненужным, либо непригодным. Но каждое утро он вставал на заре и снова отправлялся на рыбалку, как на службу.

— Плохо я сделал, что барометр с собой не взял,— сожалел он уже не в первый раз.— Вот посмотрел бы и знал, куда на сегодня садиться надо.

Отец от кого-то услышал, что рыба меняет места в зависимости от атмосферного давления: высокое давление — рыба стоит на мели, на солнцепеках; понижается давление — она уходит на глубину. Конечно, без барометра какая рыбалка! Да и крючки оказались неподходящими — и великоваты, и не остры, и цвет у них не тот. Вот если бы раздобыть где-нибудь крючки норвежские, или чехословацкие, или датские — вот это крючки! Для таких и наживка не обязательна. А есть еще крючки с искусственными червями — класс!

— Папа, возьми меня хоть раз! — попросился как-то Миша.

— Тебе же скучно будет.

— Я тоже удить буду.

— Клев плохой.

— Надо же мне учиться.

Удочка у Миши маленькая, полутораметровая, а у папы составная трехколенная и с катушкой; леска у Миши грубоватая, белая, поплавок простой пробковый, крючок мушечный, а у папы леска цвета воды, поплавок с колокольчиком. Червяков своих Миша положил в спичечную коробку, а у папы черви в мотыльнице с отверстиями на крышке.

Измерил папа глубину озера, закинул свой автомат, вытянул ноги в лодке, положил в рот мятную лепешку, сидит посасывает, на поплавок поглядывает, ждет — не клюнет ли. Нет, не клюет. Закинул Миша свою хворостинку у самой лодки, потянуло его поплавок — течением, что ли? — под лодку, потом лег поплавок набок, испугался Миша, не зацепило ли, дернул и потащил по воде что-то большое да тяжелое — и удочка дугой. Папа вскрикнул, схватился за сачок, и если бы не сачок, не поднять бы леща в лодку. А лещ оказался здоровый, золотистый, шириной в две Мишиных ладошки. (После взвесили — килограмм шестьсот граммов.) Миша визжит, папа чуть не плачет от радости.

— Как это я успел вовремя сачком подхватить. Если бы не я, нипочем бы тебе, сынок, леща не вытащить на такую удочку.

— Ой, спасибо тебе, папочка,— кричит Миша.— Сейчас я всех вас буду рыбой кормить.

Три дня после этого папа не брал с собой Мишу.

— Мешает он мне! — говорил он.

Мама подумала и сказала:

— Кажется, мы и недели здесь не проживем.

Но папа не сдался, не покинул острова раньше времени, страсть его не остыла, только оставил он удочки и взялся за спиннинг.

Ловля на спиннинг забрасыванием с берега и с лодки удачи не принесла, хотя были перепробованы на авось десятки блесен. Тогда отец решил использовать спиннинг в качестве дорожки. При этой ловле важно удачно выбрать блесну и установить наиболее подходящую скорость, с которой нужно тянуть эту блесну за лодкой, чтобы игра блесны напоминала игру рыбки. По-видимому, для каждой блесны скорости движения должны быть разные.

Поначалу отец сидел за веслами сам, и по этой причине, только по этой причине щуки не шли на блесну. Тогда он пригласил за весла старшего сына.

— Сколько полагается распускать лески? — спросил Саша.

— Я сам не знаю, сынок. Попробую побольше.

Спиннинговая катушка раскручивалась бесшумно и быстро, и почти все пятьдесят метров жилки скоро были спущены за борт. Результат сказался немедленно — щука попалась на дорожку. Это могла быть только щука — рывок был мощным, катушка, поставленная на тормоз, за-

трещала сильно и нервно и не перестала трещать, пока отец не взвыл: «Назад, назад!» — а Саша не дал задний ход. Весла скрипнули, вода забурлила, последние метры жилки размотались, удилище на мгновение выпрямилось, напряжение его ослабло, а потом дернуло снова, и оно опять пригнулось к воде.

Отец встал в лодке во весь рост.

— Наконец-то попалась! — торжествовал он.— Миленькая, не сорвись, миленькая, не сопротивляйся! Саша, греби назад, родненький, назад!

Лодка стала подвигаться в обратном направлении, жилка ослабла, и отец начал сматывать ее, то ускоряя, то замедляя вращение катушки.

— Только бы не сорвалась! — молил он.— Главное сейчас не натягивать сильно, чтобы щуке губу не порвать. Или за что она там зацепилась? Ведь бывает, что щука не берет блесну, а просто идет рядом с ней и играет, и якорек прихватывает ее. Бывает, даже за живот или за спину зацепит. В таком случае все решает мастерство спиннингиста. Вот опять дернула, вот потянула!..— переполошился он.— Только бы не сорвалась! Ну и щучка, я тебе скажу, сынок, ну и экземплярчик! Вот опять потянула. Греби сильней! Знать бы только, крепко ли она взялась?..

Отец, по-видимому, совершенно отчетливо представлял себе, как огромная щука хапнула блесну, с остервенением сжимая сверкающий металл в мощных челюстях, рвала и метала и подвигалась навстречу лодке, как стальная торпеда: вот-вот взорвется, что-то тогда будет... У него выступил пот на лбу, лицо его было испуганным — и, кажется, он не так боялся, что щука сорвется, как того, что ее, такую, придется в лодку поднимать.

— Главное, Сашенька, на сегодняшний день поймать хоть одну, а там пойдет. Начать важно, чтоб перспектива была, чтобы мама веру в нас не потеряла. Бросай весла, сынок, давай сачок!

Саша бросил весла, леска сразу натянулась, отец изогнулся и начал выбирать ее руками. Саша опустил сачок в воду и ждал. Ему тоже стало страшно. Наконец, у самого борта лодки из воды всплыла небольшая разлапистая елка, украшенная, словно новогодними игрушками, зелеными водорослями, ракушками, тиной.

— Вот,— выдохнул отец,— так я и знал, что это не щука. Непохоже было. Щука, она рвет, дергает, а елка,

понимаешь, просто тянет, тянет и цепляется, потому что лодка-то движется.

Саша тоже вздохнул с облегчением.

— Папа,— сказал он,— может быть, щука все-таки была? Просто она метнулась на дно и сорвалась, а потом уже блесна зацепилась за елку.

— Представь себе, я тоже так думаю, сынок. Все-таки щука была, и не маленькая. Даже очень большая, прямо тебе скажу. Всегда с крючка срывается только самая крупная рыба, спросите об этом любого рыбака. И хорошо, что мы поволновались, пережили все это, хоть и не поймали щуки. Мы ее тащили, вот что важно! Когда первая схватилась, второй взяться будет уже легче. Значит, блесна хорошая, и действовали мы правильно. Завтра начнем сначала.

На другой день они также с утра ходили с дорожкой целый день, но, кроме травы и коряг, ничего им озеро не дало. А вечером пошли за молоком и попутно, когда уже ничего не ждали, ни на что не надеялись, поймали двух щук. Это было началом. Оказывается, и впрямь, важно было начать.

Потом отец научился ловить рыбу и удочками. Мать едва успевала ее чистить.

— Теперь дней десять проживем наверняка,— говорила она.

Десять дней отец удил рыбу, не разгибаясь, с утра до ночи. Даже спать некогда было. А после десятидневного рыбного угара появились раки.

10 августа 1960 г.

РАКИ

Утром по прибрежью мимо нашего дома пробрела группа деревенских ребятишек, напомнившая нам рыболовов с картины Перова. В мелкой воде ребята переворачивали камни, коряги, ощупывали руками всякие углубления в береге и время от времени что-то клали в ведро. Что?

Мы — к ним, к ведру:

— Что у вас?

А у них полведра раков.

— Значит, здесь и раки есть?

— Сколько пожелаете,— важно, по-взрослому сказал один из раколовов.

— Вот как, значит, их ловят!

— Да, вот так, значит, их и ловят!

— А вы любите есть раков?

— Кто же их ест? Мы их для наживки,— окуни хорошо берут.

— Здорово! Но почему же мы тут живем, а раков не видим?

— Смотреть надо уметь!

Ребятишки ушли, а мы снарядили целую экспедицию и двинулись по отмели вокруг острова раков ловить. Вместо ведра взяли с собой садок, купленный в Москве в магазине «Спортсмен-рыболов» и предназначенный для рыбы, но для рыбы-то и непригодный из-за того, что у него слишком крупные ячейки — рыба чуть поменьше ста граммов из него просто вываливалась.

Но раков нигде не было. Мы их не видели. Мы привыкли видеть раков красных, а живые они были не красные.

Первого живого рака в воде увидела мать спустя несколько дней после этого.

— Я счастливая,— хвалилась она,— мне во всем везет.

Рак вылез из-под мостков, из груды камней, когда мать чистила свежую рыбу. Он был нетороплив и осмотрителен — вылез и пополз к рыбным остаткам, пополз нормально, вперед, а не назад. Мать ахнула от неожиданности, и он, видимо, заметил ее. Его хвост, знаменитая раковая шейка, вдруг быстро-быстро заработал, загребая воду под себя, клешни вытянулись, и рак поплыл, поплыл на этот раз назад, а не вперед и быстро, как рыба, и мгновенно очутился у самого берега. Теперь его ничего не стоило взять. Но как взять? Чем взять?

На истошный крик матери: «Рак, рак!» — мы сбежались все, как если бы она закричала: «Волк, волк!»

Чем взять рака? Руками? Эге! Дураков нет, он живой! И пока мы гадали, мудрили, пока нашли сачок — рак исчез, уплыл от берега так же быстро, как рыба. Не такой уж он неуклюжий.

Но после этого случая мы стали видеть раков в воде: оказывается, очень важно было разглядеть первого. Потом от них уже отбою не было. Они попадались даже на удочку, когда мы ловили окуней на кусочки плотвы.

Схватит рак наживку, клешнями поведет, ну, думаешь, сейчас вытянешь из воды какую-то большую рыбу, а это рак, только рак.

Ловлей раков мы увлеклись на несколько дней. О выезде со Сладкого острова опять и думать было нечего. Тревожило только то, что в Москве остались дочери, жалко было, что их нет с нами. Уж мы бы их поподчевали ухой, придумали бы путешествия и по Новозеру и по Андозеру, угостили бы их раками!.. А главное, некуда было бы нам торопиться — вся семья в сборе. Оттого и торопятся домой, что там кто-нибудь ждет... кто-то остался.

По утрам мы заглядывали сначала под лодки, перетаскивали их с места на место и собирали раков под ними. Пользовались сачком. Но понемногу стали привыкать брать их руками. Это оказалось не так просто: надо было преодолеть условный страх перед ними. Рак пугал, поднимая свои клешни, и нападал. Но щипки его были слабыми: ухватится он за палец, его и вытащишь. Попробуйте!

Самым бесстрашным из нас оказался младший Миша, на него условные рефлексы пока не действовали. Он только удивлялся, что живые раки оказались очень мягкими и что они умели быстро плавать.

— Это они скорости переключают! — пояснял ему Саша.— У каждого, видно, есть коробочка скоростей, как у машины.

Раков мальчики научились есть быстро, как семечки лущить.

9 августа 1960 г.

МОРЯКОМ БУДЕШЬ!

Лодки на Сладком острове — единственно пригодный и всеобъемлющий транспорт, на все случаи жизни. Ни машина, ни лошадь здесь не пригодны. Нет лодки — вы отрезаны от всего мира. Лодка является и орудием и средством производства.

На лодке мы добывали себе пищу: ездили за молоком на соседний островок Шиднем, за хлебом и прочими продуктами в Карлипки, на лодке ловили рыбу и просто катались, отдыхали.

Обычно за веслами сидел отец, старший сын на корме — либо с рулевым веслом, либо со спиннингом, который мы просто использовали в качестве дорожки; мать и Миша — на положении пассажиров и указчиков. Так как все лодки, находившиеся в нашем ведении, безбожно протекали, то либо мать, либо Саша постоянно на ходу вычерпывали воду. Для этого в одной лодке была банная деревянная шайка, в другой ржавое дырявое ведро, в третьей — белый ковш из дюраля без ручки.

По мере того как мальчишки привыкали к воде и взрослели, им разрешалось все чаще садиться за весла. Миша тоже научился грести — уже по одному этому Сладкий остров должен запомниться ему на всю жизнь. Но Мише этого было мало. Он хотел, чтобы ему разрешили выходить на озеро одному без сопровождения, без указчиков.

И ему разрешили наконец. Для этого случая выбран был очень ясный, очень тихий день. Только Новозеро отличается в этом отношении удивительным непостоянством. Ветер налетает здесь сразу, словно выжидает удобного случая где-то на берегу в лесной полосе. Налетает — и поднимаются на озере сразу не волны, а валы с гребешками, летит пена, свистят камыши. Говорят, такой же дурной характер и у Белого озера. Только оно еще дурнее. На Белом озере ни одного года не обходится без жертв среди рыбаков.

Весь наш остров продувается насквозь, так же как просвечивается, и кажется, пронесется ветер с одного берега на противоположный и — конец шуму. Опять озеро становится таким же, как было — спокойным, углубленным в себя, сосредоточенным. Но за эти несколько минут шурум-бурума оно может наделать беды. Особенно если лодка мала.

А у Миши лодка была небольшая и полусгнившая, к тому же Миша сразу захотел, конечно, похвастаться:

— Саша, смотри, куда я поеду, на каменную гряду!

Направил Миша лодку к каменной гряде, к камышам на середине озера, а ветер тут как тут — вылетел из-за укрытия и давай шуровать. Зашумели волны, вздыбилась пена, как в прачечной, в корыте, летят хлопья в лодку. Испугался Миша.

А на берегу — мать. Не успела толком подумать, как быть, переполошилась и завопила:

— Миша, назад! Миша, утонешь! О, господи, и отца нет. Где отец?.. Миша, утонешь!

Услышал Миша крик матери, испугался еще больше. Разворачивает лодку к берегу, а ее захлестывает волной, справиться силы не хватает. Заплакал Миша и оттого еще больше ослаб, весла из рук вываливаются, совсем мочи не стало. «Утонешь!» — звучит в ушах вопль матери. А тонуть ему не хочется, хочется в Москву вернуться, он еще и в школе не учился. Брызги водяные и слезы слепят глаза.

И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в эту минуту не появился на берегу отец.

Сложил отец руки рупором и закричал, будто ничего не случилось:

— Правильно, сынок, гребешь, хорошо гребешь! Ничего не бойся, ты теперь станешь настоящим моряком. Слушай меня! Держи лодку носом к волне, к берегу не поворачивай. Против волны греби. Не спеши. Ударь левым веслом, еще раз левым. Молодец, сынок, хорошо! Правильно гребешь!

Кричит отец, а сам вторую лодку с берега толкает. Стал Миша налегать на левое весло, перестали волны бить в борт лодки, и он успокоился.

— Я не боюсь, папа, ты не волнуйся, я сейчас! — закричал он.

Успокоился Миша, и озеро успокоилось, ветер стих, волны спали. И Миша благополучно причалил к берегу. Мать кинулась обнимать его, а отец только руку по-мужски пожал:

— Молодец, сынок, моряком будешь!

1 августа 1960 г.
Мичуринец

КРАПИВНОЕ СЕМЯ

Недобрых людей в народе называют крапивным семенем. Немало на свете и самой крапивы.

Вокруг нашего дома крапива разрослась густыми большими кустами. Высокая, жирная, ядовитая, она не дает никому проходу. Я говорю сейчас о крапиве настоящей, подлинной, о крапиве в прямом, а не в переносном смысле. Молодую, ее можно еще использовать для щей, а разрастется, загрубеет, не выполешь вовремя — тогда

беда с ней. Берет верх, наступает, теснит, наглая, жжет, житья не дает.

Каково же семя у этой, у настоящей крапивы? Кто его видал — это крапивное семя? Как оно растет, откуда берется? Хоть бы из интересу взглянуть на него. А попробуй взгляни! Как его возьмешь — жжется крапива. Пропадает у людей всякий интерес к крапивному семени. «Лучше не связываться!» — говорят. Сторонятся. И растет крапива рядом с жильем человеческим, на самых обжитых местах, на самых тучных землях — под окнами изб, вдоль заборов и стен, на приусадебных участках,— растет на глазах у всех. Где люди, там и крапива. Растет и жжется.

А этим летом одолели нас еще комары. Погода стояла дивная весь июль — только бы радоваться ей, снять с себя всю лишнюю одежонку, загорать по целым дням с книжкой в руках, спать на открытом воздухе. А попробуй позагорай, когда вместе с хорошей погодой появились сонмища оводов. Попробуй поспи на воздухе, когда с сумерек, неизвестно откуда взявшись, налетают полчища комаров, как исчадия ада, как тьма тмутараканская, и всю ночь бесчинствуют, жалят, нудят неторопливо, лезут в нос, в глаза, в рот, в уши. Они изводят, выматывают все силы, а слабого, да еще городского, не привыкшего с детства к такому комариному глумлению над человеком, они могут довести до истерики.

Перед сном мы топили плиту и наполняли всю квартиру дымом и нередко спали в дыму, потому что открывать окна для проветривания или снимать с них марлю боялись. Вдобавок мы натирались кремом «Тайга» — от чего он помогает, мы так и не смогли понять, только не от комаров, и еще старались на ночь одеться так, чтобы открыт был один нос. Но, кажется, ничего по-настоящему не помогало. Комары грызли нас.

Было лишь одно радикальное средство против них: усталость. Усталость до смерти, до отупения, до апатии, до полного равнодушия ко всему окружающему. При такой усталости,— а уставали мы в основном на рыбалке,— чувствуешь комариные укусы, только пока падаешь в сено.

— А, проклятые! Крапивное семя!— скажешь, бывало, добравшись до постели.— Ешьте! Все равно придет и на вас погибель. Время свое возьмет. И вас прихватит морозом, осень не за горами.

Скажешь — и уснешь до утра.

А утром пригреет солнце, и комары исчезают. Куда? Да куда бы ни исчезли, только бы исчезли,— вероятно, туда, откуда и появились. Не хватает еще, чтобы мы этим интересовались. Обидно только, что ни дожди, ни ветры не могут с ними покончить раз и навсегда.

Если бы не случай, так ничего и не узнали бы мы ни о комарах, ни о крапивном семени.

Как-то поздно вечером мы поленились или не успели почистить рыбу, и мать положила ее на ночь в крапиву. Утром за ней пришел Саша и взвыл.

— Там пчелы, рой! — закричал он.

А потом:

— Это комары! Сколько же их тут! Вот оно, крапивное семя!

Взяли мы палки и пошли вокруг дома по крапивным местам. Ударишь палкой по кусту — действительно комары. Ударишь по другому — больше того. Но только в тени. На солнце днем комары не хоронятся, как, впрочем, всякая нечисть.

Так вот ты какое, крапивное семя!

Разыскали мы косу и скосили всю крипиву вокруг дома. Честное слово, легче жить стало. Только надолго ли? Разве всю нечисть можно извести? Только и надежды что на время — оно должно взять свое.

13 августа 1960 г.
Мичуринец

СУДАРЕВА ЛОДКА

Был один день, бедственный для Сладкого острова. Казалось, все рушится, вся его прелесть исчезает навсегда. Шестнадцатого июля вслед за ленинградским полковником с семьей приехали вологодские литературные деятели — два поэта, редактор комсомольской газеты с семьей и директор областного издательства с семьей же — итого человек десять — пятнадцать. Ну, можно сматывать удочки — не будет ни рыбы, ни поэзии!

Но редактор газеты скоро уехал, потому что газету все-таки выпускать надо; полковник отправился добирать свой туристский маршрут, строго вычерченный на военно-топографической карте; самый юный из поэтов,

Васенька, жаждал быть на людях, и только на людях, так сказать, в гуще борьбы, где «страсти роковые и от судеб защиты нет»; сыновья издателя подняли бунт против своего папы и сбежали в областной центр, потому что здесь не было ни футбольных ристалищ, ни джазового ерничества. За ними вскоре выехал и сам издатель с женой.

Остался с нами один поэт, настолько же неторопливый и мудрый, насколько немолодой. Он видел в жизни немало всяких роковых перемен, прошел, как говорится, огни и воды и знал цену одиночеству. Писал ли он что-нибудь, неизвестно,— в его положении редко кто пишет, и это, наверно, к лучшему. Он стал работать.

С соседнего, с Красного острова он привел заброшенную лодку и начал ее ремонтировать. Топор был. Пила была — старая, ржавая, но пила. Были спички, чтобы разводить костер. Ну, и конечно, перочинный нож. Больше ничего не было. А требовалось многое: гвозди разных размеров, пакля, чтобы проконопатить лодку, битум или вар, чтобы замазать щели, запломбировать их, котел, чтобы варить битум, какой-нибудь черпачок для разлива смолистого варева. Как известно, даже Робинзон имел далеко не все, чтобы начать жить и работать на необитаемом острове, но все-таки имел гораздо больше, чем наш поэт.

Но главное, что необходимо было иметь для ремонта лодки — самое лодку. Ее-то, как выяснилось после, у поэта и не оказалось. Но он усердно взялся за работу. На то он и был поэт, а не Робинзон Крузо.

Ранним утром поэт выходил из своего особнячка, крылечко которого напоминало предбанник, и, осмотревшись и потянувшись, скрывался за камышами. Нос у него обгорел и лупился. Вскоре его голова без единого всплеска отплывала от берега и повертывалась на воде, как на широкой тарелке. Ни одной волны, ни круга, ни даже ряби! Это было удивительно, потому что даже водомерки, скользящие по озеру, даже мотыльки, упавшие на его зеркальную гладь, и те оставляли за собой какой-то след, пусть мгновенный, незначительный... Поэт не оставлял после себя никакого следа, он не плыл, не порхал, а между тем продвигался вперед, вроде одноклетчатого существа.

Он переливался, как амеба.

О том, что поэт не фыркал, не сопел, не отдувался —

и говорить было нечего. На поверхности озера не было ничего, кроме живой, бесшумно моргающей и бесшумно передвигающейся головы. Сделав небольшой круг, голова возвращалась к камышам и исчезала. А через пять — десять минут оттуда снова выходил поэт, неторопливый, спокойный и просветленный. Кожа на его красном носу лупилась еще больше.

Чем и когда и как питался поэт — одному богу известно. Рыбы не ловил, ягод не собирал, ни корней, ни червей из земли не выкапывал. Но он не худел и всегда был благостен и доволен собой, значит, какую-то пищу употреблял, кроме духовной.

Работал поэт с упоением, но не спеша. Нельзя было сказать, что у него сам топор вот так и ходит, так и тычет долото. Костер не потухал целый день. К костру поэт тащил все, что удавалось найти на острове и в воде. Так, в мусорной яме он обнаружил чугун с отбитыми краями, который заменил ему котел. Паклю натаскал из пазов домика, в котором жил. На подоконниках между летними и зимними рамами буграми лежала вата — он и ее использовал как паклю. Гвозди вытаскивал отовсюду, где находил их, даже из собственной табуретки, из-за чего та в конце концов развалилась. Из воды был извлечен ржавый металлический прут, им поэт пользовался как паяльником, когда заделывал битумом щели в лодке: прижмет кусочек битума к борту лодки и растапливает его каленым прутом.

Похоже, что эта работа давно была знакома поэту. Мы восхищались методичностью, с какой он проделывал одно и то же по нескольку раз, пока не добивался какого-то результата. Восхищались его терпеливостью и упорством.

— Труд на пользу! — сказал я как-то, подходя к костру.

— Спасибо. Но будет ли польза, еще неизвестно. О какой вы пользе говорите?

— О лодке. Спу́стите лодку на воду, и она будет служить вам.

— Я на днях уезжаю. Вероятно, не успею закончить.

— А вы закончите. Другие сядут в лодку — о вас добром вспомнят. Вот и памятник нерукотворный.

— Зачем мне памятник? Сам труд доставляет удовольствие. Я о пользе не думаю. Просто работаю, и все тут.

Самым трудным для него было установить уключины, старые поржавели и погнулись. Поэт отыскал на поваленном и полусгнившем телеграфном столбе два крюка с изоляторами. Изоляторы разбил, крюки раскалил на костре и выпрямил. «Кузнец, настоящий кузнец!» — восхищались мы. Один борт лодки треснул, когда поэт забивал уключины, но это было уже не так страшно. К вечеру все было склеено.

Два дня ушло на то, чтобы вытесать весла. Для весел поэт снял с крыши своего дома две тесины. «Столяр, настоящий столяр-краснодеревщик!» — восхищались мы.

Накануне отъезда с острова поэт заявил, что работу он все-таки успел закончить. Правда, сказал он об этом без воодушевления. А мы восхитились еще больше: дескать, для него это обычное дело. Старый мастер! Золотые руки!

Торжественно проводив поэта, всячески славя и превознося его, мы решили опробовать творение его рук и ума. Сели в лодку трое, налегли на весла, выехали на середину озера и... нахлебались воды. Гнилая лодка развалилась. Ненужная бессмысленная работа! Неужели он так и стихи пишет? Для чего, для кого?

1 сентября 1960 г.
Мичуринец

НОВАЯ СЧИТАЛКА

Мы с Мишей играли на берегу Новозера в прятки. Пользовались считалкой про зайчиков.

Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет.
Ай-ай,
Ой-ой,
Умирает зайчик мой!

— Жалко! — сказал Миша.
— Кого?
— Зайчика.

И мы с Мишей решили тут же пересочинить детскую считалку так, чтобы зайчик не умирал.

Предлагаем нашим друзьям новый, оптимистический вариант старой считалки:

Раз, два, три, четыре, пять.
Вышел зайчик погулять.
Кто-то в зайчика стреляет —
Он бежит, не умирает,
Не желает умирать.
Раз, два, три, четыре, пять.

Миша несокрушимо верил в силу слова.

— Теперь зайчиков в лесу будет много! — сказал он.

— Оптимистическая считалка!

— Что это такое, оптимистическая? Я просто зайчика пожалел. А так, конечно, охотник его все равно убьет.

1962

КАМЕННАЯ ГРЯДА

Всю жизнь ищет каждый свою каменную гряду, каменную гряду жизни. Не всякий ее находит.

Умелый выбор места для ужения — едва ли не самое главное в мастерстве рыболова. Отец обычно уезжал в камыши к соседним островам, либо на середину озера, где также торчала трава из воды, либо на противоположный берег.

Кто-то сказал, что посередине озера проходит каменная гряда, называли ее даже окуневой. Но где она — никто не открывал. Отец искал ее настойчиво, он готов был промерить шестом все озеро вдоль и поперек, но где взять шест такой длины? И что это за гряда такая — каменная, окуневая? Вероятно, не зря люди секретничают, скрывают ее? Нападешь на гряду — вернешься с ведром пятисотграммовых окуней. А то и по килограмму красноперых наберешь. Вот что такое гряда! Вот где душу бы отвести! В надежде на такую удачу можно бродить по озеру целый день и забираться в отдаленные уголки за два-три километра.

И отец бродил далеко. С утра он исчезал, и мы не видели его по целому дню.

А однажды к нашему дому подошли другие рыбаки, колхозники с неводом. И за несколько минут поймали у нас под носом, прямо у мостков, где мать обычно белье стирала, несколько пудов лещей и щук. Закинули они невод с лодки, полукругом, один конец на берегу и другой подве-

ли к берегу, а потом все вышли из лодки и стали вытягивать невод на берег за оба конца. Невод — это длинная однорядная сеть мелкой вязки с кошелем посередине. По низу сети подшиты грузила — во всю длину холщовая кишка, набитая песком, а чтобы верхняя часть невода не тонула, она оснащена поплавками — деревянными пластинками и берестяными трубочками.

Я не назвал бы прогрессивным способ ловли рыбы неводом, но зато он добычлив: несколько заметов, и весь колхоз обеспечен. И времени на это уходит немного. А в горячую пору сенокоса время все же ценится.

Как горевал отец! Волос па себе, конечно, он не рвал, но неистовствовал в полную силу и заново пересматривал всю свою жизнь.

— Вот,— говорил он,— всю жизнь так. Все куда-то рвешься, бежишь, летишь, а на поверку выходит, никуда лететь не надо. Недаром сказано: не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Неисповедимы пути наши. Темна вода во омутах. Хочешь больше — ничего не получаешь. Не жадничаешь — и жить легче, и удачи —вот они! В детстве так же бывало: спешишь за грибами, за ягодами в Лубники, в Городцы, в даль несусветную, там, дескать, всего много, а какая-нибудь бабка костыляет около деревни, около твоего же дома и — что тебе грибов, что ягод! Ну не обидно ли: всю рыбу забрали у нас под носом, у нас на глазах. Нашу рыбу! Можно сказать, собственную, домашнюю нашу! Даже не выловили, а выгребли, будто из аквариума вычерпали. Только представить себе, что около нас все дно теперь пустое, голое. Даже раков подмели всех до одного, даже ракушки на дне не осталось ни единой. На этом берегу и жить теперь неинтересно. Переселяться надо куда-нибудь.

Неводом, впрямь, выгребли все живое, что оказалось в этот час на дне вблизи нашего берега. В илистой грязи, в тине, вместе с крупными рыбами барахтались раки, бились десятисантиметровые окуньки и подъязки, плотва и ершики — всякая мелочь и молодь. Полупудовые щуки в этом черном месиве выглядели как огромные плахи на паровозном тендере.

А рыбаки были недовольны.

— Откуда столько грязи взялось? — ворчал то один, то другой.— Совсем недавно чистое дно было. Видно, ветер нагнал. Вся рыба ушла под невод с этой грязью.

— Как вся рыба? А это что?

— Ну какая это рыба, пуд-два, не больше.

Отец нервничал целый день, ночью плохо спал, обижался на самого себя. А утром снова отплыл с удочками в какой-то кривоколенный озерной переулок.

Саша и Миша никуда не пошли и не поехали, а с разрешения матери привязали свою лодочку к траве метрах в трех от берега, как раз там, где вчера колхозники зачистили все дно неводом, и начали таскать лещей, точно таких же, какие в невод попали. И Саша решил:

— Как быстро рыба растет. За одну ночь и — лещи!

7 сентября 1960 г.

МАМИНЫ СКАЗКИ

(Утро)

Миша лег в постель и просит:

— Мама, расскажи сказку!

— Но сейчас поздно,— отбивается мать.— Все сказки на покой ушли, в камыши спрятались.

— Как это? — удивляется Миша.— Разве они птицы или рыбы?

Миша удивляется притворно, он только делает вид, что всему верит на слово, а на самом деле он все понимает.

— Как это сказки спрятались? — переспрашивает он.

— А вот так. Встань завтра пораньше, выйди на берег и, может быть, увидишь, как сказки начнут из камышей выплывать. Может быть, они и тебе покажутся. Только пораньше встать надо, засыпай скорее.

— Хитрая ты, мама! — говорит Миша, все понимая.

Но поутру он поднялся раньше всех и, наскоро одевшись, вышел к озеру. Ноги сразу стали мокрыми, влажный холодок проник под рубашку, на руках выше локтей появились гусиные пупырышки. Небо чуть-чуть порозовело, но сзади острова, за спиной Миши, поэтому казалось, что утро еще не наступило. Миша спрятался за кустиком напротив камышей и стал ждать.

Долго ничего не происходило. Густой белый туман над озером побелел еще больше и начал медленно передвигаться. Вдали за озером объявились верхушки деревьев, только верхушки, до этого лес не был виден совсем. Говорят, что утром туман поднимается. Как же он поднимается, если из тумана сначала показались верхушки ле-

са?.. Значит, туман не поднимается, а опускается, уходит в воду. «Хитрые!» — думает Миша.

Крякнула утка в камышах. Очень интересно крякнула, громко. Еще раз крякнула. Может, она не в камышах, а где-нибудь на чистом месте, только из-за тумана ничего не видно, и кажется, что она в камышах. Утром каждый звук далеко-далеко слышно. Опять крякнула утка. Как-то странно она все-таки крякает... «Не обманешь! — говорит про себя Миша.— Это самая настоящая утка, а никакая не сказка!»

Почти у самого берега плавают круглые листья, словно зеленые тарелочки, и между ними белые твердые цветы. Это водяные лилии, их очень много. Одни совсем распустились, а есть такие, что как маленькие зеленые горшочки с трещинками. А в горшочках белое молоко.

Лилий становилось все больше, они видны уже за камышами, потому что туман уходит в воду. Утром цветы, наверно, холодные и хрупкие. Миша вспоминает, что лягушка-царевна со стрелой во рту сидела вот около таких лилий. А где это он ее видел и когда? Но видел же ведь, точно, без обмана.

Миша почти не дышит и внимательно вглядывается в чашечки цветов на озерной глади. Тихо-то как! И вдруг из воды, прямо из воды, на глазах у Миши вылезает из воды новый цветок и развертывает во всю ширину свои лепестки. Да нет, Мише это не показалось! Так вот прямо взял да и развернулся целый белый цветок, хоть кричи. Это же удивительно! Это же здорово!

Но Миша не закричал и даже не пошевелился. И правильно сделал. А вдруг это не цветок вовсе? Вдруг это и есть сказка, самая настоящая? Скрывалась всю ночь под водой, а когда пришло время, когда посветлело да потеплело, она и появилась и развернулась. Ух, ты!

Потом из камышей выплыла утка. Нарядная, разноцветная и большая. Очень большая. И глаза у нее черные, блестящие, как пришитые круглые пуговки. Миша никогда не видал дикую утку так близко. Только вот в чем дело: если бы утка была далеко, то, конечно, это была бы утка,— понятно. Дикие утки все боязливые, дикие. Но эта совсем рядышком, ну просто невозможно как близко. Разве могут настоящие утки подплывать к человеку так близко? Не могут — в этом все дело. Это же сказка! Видно, мама не обманывала его. Хитрая! Конечно же, это и есть сказка, да еще с серыми утятами,— вот они!

Утята, серые комочки, выкатились из камышового тростника, как из глухой таежной трущобы, и заскользили вокруг своей матери, брызгаясь и попискивая. Они были очень похожи на куриных цыплят, только сказочные и катышками катались не по земле, а по воде.

Теперь Миша уже во все мог поверить. Он сидел как завороженный, как зачарованный, и ждал: что же будет дальше? А дальше было вот что: утка исчезла, утята исчезли, и на воде появилась змея. Это была третья сказка. Черный уж плыл по озеру, извиваясь, тела его не было видно, над водой торчала одна черная голова, но почему-то само собой разумелось, что и сам он весь черный. Черный змей плыл по воде, а след за собой оставлял красный, почти кровавый, и Мише стало страшно. Но когда он обернулся, словно хотел найти защиту, то увидел, что с другой стороны острова всходит красное солнце и потому все вокруг становится розовым и красным. Зеленые листья на деревьях побагровели, будто осенью; травяной луг покрылся цветами, на оконных стеклах заиграли отсветы огня, словно в каждой избе затопилась печь. Лодка, стоявшая у мостков, с веслами, опущенными в воду, вдруг стала прозрачной, и вокруг нее заиграли солнечные зайчики. Порозовели даже камышинки на воде, и в этих густых розовых зарослях запела птичка. Вероятно, это была птичка, кто же еще?.. Но какая?.. А черный змей уж доплыл до берега и пропал. Все как в сказке. Начинался день.

Миша встал на ноги. Начинался день, и он хотел идти домой. Наверно, мама заждалась его, волнуется. Не может быть, чтобы она не заметила, когда он уходил из дому. Но в это время на озере кто-громко чмокнул. Миша замер. Опять кто-то чмокнул — смачно, влажно. Целуются? Нет. Скорее, кто-то чавкает. Все как в сказке. И поет, поет птичка в камышах.

Чавканье продолжалось. Миша стал догадываться, что под зелеными тарелочками лилий рыба ловит ртом воздух. А может быть, это не рыба? Как же не рыба, если ее даже видно? И зеленые тарелочки вздрагивают и покачиваются после каждого поцелуя.

А здорово было бы, думает Миша, если бы сейчас вдруг приплыла к нему щука и спросила: «Чего тебе надобно, Миша?» А он бы ей: «По щучьему веленью, по моему хотенью...» Вот бы все ребята удивились! И девочки тоже! И мама бы с ума сошла! И папа бы... И Сашка...

— По щучьему веленью, по моему хотенью,— шепчет Миша,— чего бы мне такого пожелать?

Огромная щука подплыла к самому берегу, и Миша ее увидел, но у нее была такая пасть, что ни с каким делом обращаться к ней он не захотел. Это была не та щука, это щука была из страшной сказки.

— Миша! Где ты? — звала его мать.— Не заснул ли где-нибудь?

Нет, Миша не заснул. Разве можно было бы столько всего увидеть и услышать, если бы он заснул?

— Иду, мама! — крикнул он, и сразу все сказки исчезли, и страшная щука уплыла от берега. Только невидимая птичка все пела и пела в камышах, хорошо пела. Она так и не показалась Мише. Наверно, это была самая интересная сказка.

28 сентября 1960 г.
Сладкий остров

ГРИБНЫЕ ШАШЛЫКИ

На Сладком острове наша хозяйка с утра до вечера чистила свежую рыбу. Бывало, только управится с одной порцией окуней — мы несем вторую, больше первой. Разделает щук — мы ей подбрасываем лещей да налимов. Исколола она себе руки и наконец взмолилась:

— Не могу больше, дайте передохнуть!

Особенно трудно было хозяйке с заготовкой рыбы впрок: для засолки не хватало посуды, а сушить на плите, без всяких приспособлений — муторное дело, плита раскалена, рыба на ней не сохнет, а горит. Разумеется, мы не перестали ловить рыбу, а в ответ на ее мольбы и почти истерические слезы взяли удочки и снова ушли на озеро.

Не управлялась наша хозяйка с рыбой.

То же самое получилось и с грибами. В грибную пору мы почти перестали спать. От жилья до ближайшего леска не больше половины километра, и обычно нам еле хватало этого расстояния, чтобы протереть глаза да прожевать утренние бутерброды.

Кто знает, как возникает, с чего начинается страсть. Первое время мы охотились только за белыми да за рыжиками и возвращались домой с полупустыми корзинами. Терпения и настойчивости было с избытком, умение накапливалось с каждым выходом, но корзины не станови-

лись полнее. В чем дело? Неужели грибы в лесу перевелись? Мы изощрялись, лазили в самые густые кусты, куда не забирался ни один грибник, обследовали придорожные канавы, не брезговали уже ни сыроежками, ни волнушками, не отказывались от любых корней. Но все-таки грибов находили мало. Их стало много, когда мы узнали, что в лесу на каждые два десятка съедобных грибов приходится не больше одной поганки. Значит, мы топчем культурные грибы только потому, что не знаем их.

В здешних местах все неизвестные грибы называются собачьи губы. Их даже в руки брать брезгуют. Зато подберезовики называют здесь обабками, подосиновики — красными грибами, боровые рыжики — бабаухами, волнушки — вовденицами. А собачьими губами оказались и вкуснейшие опята всех видов, и удивительные сочные чушки, или свинушки, или дуньки — где как их назовут, и белые, как грузди, ореховики, и, конечно, лисички, сморчки, чернушки... О грибной лапше, о трюфелях и говорить не приходится, здесь о них просто не слыхали.

А мы вычитали из книжек, что даже мухоморы многие вполне пригодны для пищи. Вот когда лес заговорил с нами и открыл нам свои кладовые. Чем больше узнавали мы грибов, тем полнее становились наши корзины и ненасытнее страсть. Теперь радостям нашим не было конца.

Не радовалась только наша хозяйка.

Первая ее работа была — выкидывать из наших корзин все собачьи губы. Делалось это втайне от нас. При этом она хвалила нас за хороший улов. Затем она сортировала остатки нашей добычи, раскладывая ее на три кучки: для соленья, для варенья, для сушенья. Солить было почти нечего, так как рыжиков мы приносили незначительное количество, а груздей вообще не находили. На варево шли старые подберезовики и подосиновики, огромные и рваные, как ошметки, как лапотные обноски, да изредка белые царские грибы, похожие на заплесневевшие пироги-колобаны. Зато сушить было что. Но как сушить, где сушить? И начались мученья, как с рыбой.

Хорошо тем, у кого есть широченная русская печь, за широким челом которой, на поду, как на мощеном дворе, может развернуться любая телега. А если вместо пекарки в доме только плита, а в городском доме и плита не дровяная, а газовая, тогда как быть?

У нас плита дровяная. Пока ее топишь, она раскаля-

ется докрасна, закроешь трубу — с полчаса еще не остывает, а через полчаса хоть снова топи, в духовке даже заварка чая в фарфоровом чайнике через полчаса становится теплой, как помои.

Хозяйка поначалу раскладывала грибные шляпки прямо на чугунную доску плиты. Они мгновенно пускали сок, пузырились, закипали и не сохли, а варились. После этого она попробовала нанизывать грибы на нитки и развешивать их над жарко топящейся печкой. Работы было много, а толку мало, потому что требовалось, чтобы печка топилась беспрерывно день за днем. К тому же нитки то и дело обрывались. Тогда хозяйка раздобыла камышовой соломы и, застлав ею внутренность духовки, раскладывала грибы на камыше. Получалось неплохо, но велик ли под у плиты? На нем умещалось самое большое десять хороших шляпок и столько же корешков в промежутках. Забраковав и этот способ, хозяйка стала в тупик: требовалось что-то придумать новое, а что? На солнышке, что ли, развешивать грибные цепочки? Так ведь осень, когда его, солнышка, дождешься, да и выглянет оно либо нет? А может, просто под навесом, на воздухе попробовать? Заготовляет же белка грибы на зиму и сушит их на воздухе, в том же лесу... Нанизывает она по грибочку на сучок и — ничего, получается. Накалывает на сучок по грибочку... Накалывает...

Мало-помалу хозяйка нашла способ сушить грибы, вышла из положения. Она стала накалывать грибы на лучинки, как шашлык на палочки, и раскладывать эти палочки в духовке на боковых ее выступах, предназначенных для противня. Грибы просыхали быстро и хорошо, не подгорая, не теряя соков. Мы так и назвали палочки «грибными шашлыками».

— Может быть, и лучку добавлять надо между белыми шляпками, по нескольку кружочков? — спросил кто-то однажды.— Чтобы уж шашлык так шашлык!

Хозяйка неожиданно для всех вытащила вдруг такое, что мы даже засмеяться не смогли от удивления,— такое вытащила, будто всю свою жизнь занималась искусствоведением, а не грибами, не рыбой.

— С лучком — это уже декадентство! — сказала она.

Вот ведь что делается на белом свете, совсем сравнялась деревня с городом.

Грибные шашлыки выручили нас всех. Теперь мы, не боясь ничьей воркотни и унизительного недоброжелатель-

ства, могли по целым дням собирать грибы, а хозяйка обрабатывала их быстро и надежно, даже с охотой. Видно, шашлыки готовить все же интереснее, чем просто грибы сушить.

Записал я сейчас эту историю и задумался: а для чего, собственно, я ее записал? Мелко, непроблемно и вряд ли высокохудожественно. Правда, реализм налицо, но, может быть, это уже не реализм, а ползучий натурализм, и, стало быть, ничего, кроме вреда, от него ждать нечего. Скажет кто-нибудь, будто я, вместо того чтобы заниматься своим кровным делом, служить народу, составляю заметки для поваренной книги. Для чего все это?

А может, не «для чего», а «для кого»? Может, мою заметку и впрямь прочитает не одна домашняя хозяйка и будет при случае сушить грибы точно таким же простым способом, как я описал. А от них научатся другие, и пойдет... И получится, что я все-таки послужу своей заметкой о грибных шашлыках и не думая, что служу...

17 сентября 1961 г.
Мичуринец

СПАСИБО, ЧТО РАЗБУДИЛ МЕНЯ

— Прости, родная, что я разбудил тебя.

— А что случилось?

— Скорей оденься, и выйдем на берег. Там удивительно хорошо!

— Ты знаешь, что я и вчера не спала?

— Знаю, прости, пожалуйста, одевайся скорей!

В окна проникал свет: то ли сияние неба, то ли сияние озера. По полу и по стенам двигались белые лунные полосы. Женщина тяжело поднялась с постели, набросила на плечи легкий ситцевый халатик, и он тоже засветился на ней.

— Пойдем скорей, в такую ночь нельзя сидеть в доме,— повторял мужчина.

— Я не сидела. Я только что заснула. Ты знаешь об этом?

— Да!

— Знаешь, что я очень трудно засыпаю?

— Да!

— Что я опять принимала снотворное?

— Да! Я все знаю. Пойдем скорей!

Когда они вышли на крыльцо, женщина ахнула и заторопилась на берег озера. На ходу она сдернула с плеч халатик и надела его как следует, в рукава. Мужчина теперь шел сзади, он даже отставал.

Озеро посверкивало и ликовало от берега до берега, все насквозь; и оттого, что оно было рядом, мир казался шире и глубже. Луна сияла одинаково кругло и в небе и в озере, только представлялось, будто в озере отражается ее обратная сторона.

К черным камышам на середине озера и дальше — к черному лесу на горизонте был перекинут лунный мостик из круглых березовых плашек. Мостик был наплавной, и, если ступить на него, побежать по нему, он, конечно, закачается и начнет прогибаться.

Женщина остановилась у самого лунного мостика, на песчаной отмели, и повернулась к мужчине.

— А у твоих ног тоже лунный мостик! — сказала она, сказала так весело, что мужчина заулыбался.

В этот миг далеко за озером раздался крик птицы, будто потревоженный петух спросонок вскинул голову и спросил кого-то: все ли в порядке?

Крик повторился. Женщина замерла, как зачарованная.

— Это петух?

— Нет. В той стороне только болота, жилья нет.

— Кто же это?

— Догадайся сама.

— Не могу.

— Это журавли кричат.

— Почему же они кричат?

— Не спится, наверно. Такая ночь...

— Понятно.

Журавли успокоились, и стало слышно, как над головой зашелестели листья, еле слышно зашелестели, а у самых ног, там, где песок и галька, вдруг легонько плеснула вода. Плеснула, откатилась и опять плеснула. Ночной плеск воды, как плеск времени. Боже мой, как все интересно!

— Спасибо тебе, родной мой! — сказала женщина.

— Прости, что я разбудил тебя.

— Спасибо, что разбудил. Иначе бы я ничего не знала об этих ночах, об этом нашем мире. Спасибо, что ты не даешь мне спать.

1960

ЖУРАВЛИ

Сила слов

Были в детстве моем и праздники, и весна не одна, и не одна золотая осень. Много было всего. Были и свои журавли в небе.

Когда с полей убирали хлеб, поля становились шире и светлее, чем прежде, горизонт отодвигался куда-то вдаль. И над этой ширью и золотом появлялись треугольники журавлей. Для детей это время птичьих перелетов всегда празднично. Мы выбегали из домов, неслись за околицу и кричали вдогонку журавлям:

Журавли, журавли,
Выше неба и земли
Пролетайте клином
Над еловым тыном,
Возвращайтесь домой
По дороге прямой!

Или много раз повторяли, приплясывая, одни и те же слова:

Клин, клин журавлин,
Клин, клин журавлин!..

Птицы шли по небу ровно, спокойно, красиво.

Но находились озорники, которые не желали добра птицам, хотели расстроить их порядок. Бывало, какой-нибудь босоногий заводила вдруг вопил истошным голосом:

Передней птице
С дороги сбиться,
Последнюю птицу —
Вицей, вицей.
Хомут на шею!
Хомут на шею!

Или:

Переднему — хомут на шею,
Заднему — головешку под хвост!..

И часто журавлиный треугольник неожиданно начинал ломаться, птицы, летевшие сзади, рвались вперед либо уходили в сторону, а вожак, словно испугавшись, что он остался впереди совсем один, круто осаживал, делал поворот и пристраивался в хвост колонны. Мы удивлялись силе наших слов, визжали от удовольствия. Но кто-

нибудь из взрослых давал подзатыльник озорнику, и хорошие чувства брали верх в детской душе. Мы в раскаянье кричали уже хором, чтобы слышнее было:

Клин, клин журавлин!
Путь-дорога!
Путь-дорога!

Кричали до тех пор, пока журавли не выравнивались.

И вот опять вспомнилось мне детство.

В этом году дожди, затяжные, упрямые, начались так рано, что стало казаться, будто вовсе не было лета. Свету недоставало даже в полях, и утром и в полдень было одинаково пасмурно. Сырость пронизала небо и землю, в самом густом лесу не оставалось ни одного сухого места. Дороги испортились, поплыли, шипели, как тесто в квашне, вылезая на стерню, на луговую отаву. Листья на деревьях, всегда мокрые, не желтели и не облетали, сколько ни свистел ветер по ночам. Где же «бабье лето»? Где золотые рощи? Где кружевная паутина на скошенных лугах?.. Наверно, и птицы уже улетели, давно улетели...

Но вот выдался солнечный денек. Потом другой, третий... И стала осень делаться заново. Пришла тишина, мягко пригрело солнце, подсохла земля, даже дороги стали проезжими. А когда просохли на деревьях листья, оказалось, что они давно желтые. Как-то утром, проснувшись, моя дочка глянула в сад на засверкавшую осинку и ахнула: «Папа, у тебя под окном красавица!» Потом закружилась и листва в воздухе, облетели осинки, березки, тополя, даже дубы начали понемногу оголяться. Совсем сквозным стал орешник, и откуда ни возьмись на опушку рощи выступили вдруг елочки.

А солнце с каждым днем становилось нежнее к земле, ласковее. Казалось, и так красиво кругом, а оно как выглянет, как начнет наводить порядок — не налюбуешься, не нарадуешься.

Наконец затрубили, закурлыкали журавли в небе. Все-таки взяла осень свое и на этот раз: появились над полями птичьи треугольники. Странным показалось это: зачем они покидают нашу землю? Все устроилось так хорошо, стало тепло и тихо, сейчас бы жить и жить, а вот улетают.

Стою я на крыльце, вспоминаю детство, слежу за журавлями и вдруг вижу — нарушился их строй, сбились птицы в кучу, заходили кругами, стремительно набирая

высоту. Словно самолет пронесся близко,— завертело их ветром, подкинуло.

Но мне представилось, что это опять ребятишки-озорники из какой-нибудь соседней деревни сбили журавлей с толку обидными словами. Я поверил в это, и такое доброе чувство к летящим птицам охватило всю мою душу, что я не заметил, как начал, правда, негромко, почти про себя, но все-таки вслух шептать слова, которые знал с детства: «Клин, клин журавлин! Летите не сбивайтесь, домой возвращайтесь!.. Путем-дорогой! Путем-дорогой!..»

И вот уже выправились журавли моего детства, угомонились их всполошенные голоса, и, благодарные, полетели птицы все дальше и дальше под ясным солнцем родного края, полетели путем-дорогой.

1954

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

ПРОВОДЫ СОЛДАТА

Я долго верил, что запомнил, как уходил мой отец па войну. Верил и сам удивлялся своей памяти: ведь мне было тогда не больше двух лет.

Сердобольные деревенские старушки часто тешили меня рассказами о погибшем батьке. В этих старушечьих воспоминаниях отец мой выглядел всегда только хорошим и не просто хорошим, а необыкновенным. Он был силен и смел, весел и добр, справедлив и приветлив со всеми. Все односельчане очень любили его и жалели о нем. Кузнец и охотник, он никого не обижал в своей жизни, а когда уходил на войну, сказал соседям, что будет стоять за родную землю так: «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах».

Чем больше слушал я рассказов о своем отце, тем больше тосковал о нем, жалел себя, сироту, и завидовал всем ровесникам, у кого отцы были живы, хоть и без крестов. И все больше мои личные, правда, не очень ясные воспоминания совпадали с тем, что я слышал о нем.

А припоминались мне главным образом проводы отца на войну.

Это было в ту осеннюю пору, когда вся земля начинает светиться и шелестеть сухой желтой листвой, когда и восходы и закаты кажутся особенно золотыми. Около нашего дома с незапамятных времен стояли четыре могучие березы. Я отчетливо вспоминаю, что они были совершенно прозрачными, что синее небо было не над березами, не выше их, а в самих березах, в вершинах, в сучьях.

Вся деревня собралась на проводы отца под березами. Народу было очень много, и людской говор и шум листвы сливались. Откуда он взялся в старой деревне — духовой оркестр, но он был, и медные трубы светились так же, как осенняя листва, как вся земля наша, и непрерывно тихо гудели. Отец мой, высокий, красивый, ходил в толпе и разговаривал с соседями, то с одним, то с другим; кому

пожмет руку, кого по плечу потреплет. Он был здесь главный, его провожали на войну, его целовали женщины.

Я помню цветистые домотканые сарафаны, яркие желтые платки и фартуки. Потом отец взял меня на руки, и я тоже стал главным в толпе. «Берегите сына!» — говорил он, и ему отвечали всем селом: «Воюй, не тревожься, вырастим!»

Много мелочей об этих проводах вспоминал я отчетливо. Там было все — клятвы, объятия, советы на дорогу. Не запомнил я только слез. На праздниках не плачут, а для меня там все было праздничным. Самый же большой праздник начался, когда подали для отца тройку лошадей. Он сел в плетеную пролетку, которую у нас зовут тарантасом, крикнул: «Эгей, соколики!» — и кони понеслись. Уже вслед ему кто-то озабоченно успел спросить: «Табачок-то взял ли?» — затем все шумы покрылись громом медных ясных труб.

Широкая улица от нашего дома, от четырех могучих берез шла к полю, забирая немного вверх, на подъем. Полевая изгородь и ворота были хорошо видны. С обеих сторон околицы золотились березки. И вот, когда тройка на полном скаку подлетела к воротам, березки вдруг вспыхнули.

Может быть, их осветило в этот момент заходящее солнце, может быть, мне все это когда-нибудь приснилось, но березки вдруг вспыхнули самым настоящим огнем, а от них загорелись ворота. Пламя, очень яркое и совершенно бездымное, сразу охватило все сухие жердочки до единой. Разгоряченные кони не смогли остановиться перед горящими воротами, а открывать их было уже поздно и некому, отец мой вдобавок еще крикнул каким-то развеселым голосом, словно ударил молотом по звонкой наковальне, и кони вдруг взвились в воздух и перенеслись через огонь. Только колеса пролетки слегка задели ворота, из-за чего красные жерди рассыпались и ворох светящихся искр поднялся к небу.

Я хорошо все это запомнил и долго верил, что все было именно так. Позднее сам уходил на войну, и ощущение великой торжественности момента опять совпало с тем, что я вспоминал о проводах отца. «Но как это могло быть? — спрашивал я себя.— Ведь мне тогда года два исполнилось, не более».

И вот что выяснилось со временем в связи с этими воспоминаниями.

В детстве мне приходилось порой слушать граммофон в доме моего дедушки. Бывали случаи, когда дедушка доверял мне самому проиграть одну-две пластинки. Тогда я раскрывал все окна горницы, ставил удивительный ящик на подоконник, направлял орущую зеленую трубу вдоль деревни и священнодействовал. Конечно, отовсюду сбегались ребятишки и с раскрытыми ртами издалека смотрели в трубу. А мне казалось, что они смотрят на меня, что я становлюсь героем не только в своих глазах, но и в глазах моих сверстников, что все они завидуют мне. И я торжествовал. Не все же было мне, сироте, завидовать им. Вот я какой, вот я что могу — смотрите! А может быть, мой батько еще не убит, еще вернется он, тогда я вам покажу... Так я мстил за свои маленькие смешные обиды.

Спустя много лет вернулся я в родную деревню, и в доме покойного дедушки довелось мне еще раз сесть за старый квадратный граммофон. В груде еле живых пластинок с наклейками, па которых были нарисованы то ангелочки, то собачка, сидящая у граммофонной трубы, нашел я одну незнакомую мне, уже с трещиной, пластинку — «Проводы на войну», или «Проводы солдата». Сердце ничего не подсказывало мне, когда я решил проиграть и ее. Среди ржавых иголок выбрал я одну поострее, снова с усилием несколько раз провернул ржавую ручку, отключил тормоз и, когда собачка и зеленая труба на этикетке пластинки слились в один кружок, опустил рычаг с мембраной. Сначала был только треск ржавой пружины и шум, словно иголку я опустил не на пластинку, а на точильный камень,— ничего нельзя было разобрать. Потом появились голоса, заиграл духовой оркестр, и я услышал первые слова: «Табачок-то не забыл ли?»

И сразу я увидел широкую деревенскую улицу, золотой листопад осени, толпу односельчан и родного отца, уходящего на войну. «Берегите сына!» — говорил он соседям. А его целовали и клялись ему: «Воюй, не тревожься, убережем!»

Дорогие мои, родные мои земляки! Что со мною было! Медные трубы оркестра звучали все яснее и взволнованней, их песня пробилась через все шумы времени, через все расстояния и наслоения моей памяти, очищая ее и воскрешая все самое святое в душе. Уже не одно село, а вся Россия провожала моего отца на войну, вся Россия клялась солдату сохранить и вырастить его сына. И опять

не было слышно слез. Но, может быть, медные трубы заглушали их.

Потом я услышал звон бубенчиков и последние напутствия на дорогу. Вот, значит, откуда шли мои слишком ранние воспоминания. Вот где их истоки.

Но откуда же взялось золотое видение осени и горящие ворота сельской околицы? Это был, конечно, сон.

Ведь приснилось же мне однажды, что гвозди достают из дерева-цветка, который называется гвоздикой, а разноцветные нитки бисера находят готовыми в стогах гнилого сена, и я тоже долго верил, что это именно так и бывает.

Но нет, не только во сне привиделся мне бешеный скач тройки. Живет и поныне в нашем колхозе Петр Сергеевич, талантливый конюх и лихой наездник. Это он мог часами ехать, не торопясь, лесом, полями — через пень колоду. А перед деревней, перед людьми преображался он и преображались его лошади. «Эгей, соколики!» — вскрикивал Петр Сергеевич, широкая русская душа, и откуда бралась силушка в мохнатых ногах — со свистом, с вихорьком взлетал тарантас на горку мимо четырех моих берез. Бывало, самая незавидная лошаденка в руках Петра Сергеевича да на глазах у всей деревни или, как у нас говорят, на миру, превращалась вдруг в конька-горбунка.

Услышал я недавно развеселый, из глубины души вырвавшийся крик моего земляка, как будто он бросался сломя голову вприсядку, и опять живой картиной встали в моей памяти проводы отца. И опять все показалось мне невыдуманным, неприснившимся, а подлинным — даже горящие ворота и сказочные кони, взвившиеся в воздух, все, как провожала на войну родимая сторона своего солдата.

2 февраля 1954 г.

ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

Я перестал учиться, когда получил первый гонорар. До чего же все это было давно и до чего весело вспоминать обо всем этом!

Гонорар пришел из Москвы, из «Пионерской правды». Там время от времени печатались мои заметки о школьной жизни, а однажды была помещена даже басня

«Олашки» — о буржуе, который отказался есть оладьи, когда узнал, что они испечены из советской муки. Принципиальные были буржуи в то время!

Денежный перевод, если не ошибаюсь, рублей на тридцать, застал меня врасплох. У меня больше двадцати — тридцати копеек в кармане еще никогда не бывало.

Не без труда получив деньги на районной почте, я купил в магазине конфет, обливных пряников и папирос и ринулся пешком в родную деревню. Дело было зимой. Носил я тогда лапти, теплой одежонки, конечно, не было, и идти мне было легко. Но я не шел, а бежал. Бежал бегом все двадцать километров. Напевал ли при этом песни и приплясывал ли — не помню. Помню только, что за всю дорогу не съел ни одной конфетки, ни одного пряника, потому что хотел все целиком донести до деревни, для своей матери. Похвастать хотелось: вот, мол, я какой, нако выкуси! И, конечно, пачку папирос не распечатал,— я еще не курил тогда.

Зимние дни коротки, и как ни легок я был на ногу, а все-таки до деревни добрался только к ночи. В темноте углы срубов потрескивали от мороза, а в избах горела лучина в светильниках. В одном только доме была керосиновая лампа, окна его светились ярче прочих. В этом доме собиралась молодежь на посиделки. У нас такие посиделки зовут беседками. Девушки чинно сидят на лавках с прясницами, прядут лен или куделю, да поют песни под гармошку, да стараются понравиться парням, каждая своему, а некоторые всем сразу, а парни, пока не начинается кадриль, просто бездельничают, зубоскалят.

Мне было тогда меньше пятнадцати лет, но не это важно. Важно то, что одна из деревенских девушек мне уже нравилась, я был уже влюблен — в нее, во взрослую, в невесту. О чем я тогда думал, чего хотел — один бог знает. Сам я, если и знал что, то теперь забыл.

Не донеся до дому пряники и конфеты, я прежде всего решил появиться на беседках. Еще ни разу на беседках не принимали меня всерьез, ни в чьих глазах я еще не был взрослым. «Ну, что ж, что не принимали,— думал я.— Не принимали, а сейчас примут».

Очень я нравился себе в тот день!

Керосиновая лампа висела на крюку посреди избы и горела в полную силу: беседка еще только началась, и воздух еще не успел испортиться вовсе. Но клубы и кольца табачного дыма уже не рассеивались, не таяли, а пе-

редвигались под потолком, плотные и густые. Девушки в ярких домотканых, реже в ситцевых сарафанах, как обычно, сидели на прясничных копылях вдоль стен по окружности всей избы и крутили веретена и поплевывали на пальцы левой руки, вытягивавшие нитку из кудели. Парни толпились посреди избы, а кое-кто, посмелее, сидели на коленях у девушек либо рядом, занимая их разговорами и мешая прясть. Довольные девушки повизгивали, похохатывали. В темном углу за большой русской пекаркой, где всегда пахло пирогами и кислым капустным подпольем, какая-то парочка целовалась. Сладостное и таинственное для меня на этих посиделках только-только возникало.

Моя любовь, Анна, сидела далеко не на самом почетном месте, а в углу справа, в полусумраке кухни, но была она самая красивая из всех. Красный пестрядинный сарафан с белыми нитяными квадратами, кофта синяя, яркая, тоже пестрядинная, и никакого платка на голове. А на лице улыбочка, не улыбка, а улыбочка — ласковая, хитренькая, при которой щеки чуть подтягиваются кверху и на одной из них образуется ямочка, а глаза прищуриваются. Да еще волосы, заплетенные в косу с очень яркой, но уже не красной и не синей, а, кажется, фиолетовой, ярко-фиолетовой лентой; да еще глаза, поблескивающие, все понимающие, чуть прищуренные и, кажется, серые; да еще руки, быстрые, работящие и, наверно, тоже ласковые. Эх, потрогать бы их когда-нибудь! Правой рукой Анна крутила веретено и так сильно, что оно даже жужжало от удовольствия, а пальцы левой руки двигались все время у кудельной бороды и были всегда мокрые от слюны.

Анна была так красива, что, конечно, никто из парней не осмеливался сесть рядом с нею. Только я один осмелюсь сегодня! А что полусумрак на кухне — так это же хорошо: тут, в углу, по крайней мере, ничего не будет видно. Ничего! И еще хорошо, что близко отсюда запечье, тот таинственный уголок, куда время от времени уходят сговоренные пары целоваться. Неужели и это для меня сегодня возможно?

Войдя в избу, я первым делом роздал ребятам папиросы. Кажется, ничего особенного при этом не произошло. Ребята просто расхватали всю пачку сразу и стали курить: папиросы все же, не махорка. Дыму в избе стало еще больше.

Затем я подсел к моей девушке, к моей Анне. Подсел, как садятся взрослые парни к своим девушкам. Раньше я никогда не осмеливался сидеть рядом с Анной, а сейчас сел. Анна пряла лен. Она не удивилась, что я ткнулся на лавку рядом с ее пряснице й, она просто пряла. Теперь надо было заговорить с ней. Я еще ни разу не расхрабрился до такой степени, чтобы заговорить с нею. Не смог я заговорить и на этот раз. Но на этот раз все было по-другому, на моей стороне теперь были всяческие преимущества, на моей стороне была сила — и конфеты, и пряники, и то, что я настоящий писатель, иначе разве посылали бы мне деньги из самой Москвы. Сегодня на беседках я был самый главный человек.

Я достал из кармана конфету, развернул бумажку и сам, своей рукой положил конфету Анне в рот. И опять ничего особенного не произошло. Анна просто взглянула на меня, открыла рот, взяла конфету в рот и съела ее. Но все-таки она взглянула на меня. Все-таки она меня заметила. Я быстро развернул следующую конфету и снова положил ее в рот Анны. Она съела и эту конфету, но при этом засмеялась. Щеки ее приподнялись, округлились, красивые глаза сузились.

Так и пошло: я ее кормил конфетами, а она смеялась. Над чем? Над кем? Надо мной, конечно! Но меня это нисколько не смущало. Все равно она была красивее всех, и я сегодня был всех лучше. Ах, если бы я смог с нею заговорить!

Она бы спросила меня:

— Ты все еще учишься?

А я бы ей ответил:

— Учусь — что! Я — писатель! Понимаешь,— писатель, самый настоящий. Мне уже и деньги платят за то, что я писатель. А ты знаешь, что это такое? Вот, например, все эти конфеты, пряники, папиросы — это все откуда? Просто, понимаешь, пишу, и все.

Так беззастенчиво хвастать в городе я, конечно, бы не смог, там сразу меня поймали бы. Но здесь можно было. К тому же и обстановка все-таки необычная, духоподъемная. Ведь парень перед девушкой всегда немножко рисуется, хвастается. А как же иначе? Иначе разве она его полюбит?

Беда только, что я не смог и на этот раз заговорить со своей Анной. Но я был счастлив уже оттого, что она

ела мои конфеты и смеялась надо мной. И когда она съела их все, я выложил ей в подол все обливные пряники. Она съела и пряники.

Сам я так и не попробовал ни пряников, ни конфет. Отчего это — от большой любви или от расчета, от скупости или от сердечной доброты?

Домой я пришел с беседок поздней ночью, когда все уже спали, и, голодный, заснул на случайной соломенной подстилке возле курятника.

Утром мать подошла к моей постели. Она не будила меня, а просто остановилась надо мной, заложив руки за спину, и я проснулся сам. Добрая, бедная мама! Она все уже знала. Она знала, что ее несмышленый, но опасно бойкий первенец, живущий в городе без родительского присмотра, где-то раздобыл деньги,— конечно же, не чистые это деньги, не трудовые! — покупает папиросы, курит сам и угощает других, а всякие сласти раздает девкам. Уж и до девок дело дошло!

— Здравствуй, мама! — говорю я ей. — Поесть бы чего-нибудь!

А она мне:

— Скажи, парень, где деньги взял?

И от этих слов счастье всего вчерашнего дня снова запело в моей душе и, вероятно, засветилось в глазах. Я не удержался, и опять понесло меня на хвастовство.

— Я, мама, писатель. Понимаешь, писатель! — говорю я ей, почти захлебываясь от восторга.— Мне заплатили гонорар. Из Москвы перевели. Я израсходовал мало, ты не бойся, я еще и тебе дам денег. А потом опять сочиню чего-нибудь. Гонорар, понимаешь?

— Ты мне зубы не заговаривай,— начала сердиться мать,— правду скажешь, ничего тебе не сделаю. Где взял деньги?

— Так я же правду говорю: я — писатель, поэт. Это гонорар. Творчество, понимаешь?..

Добрая моя мама! Вряд ли она и сейчас понимает, откуда у сына порой водятся деньги: на службу он не ходит, хозяйства не имеет, никаким промыслом не занимается. Сколько лет работали в стране ликбезы, а старая моя мама так и доживает свой век неграмотной и по-прежнему для нее что писатель, что писарь — одно и то же.

— Ах, ты так, сквалыга окаянный! — вконец рассердилась она.— Признаться по чести не хочешь? Думаешь,

всю жизнь правду скрывать будешь, не по совести жить? Вот я с тебя шкуру спущу, раз ты писатель...

И в руках у матери за спиной оказалась свежая березовая вица — розга. Она стащила с меня замызганное одеяльце, и я, ненакормленный, неодетый, получил свой первый настоящий гонорар. Конечно, я ни в чем не был виноват, но ведь и она мне только добра хотела. Вот и суди после этого, кто прав, кто не прав.

1960

ПОСЛЕ БОЯ

Когда в горах стреляют — то ли близко, то ли далеко — и глухое эхо грохочет и обступает тебя со всех сторон, высота и простор ощущаются особенно сильно. Кажется, что ты находишься не на земле — на небе, где-то среди громов. Винтовочный хлопок раздается как разрыв снаряда, выстрел из пушки подобен горному обвалу. И мелкое земное чувство страха покидает душу. Стоишь и удивляешься сам себе: либо ты очень мал среди этих каменных громад, и потому никакая пуля не может тебя задеть, либо очень велик, почти бесплотен, как эхо, и жизни твоей все равно никогда не будет конца.

Утром замер бой в горах. Война словно заканчивалась. Когда совсем стихло, из ближнего аула донесся лай собак. Неожиданно очень громко запел петух. Пахнуло русской деревней. Собачий лай в селениях не умолкал ни при какой стрельбе, но в горячке боя его переставали слышать, как пение птиц, как шум ветра в деревьях.

На небе появилось солнце. Может быть, и его мы с утра просто не замечали.

Появился ветер. И орлы. Ветер можно было увидеть и в небе, если следить за орлами,— он их приподнимал, чуть подкидывал, иногда заставлял резко взмахивать крыльями.

К концу боя я оказался на высокой седловине. Дальше идти было некуда и не нужно. Я оглядел вокруг небо и землю и лег в траву. Лег в траву, ощутил ее влажный свежий запах и услышал стрекотание кузнечиков. Я даже увидел кузнечиков — их было очень много.

Первое время я, кажется, ни о чем не думал. Мне просто было хорошо. Я отдыхал. Полежать не двигаясь хоть полчаса — других желаний у меня не было. Потом я вдруг ясно понял, что война заканчивается и что я живой.

Я повернулся на спину, словно желая убедиться в том, что я жив, что земля тверда, а надо мною небо.

Небо надо мною было очень высокое, а утреннее солнце не выше гор и освещало лишь отдаленные вершины их. Границы солнца отмечали высоту, шли поверх долин и ущелий от скалы к скале, от холма к холму.

Чем выше поднималось солнце, тем шире расходился его свет по горам, и наконец озарилась самая глубокая долина, засиял весь мир.

Я отбросил винтовку в сторону и раскинул руки. В душе все пело, а я молчал и только улыбался.

«Родные мои, любимые! — думал я, вспоминая при при этом и мать, и жену, и детей, и всех своих далеких друзей-товарищей.— Скоро мы опять будем вместе. И все пойдет хорошо: я — живой. Где вы сейчас, о многих я давно ничего не знаю...»

Мне захотелось сейчас же писать всем письма, наводить справки. Солнце припекало все больше, травой пахло все сильнее, усталость в теле не проходила, и я лежал вверх лицом, чуть прикрыв глаза и не шевелясь. У самого виска возился кузнечик, я его не трогал.

В ауле все так же лаяли собаки. Горели костры, где-то очень далеко погромыхивали пушки, но там была не наша часть, я мог никуда не спешить, у меня были в запасе часа два полной свободы.

И в это время чья-то черная тень на мгновение закрыла солнце. Я не вздрогнул, не пошевелился, я только скосил глаза — и увидел большого горного орла. Из всех лежавших в разных местах людей он выбрал меня и начал кружить, спускаясь все ниже и ниже. Вероятно, он принял меня за мертвого. Но я был живой. И я перестал следить за ним, думая о своем.

«Мама, родная моя! — думал я.— С тобой сейчас никого нет, ни одного сына. Михайло погиб под Сталинградом. Но я — живой и вернусь к тебе, приеду, все сделаю, чтобы тебе было хорошо.

Дети мои любимые! Здоровы ли вы? Сейчас у вас будет все — школа, дом, счастье, все будет: я живой. Больше никто не посмеет разлучить нас...»

Орел все кружил и кружил надо мной и опустился уже настолько низко, что я услышал шум его крыльев. Хищник был очень осторожен, осмотрителен. На ясном фоне неба он казался совершенно черным, зловеще черным. И я замер. Не испугался, но замер и приготовился к борьбе.

Нет, силы мои не были истощены, никакие когти не страшили меня, война меня не ослабила.

«Друг мой милый, верный! Будь спокойна, я — живой, и тебе не придется выносить меня с поля боя,— обращался я к своей любимой.— Сохрани только наших детей до моего возвращения...»

Сквозь ресницы я разглядел раздвинутые, как бы ощеренные тупые концы крыльев — каждое перо отдельно, кривой хищный клюв и мощные стальные когти. Мягкий тугой шум становился все слышнее. Сейчас орел должен спикировать, и тогда он узнает, что я живой. Я схвачу его, сомну, разбойник поплатится головой за свою самонадеянность. Ой, не трогай, улетай, пока не поздно, подобру-поздорову!

От сердца пошел огонь по всему телу — к мускулам рук, ног, я напрягся и, видимо, шевельнулся. В тот же миг орел круто взмыл вверх и с недоуменным клекотом полетел в сторону синих скал.

— Так-то лучше! — сказал я вслух и еще долго-долго лежал не двигаясь под ясным высоким небом.

1956

ЖИВОДЕР

Мы нередко говорим: играет, как кошка с мышью. Сегодня ночью я видел, что это такое.

Я живу в деревне у одинокой женщины, моей родственницы, в большой чистой избе, устланной домоткаными половиками, увешанной рукотерниками и плакатами. Воздух в избе чистый, клопов сравнительно немного, питание здоровое: ягоды, грибы, капуста...

Но больше всего меня устраивает, что старушка моя рано ложится спать и, перед тем как лечь, наливает для меня полную лампу керосину и старательно чистит стекло скомканной газетой.

Ночью я люблю сидеть один — читать, думать, писать — в совершеннейшей тишине. Гудит в трубе тепло, суматошится метель под окном, и серая молодая кошка мурлычет рядом. Я не терплю кошек за их высокомерие и эгоизм. Говорят, собака привыкает к хозяину, а кошка к дому. По-моему, ни к чему она по-настоящему не привыкает и ни на одну кошку никогда нельзя положиться. Но эту, молодую, серую, я почему-то полюбил.

Сегодня в полночь кошка неожиданно подняла возню, начала мяукать, и я увидел, что она вынесла на середину избы живую мышь. Мышка была еще не измятая, совсем свеженькая, пушистая и маленькая, тоньше кошкиной лапы. Поначалу я не почувствовал к ней никакой жалости, а кошку, наоборот, похвалил про себя: дескать, не дармоедка, знает свое дело!

Кошка положила мышь на половик, посреди избы и легла рядом с ней. Мышка припала к полу, вытянув хвостик, и удивленно замерла: ей, наверно, показалось, что она свободна и может убежать, куда хочет. Так и есть: мгновение — и ее не стало.

— Ах, черт! — воскликнул я от огорчения.— Ушла!

Но кошка спружинила, метнулась в задний угол избы, в темноту, успела за мгновение обшарить там своими толстыми лапами весь пол, нашла мышь,— как мне представилось, ощупью,— и уже спокойно, держа ее в зубах, вернулась на середину избы.

— Упустишь, дура! — сказал я.

Кошка положила мышь на прежнее место и снова легла рядом с нею, щурясь и беспрестанно мурлыча. И мышке опять поверилось, что она вольная птица. На этот раз кошка поймала ее у меня в ногах, под столом. В следующий раз — под печкой-лежанкой, затем на кухне. И все это в полумраке, потому что моя керосиновая лампа не освещала всей избы. Половики на полу были смяты, жесткий кошачий хвост, как лисья труба, мелькал то в одном месте, то в другом. Сколько раз я считал, что все кончено, мышь сбежала! «Прозевала-таки, полоротая!» — ворчал я. Но кошка не зевала. И я убедился, что этот зверь знает свое дело.

— Что вы там возитесь? — спросонья спросила хозяйка с печи и, не дождавшись ответа, снова захрапела.

Мышь устала, начала хитрить. Она подолгу не двигалась, вероятно, прикидываясь мертвой. Кошка ложилась

на бок, кувыркалась, поднималась на ноги, дугой изгибала спину и легонько, издалека трогала мышь своей страшной лапой, и мурлыкала, и мяукала. Ей хотелось играть. Она требовала, чтобы и мышь играла с нею, не умирала бы раньше времени.

Я осветил их лучиком китайского фонарика и увидел: мышка еще жива, черные глазки ее поблескивают, только она выжидает, ей хочется перехитрить свою смерть. Но, господи, до чего же она была мала рядом с этим страшилищем! И я вдруг, впервые в своей жизни, пожалел мышь, мне даже захотелось, чтобы она сбежала. И, словно почувствовав, что я на ее стороне, мышка кинулась под печку, но кошка, даже не вскочив, накрыла ее своей лапой и вместе с ней игриво перевернулась через спину.

Это продолжалось долго. Долго мышку не оставляла призрачная надежда на свободу. Только покажется ей, что наконец-то она перехитрила своего врага, может вздохнуть, скрыться и располагать собою по своему усмотрению, а кошка опять прижмет ее к полу, к земле. Прижмет и отпустит. Отпустит и отвернется, делая вид, что ей все безразлично. И мяучит требовательно, недовольно: «Да беги же снова, играй со мной!» Не мурлычет, а мяучит.

Хозяйка с печи опять подала голос:

— Кошка-то, видно, на улицу просится, выпусти!

— Нет, она мышь поймала, играет! — ответил я.

— У, тигра окаянная! Живодер! — с ненавистью сказала хозяйка.

Наконец и я ощутил ненависть к кошке.

Я направил узкий электрический луч прямо в ее бледно-зеленые с серым дымком глаза, когда она, валяясь на спине, жонглировала мышью, как фокусник мячиком, и ослепил ее.

Воспользовавшись этим, мышь сделала последнюю попытку уйти в свое подполье. Но у «тигры» кроме зрения был еще звериный слух.

— У, подлая! — с откровенной ненавистью зашипел я.— Поймала-таки опять! Кровопийца! — И я готов был пнуть ее, потому что вся моя застарелая неприязнь к кошачьей породе поднялась во мне.

Мышь больше не подавала признаков жизни. Кошка мяукала с недоумением, обиженно и гневно толкала ее то левой, то правой лапой, словно бы отступалась от нее, от-

ходила в сторону — мышь не двигалась и лежала либо на боку, либо на спине, задрав кверху голенькие, тонкие, как спички, ножки.

Тогда кошка съела ее. Ела она неторопливо, лениво, щуря глаза и чавкая. Похоже было, что ест без удовольствия, ест и брезгует. Мышиный хвостик долго торчал из ее рта, словно кошка раздумывала: глотать ей эту бечевку или выплюнуть ее. Под конец она проглотила и хвостик.

Хозяйка моя свесила ноги с печи.

— Ты что, полуношник, сегодня долго не спишь?

— Смотрел, как кошка с мышью играла,— ответил я.

— Ой, паре! — охает хозяйка, должно быть, удивляясь моей несерьезности.

— Что — «ой, паре»?

— Ну-ко, надо!

— Что — «ну-ко, надо»?

Хозяйка задумывается и наконец, что-то обмозговав, произносит:

— Тигра — она тигра и есть! У нее свое дело, а у тебя свое. Спи давай!

— Ладно! Давай буду спать.

Я ложусь и засыпаю тревожным тоскливым сном.

1962

ТВОРЧЕСТВО

— Опять каша!

Борька сидел с полным ртом, сопел, дулся и смотрел на всех сердитыми глазами. Его уговаривали, ругали, пытались задобрить. Но ничего не помогло. Обеденных часов в семье стали бояться, как наказания. Мать нервничала, отец рывком вставал и уходил из-за стола.

Горю помог соседский мальчик Ваня. Как-то во время еды, когда за столом не усидела даже многотерпеливая мать, Ваня сказал Борьке:

— Я тоже не люблю кашу, но это ничего. Я тебя научу, будет интересно... Давай делать дорогу!

Борька посмотрел на товарища сквозь слезы, подумал и кивнул головой. Тогда Ваня устроился с ним рядом, пододвинул к себе тарелку, взял ложку из его рук.

— Сначала сделаем тропинку для велосипеда, вот так! — сказал он, провел узкую бороздку через всю тарелку и ложку, полную каши, передал Борьке.— Пройдет велосипед?

Борька хмыкнул, но спорить не стал.

— Пройдет. А кашу куда?

Ваня пожал плечами.

Тогда Борька съел кашу и облизал ложку. А Ваня сказал:

— Сейчас сделаем дорогу такую, чтобы по ней можно было проехать на машине. Делай сам!

Борька взял ложку в обе руки и со скрежетом заскреб дно тарелки. Дорога получилась широкая, но неровная.

— Подчисти! — посоветовал Ваня.

Борька подчистил, склоняя голову набок.

— Сейчас и «москвич» пройдет, — убежденно сказал он.

— «Москвич», пожалуй, пройдет, а «Волга»?.. Давай для «Волги»!

Игра Борьке понравилась. Он ел кашу старательно, с удовольствием.

— Это уже большак,— сказал Ваня, когда посреди тарелки, на проезжей ее части, показался зеленый цветок.— Теперь даже грузовики с зубром и медведем могут разойтись.

Борька подровнял ложкой края большака справа и слева, набрал еще ложку каши и, прожевывая, подтвердил:

— Разойдутся и медведь с зубром.

Наконец каши осталось совсем мало. Ваня нерешительно посмотрел на Борьку.

— Что будем делать с обочинами? — спросил он.

А Борька уже улыбался весело и хитро. Теперь-то он знал, что надо делать с обочинами. Каша перестала казаться скучной.

— Съем и обочины! — сияя от радости, заявил он.— И будет у меня теперь не дорога, а аэродром. Реактивный, верно? Нет, ракетный!

— Вот так! — засмеялся довольный собою Ваня.

И было им хорошо друг с другом.

[*1959*]

МИХАЛ МИХАЛЫЧ

Все дети были как дети, один Михал Михалыч никому покоя не давал. С утра до вечера в квартире слышался только его голос, его крики, его песни. Начиналось с завтрака на кухне, куда Михал Михалыч обычно шел неохотно, ссылаясь на то, что у него еще зубы заспанные, но когда садился за стол, то требовал все сразу — и молоко, и рыбий жир, и огурцы, и кашу. Потом он бросался к сестрам, помогал им собраться в школу, из-за чего те плакали и нередко опаздывали на первый урок. Далее Михал Михалыч делал зарядку, «как в цирке», карабкался до потолка по книжным полкам, пересматривал все подряд, вплоть до энциклопедии, гонялся за кошкой, кричал ей «кыкысь, берегись!», наконец, давал матери советы, как варить кашу, и обязательно что-нибудь присаливал сам, да еще прибавлял газу. Все это он успевал делать одновременно, уследить за ним не было никакой возможности. Если мать начинала нервничать, он ее успокаивал:

— Мамочка, я же тебе помогаю! — и целовал ее в платье, в руку, во что придется. И мать успокаивалась и вытирала слезы на глазах.

Кроме того, Михал Михалыч очень любил ездить к бабушке в гости либо на машине, либо на поезде, либо на самолете. Без папы такие поездки не удавались, поэтому он каждый день с нетерпением ждал возвращения папы с работы. Вернувшись с работы, папа странно медленно раздевался, но это еще куда ни шло. Но если папа сразу садился обедать, Михал Михалыч совершенно терял терпение и не хотел принимать никаких объяснений.

— Ну, поехали же! — требовал он.

— Подзаправиться надо, сынок, а то бензину не хватит,— отвечал отец.

— Да хватит, хватит... поехали!

После обеда папа ложился на ковер посреди комнаты и поднимал ноги.

— Ну давай сразу на самолете, скорей доберемся.

Вечером в квартире иногда появлялись папины товарищи или мамины подруги, и Михаил Михалыч на несколько минут затихал, присматривался к ним. Забавные люди,— они всегда спрашивали его об одном и том же.

— Миша, кого ты больше любишь, маму или папу?

— Папу и телевизор,— отвечал Михал Михалыч, и гости весело смеялись.

— А бабу-ягу ты боишься?

— Я ее не видал.

— Неужели и во сне никогда не видал?

— Не видал. Я лицом к стенке сплю, ничего не вижу.

Гости скоро надоедали Михал Михалычу, он покидал их и снова занимался своими делами — гонял «кыкысь», проверял настройку пианино, выметал пыль из-под столов. Он поспевал всюду, он был везде сразу, заполнял собою всю квартиру, все углы, был велик, вездесущ и необъятен, как сама жизнь.

Поздно вечером, замотав всех до смерти и утомившись сам, он просил: «Мама, раздень меня!» — ложился в постель лицом к стене, свертывался клубочком и засыпал. Мать, склонившись над кроваткой, прикрывала его сереньким байковым одеяльцем и удивленно ахала, словно впервые видела своего сына.

— Господи, ведь совсем кроха, комочек!

Подходил отец, подходили старшие девочки и тоже разглядывали Михал Михалыча с удивлением. «Он еще совсем маленький!» — шептали они.

— Он же совсем кроха! Совсем, совсем кроха!— говорила сестра.— Поразительно!

— А что вы хотите?! — говорил отец.— Ему еще только три года. Дайте срок...

1956

СВОБОДА

Миша очень скоро понял, что означает: «Свобода — есть осознанная необходимость».

— Значит, понял? — переспрашивает его мать.

— Понял.

— Делать зарядку по утрам для тебя так же необходимо, как посещать школу, учить уроки. Понимаешь?

— Конечно, понимаю! — соглашается Миша. И упрямо твердит свое: — А если неинтересно?

— Родной мой! — теряет терпение мать.— Но это же необходимость. И ты ее осознал. Ну, давай начнем!

— Необходимость есть, а свободы нет,— отвечает Миша.— Свобода — это когда интересно.

Мать чуть не плачет от досады:

— Голуб-чик мой!..

Но Миша не собирается уступать. Он повторяет:

— Свобода — это когда интересно!

Мать задумывается и с любопытством смотрит на сына, словно впервые видит в нем живого человека.

— Если так, давай придумаем что-нибудь, чтобы тебе интересно было,— предлагает она.

— Давай!

— Дома будем делать зарядку или пойдем в сад?

— В сад, в сад.

Маме лет сорок, она стройна, крепка, в сад вышла в легком пижамном костюме и в тапочках. Миша — в трусиках, без майки, босиком.

В саду прохладно от росы. Птицы в кустах и на деревьях поют усердно, будто делают зарядку.

Солнце едва-едва отделилось от горизонта и продирается сквозь лес — в небо, к простору.

— Становись! — командует мать, утверждаясь ногами на песчаной тропинке.

Миша становится рядом с нею.

— Будем делать то же, что мы делали раньше,— говорит она.— Руки вверх!

— Ну, вверх,— вяло поднимает руки Миша.

— Говори: «Небо!»

— Небо! — с удивлением повторяет Миша.— Вижу небо!

— Руки вниз. Говори: «Земля!»

— Земля! Земля! Земля!

— Руки в стороны. Говори: «Море»!

— Море! — не возражает Миша.

— Поворот вправо — горы!

— Горы! — уже кричит Миша и добавляет: — Ого! А что влево?

— Поворот влево! — командует мать.— Поля!

— Поля! — восхищается Миша.— Вот здорово!

— А теперь давай снова.

Все упражнения проделали во второй и в третий раз. На четвертый раз Миша разочарованно:

— Опять тоже?

Мать растерялась:

— Тогда придумывай сам.

И Миша стал придумывать сам:

— Птицы в небе! Самолеты! Опять птицы!

— Трава зеленая! Цветы!

— Лес вокруг! — кричал он.

— Олени в горах!

— Хлеб растет!..

На следующее утро Миша сам потянул маму в сад на зарядку. Он приволок с собой прыгалки, мяч и разные палки.

— Хочешь,— предложил он,— мы сегодня поиграем в чехарду?

Должно быть, Миша не ожидал, что мама согласится. А мама согласилась:

— Чехарда так чехарда. Та же зарядка!

Миша искренне удивился и обрадовался этому.

— Ну вот видишь,— сказал он маме,— теперь и ты понимаешь, как хорошо, когда свобода. Теперь и тебе интересно.

16 февраля 1963 г.

НЕ СОБАКА И НЕ КОРОВА

Моя сестра, возвращаясь однажды поздней зимней ночью с посиделок с пряслицей и с горящим пучком лучины в руках, встретилась посреди деревни с волком. Должно быть, очень голодный, он сидел, скалил зубы и не хотел уступать ей дорогу.

— Ты что, Шарик, с ума сошел? — прикрикнула на него девушка.— Пошел вон!

«Шарик» оскалил зубы еще больше и зарычал, глаза его нехорошо сверкнули. Сестра ткнула ему в морду горящей лучиной.

— Ошалел, что ли? Нет у меня ничего для тебя.

Волк отступил, прыгнул в сторону, в снег.

Когда всполошенные родители сказали моей сестре, что это был волк, а не Шарик, она удивилась и не поверила:

— Какой же это волк, когда он на собаку похож. Собака она собака и есть!

Недавно в Подмосковье к нашей даче подошел лось. Он был так невозмутимо спокоен, с таким хладнокро-

вием, даже равнодушием смотрел на меня, что подумалось: не ранен ли? не болен ли? Самая настоящая корова, домашнее животное!

Я быстро собрал своих ребятишек, крикнул жене, и мы толпой, всей оравой двинулись к лосю, за забор, в мелкий осинничек. Дети радовались: наконец-то они налюбуются диким зверем.

— Какой же он дикий? Какой зверь? — возмутился я.— Захватите с собой хлеба побольше да соли, сейчас мы его будем кормить.

— Что ты, папочка?

— А вот увидите!

Мы осторожно, чтобы не испугать, подходили к лосю все ближе и ближе, а он повернул голову и смотрел на нас совершенно спокойно, без всякого интереса, даже как-то устало. Возможно, он думал, этот неприкосновенный владыка подмосковных рощ, стоит ли, дескать, связываться с этой назойливой мелкотой. Возможно, думал что-то другое. Только вид у него был до того домашний, коровий, до того ручной, что я совершенно осмелел, а вернее сказать, обнаглел,— особенно с точки зрения лося.

— Тпруконь, тпруконь, тпруконь! — стал звать я его, как зовут в деревнях корову, и, протягивая вперед руку с густо посоленным хлебом, пошел к его влажной, к его мокрогубой коровьей морде. Иллюзия была слишком заманчивой.

Но когда я подошел к нему совсем близко, когда до него оставалось не больше десяти шагов и лось вдруг нервно переступил, я, должно быть, все-таки испугался его величественных размеров и особенно его огромной горбоносой чушки. А может быть, я побоялся, что лось, вдруг переступивший с ноги на ногу и на мгновение обернувшийся назад, убежит от меня? Во всяком случае, я остановился, замер. Затем решился и кинул хлеб ему под ноги.

Этого не надо было делать. Я забылся. Передо мной, конечно, был зверь, а не корова. Зверь, не уступающий в силе медведю.

Лось не побежал от меня, а бросился на меня. Он решил, что я на него нападаю, и сам пошел в атаку. Но бросился на меня он не быстро, без ярости, без воодушевления, лениво, только затем, должно быть, чтобы образумить наглеца и отвязаться от него.

Я закричал. Еще сильнее и, вероятно, еще менее красиво закричали мои дети, моя жена, моя семья. И лось не тронул нас. Он повернулся и, широко раскидывая в сторону огромные голенастые задние ноги, не спеша, скрылся в осиннике. «Ну вас к богу, лучше не связываться!» — казалось, сказал его белый короткохвостый зад.

— Какая же это корова, папочка! — испуганно упрекали меня дети.

— Да ведь очень уж похож на корову, совсем ручной!

30 января 1962 г.

СТАРЫЙ ВАЛЕНОК

— Ну как жизнь, старина? — ежевечерне спрашивал у своего приятеля седобородый нечесаный Лупп Егорович.

Толстый ленивый кот, давно прозванный Старым Валенком, спросонья поворачивал голову, чуть приоткрывал глаза и нехотя мурлыкал что-то невнятное. Можно было подумать, что он говорил: «И как тебе не надоест из года в год спрашивать об одном и том же? Ну, живу по-прежнему! Вверх головой! Чего тебе еще? Человек!»

Лупп Егорович и Старый Валенок много лет жили вместе, и каждый думал, что он старше другого. По этой простой причине, по старости, они были одиноки, и обоим казалось, будто и дружат они лишь потому, что больше дружить не с кем и остается одно — терпеть друг друга.

Но в их отношениях, кроме семейной привязанности, было взаимное уважение, а временами даже любовь.

Когда кот был молод и прост, он повсюду следовал за своим хозяином. Приохотился Лупп Егорович ходить перед праздником на рыбалку — и кот за ним. Поймает старик мелкую рыбешку: уклейку, пескарика или ершика,— выбросит на берег, а кот ее съест.

— Хоть бы посолил! — потешался над Старым Валенком Лупп Егорович.

Но коту нравилась рыба и несоленая, была бы она живая. Сидит старик с удочкой, не шевелится, а рядом у края воды рыбачит кот, сторожит всякую мелочь, про-

плывающую возле бережка. Подплывает рыбка совсем рядышком,— в прозрачной воде она кажется крупной,— цапнет ее кот лапой и удивляется, что в лапе ничего нет. А Лупп Егорович хохочет:

— Это тебе не мыши!

Приохотился хозяин в силки рябчиков ловить — и кот начал промышлять птичек в лесу и на огороде.

Со временем приятели даже внешне стали походить друг на друга: Лупп Егорович, обзаведясь большой бородой и пышными бровями вроде двух кошачьих хвостов, все больше смахивал на лохматого кота, а пушистый Старый Валенок — на Луппа Егоровича. Но сами они не замечали этого и любезничали друг с другом редко.

Старый Валенок с годами становился высокомерен, заносчив. Он презрительно смотрел со своей лежанки на возвращающегося поздней ночью волосатого Луппа и не трогался с места, даже когда тот начинал его гладить вдоль спины, только вытягивал хвост, чтобы рука старика прошлась и по хвосту. Мурлыкать от удовольствия, урчать, как положено всякому зверю кошачьей породы, Старый Валенок тоже не всегда находил нужным. А о том, чтобы сойти с лежанки, встретить приятеля у порога с задранным хвостом и потереться о его подшитые и заштопанные во многих местах катанки, он и думать не хотел. Такого случая ни он сам, ни Лупп Егорович уже не помнили. И если кот все-таки мурлыкал, то Лупп Егорович говорил:

— Мурлычешь, сукин кот, значит, жрать хочешь. Так просто, по доброте душевной, ты не замурлычешь.

Если бы не Лупп Егорович, Старого Валенка вообще не было бы на свете. Но разве он это понимает? Покойная жена Луппа Егоровича, Настя, держала в доме кошку, не запрещала ей даже котиться, но всякий раз уничтожала весь приплод. Положила однажды она слепых котят в ямку, прикрыла их камнем, а камень лег неплотно, и котята начали пищать, кошка услышала, заметалась, сама подрыла землю под камнем и вытащила одного котенка живым. Старуха хотела его сразу утопить, но Лупп Егорович воспротивился. «Судьба! — сказал он.— Пущай живет!»

И кот выжил. И стал Старым Валенком.

Лупп Егорович не работал в колхозе, года вышли, но характер по-прежнему имел беспокойный, во все вмеши-

вался, все и всех судил. В поведении Старого Валенка больше всего старика возмущала его молчаливая сонливость. «Как же ты можешь на все закрывать глаза, если ты живое существо?» — часто с удивлением и гневом допрашивал он кота.

Сегодня Лупп Егорович пришел домой подвыпивший и был особенно словоохотлив. Он повесил на крюк рядом с рожковым умывальником полушубок, смахнул кое-какую мокреть с усов, затем пошел на кухню, повозился ухватом в пекарке, вытянул горшок с остатком щей, принес их на стол и крикнул:

— Иди, старина, покормлю!

Кот издал в ответ какие-то влажные булькающие звуки, посмотрел, что ему предлагают и стоит ли из-за этого покидать теплое место, и, осторожно приподнявшись и потянувшись, начал неторопливо спускаться с лежанки, с приступка на приступок. Движения его были замедленны, как и у Луппа Егоровича, должно быть, они все-таки подражали друг другу даже в этом.

— Не голоден, значит? — с обидой сказал Лупп Егорович, выжидая, когда Старый Валенок спустится с печурки и подплывет к столу.— Не голоден, старый черт, или пенсию уже успел получить? Лежебок несчастный! Ох и ленив же ты, братец, за что только хлебом тебя кормят! Имечко тоже тебе подходящее дадено, заслуженное имечко: Валенок ты — Валенок и есть!

Кот степенно подошел к столу, понюхал протянутую руку с куском хлеба, смоченным в жидких нежирных щах,— от руки пахнуло не щами, а табачищем,— и отказался есть. Он недовольно мяукнул. «Твое имя лучше, что ли?» — казалось, выговорил он.

— Мое имя, братец, тоже не ахти какое, так в этом не я виноват. Поп на моего отца сердит был за вольномыслие и досаждал ему, чем мог. Народился сын, он и сыну — мне, стало быть,— еще в купели жизнь испортил на веки вечные. В школе и в деревне раньше мне проходу не давали, каждый перекрещивал, как хотел: «Лупа да Лупа...» А разве я это заслужил? Ты вот заслужил. Твое имя к тебе пристало. Мурлычешь, гад? — ласково заключил свои высказывания Лупп Егорович.

«Мурлычу! — ответил Старый Валенок.— Чего тебе надо?..»

А Луппу Егоровичу ничего не надо было, ему просто хотелось поговорить, ему было хорошо. «Неужто и с котом своим по душам поговорить нельзя?» Уже лет пять, как Настя, старуха, умерла. Дочь вышла замуж, работает вместе с мужем на маслозаводе. «Вот бы тебе, Старому Валенку, где пристроиться надо!» Два сына поучились и уехали из деревни, в начальники ладят выбиться. «Все нынче в начальники лезут!» Об этом бы и хотелось поговорить Луппу Егоровичу, но — кот, что он знает?..

— Есть ли у тебя душа? — спрашивает кота Лупп Егорович.— Думаешь ли ты о жизни и как ее, нынешнюю, понимаешь?

Старый Валенок молчит и, недовольный, возвращается на теплую лежанку, на свое обычное место. Там он поджимает мягкие лапы, укладывает вокруг себя пушистый хвост, словно обертывается широким шерстяным шарфом и, безучастный ко всему, закрывает зеленые усталые глаза.

— Вот твой главный недостаток: равнодушный ты! Жизнь идет, а ты спишь да спишь,— продолжает выговаривать ему Лупп Егорович.— Нет у тебя души, только шерсть одна. И мышей ты лопаешь с шерстью. Чего глаза закрываешь? Если бы у тебя была душа, ты глаза не закрывал бы, когда с тобой о деле говорят. Ну выпил я, ну и что? Дочка без внимания не оставляет, ей спасибо: в люди выбилась, не зря учил, человеком стала. От нее всегда поддержка — и маслом и деньгами... Дела, понимаешь, в общем-то, идут, и народ живет, приспособился, а все-таки не надо закрывать глаза, а то движения не будет. Вот говорю я председателю: поставь меня на пасеку, не губи ее, самое это стариковское дело — пасека, выгодно будет. А он что? Не лезь, говорит, не в свое дело, тебе скоро пенсию дадим. Он, стало быть, проявляет инициативу, а мою, эту самую инициативу, куда? Опять же о дочке. Была бы жива старуха, легче было бы, а то мест в яслях не хватает, в детский сад очереди. Вот говорим девкам: учитесь, раскрепощайтесь! А детей кто нянчить будет? Понимаешь, о чем я говорю, или тебе, лежебоку, ни до чего дела нет?

Кот лежал спокойно, ничего не требовал, ни о чем не спрашивал.

В избе наступали сумерки, очертания Старого Валенка начали расплываться. Безразличие кота раздражало

Луппа Егоровича, но он понимал, что обижаться на животину бесполезно. Опершись руками о лавку, он тяжело поднялся, прошел к суденке возле печи, ощупью отыскал ложку, кусок хлеба и, вернувшись к столу, похлебал щей. Свет бы зажечь, но к чему? Скоро спать, а пока даже не дремалось. Ночи теперь долгие, спать приходится много, зачем спешить? Охота разговаривать еще не оставила Луппа Егоровича. Он снова повернулся к коту и неожиданно рыкнул:

— Дай закурить!

Старый Валенок промолчал.

— Вот видишь, какой ты: с тобой как с человеком, а ты что? Ну выпили мы с Прокопом маленько, посидели, посовещались, души свои разбередили. Поди, и поворчать старикам нельзя? Сколько уже раз колхоз наш то укрупняли, то разукрупняли — как душе не болеть? Пасеку похерили — пчелы, видишь ли, невыгодны, кур похерили — куры невыгодны, лошадей на колбасу — лошади невыгодны. Земля стала невыгодной, лес наступает на сенокосы, на пашни. Того гляди, и старики станут невыгодны. Что же это такое происходит? Опять же говорю председателю: все берега по реке ивняком затянуло, отдай их мужикам исполу, расчистят, пущай два года косят для своих коров, потом колхозу перейдет, выгодно. А он что? На мелкобуржуазию, говорит, воду льешь... Чего молчишь? — кричит на кота Лупп Егорович.— Ну я выпил маленько, так я дело свое знаю, у меня душа болит. А ты ради чего живешь на земле, за что ты отвечаешь? Где твоя норма? Выполняешь ты свою норму или нет?

Лупп Егорович, у которого язык начинал все больше заплетаться, пришел вдруг в такое возбуждение, что сорвал катанок с ноги и бросил им в кота. Кот встрепенулся, но с лежанки не соскочил, только перешел на другое место. Он, должно быть, привык к подобным выходкам старика, спокойствие не изменило ему. Чуть приоткрылись круглые глаза, блеснул в сумерках зеленый огонек — и мирное течение жизни в доме восстановилось.

— Ну что, братец, поразговаривали мы с тобой? — стал успокаиваться и старик.— Это хорошо, что ты молчать умеешь, а то нарубили бы мы дров сообща. Пожалуй, этак и пенсию не получим. Не могу проходить мимо, братец ты мой, совесть моя не позволяет. Иные под ста-

рость либо косеют, либо слепнут, а я под старость только больше видеть стал. Вот, скажем, обратно плата за труд. Добавочная оплата есть — по животноводству, по льну, по сену,— это все соблюдается. А сам трудодень опять ничего не стоит. Выгодно это людям или невыгодно? А деньги какие хитрые стали!..

Лупп Егорович зевнул. Бесполезность разговора с котом стала для него вдруг настолько очевидной, что он сразу устал и захотел спать. Но заключить разговор надо было так, чтобы на его стороне осталась победа. Он так и сделал:

— Я же не о себе пекусь, понял? Вот сидишь и носом не ведешь. Старый ты Валенок! Брюхач!

Спал Лупп Егорович нераздетым, только катанки снимал и ставил на печку. Один катанок он поставил рядом с котом, другого искать не стал: показалось, кот приоткрыл мудрые глаза и поглядел на него насмешливо,— дескать, сам разбрасываешь, сам и собирай.

— Ну, ладно уж, ладно, поговорили!— сказал Лупп Егорович и погладил кота по голове. Тот не пошевелился.

Обычно Лупп Егорович спал на печи, подостлав под бока ватник. Но на печь лезть трудно, сейчас для этого не было ни сил, ни охоты. Поэтому он взял от стола скамью, придвинул ее к другой скамье у стены, положил в изголовье тот же ватник с печки и лег на спину, закинув руки назад, кулаки под голову. Лохматые брови его сомкнулись у переносья, широкая борода закрыла всю грудь, вытянулась до кушака. Засыпая, Лупп Егорович бормотал про себя:

— Как в людях ни хорошо, а дома лучше. Сколь подушка ни мягка, а свой кулак мягче...

Старый Валенок беззлобно, даже доброжелательно поглядывал сверху, как укладывался его хозяин, а когда в избе раздался первый легкий храп, он словно преобразился: выгнул спину, легко и мягко соскочил с лежанки и юркнул в подполье на очередную охоту за мышами. Равнодушия его как не бывало: он пошел выполнять свою жизненную норму...

Ночью луна осветила бревенчатые стены избы, разверстую русскую печь, пустую лежанку-подтопок, темный давно не скобленный стол, на нем горшок с остат-

ком щей, скамьи, сдвинутые вместе, и спящего старика с широкой бородой на груди.

При свете луны из подполья, как привидение, вышел пушистый сибирский кот, крадучись, приблизился к своему старому ворчливому другу, положил ему под бок драгоценный дар — полузадушенную мышь, самую крупную, самую жирную из всех, какие удалось ему промыслить за эту ночь. Затем легко и осторожно, чтобы не разбудить старика, поднялся ему на грудь и, уткнувшись в широкую нечесаную бороду, удовлетворенно замурлыкал.

1962

ДВЕ БЕРЛОГИ

I

Мне сообщили друзья из родных вологодских мест, что найдены две медвежьи берлоги. На сборы ушло два дня, ночь — в поезде, сорок минут в самолете АН-2; дальше можно продвигаться только на «газике» малой скоростью и, наконец, на лыжах.

Первое, о чем я спросил:

— Обложили?

— Кого, чего?

— Медведей?

— Не обкладываем. Здесь это ни к чему.

— Ну хотя бы лыжню вокруг берлог проложить надо было, зарубки на деревьях зарубить, чтобы мету свою оставить, вроде печатью хлопнуть.

— По берлогам, что ли? Никто их не тронет. Чего-чего, а живых медведей у нас еще не воруют. И сами они никуда не уйдут. Надежное дело!

Всю первую ночь мы не спали: я волновался так, словно шел на охоту впервые и все для меня было внове, а друзья-охотники пили водку — калым за неубитых зверей. Всю ночь от страшных и смешных бывальщинок и побасок то лезли глаза на лоб, то скрючивало от хохота.

Неправда, что северяне угрюмый, неразговорчивый народ!

Ко мне охотники относились благожелательно, но с явным снисхождением: дескать, москвичи, чего они видали, каждому слову верят.

А сидели мы в доме председателя колхоза.

Павел Евгеньевич Сорокин, главный бухгалтер колхоза «Каменный», давно известен в районе как один из бывалых и неутомимых охотников, для которого по этой причине бухгалтерия время от времени становится обременительным отхожим промыслом. На боевом счету Павла Сорокина с десяток убитых медведей и, вероятно, не один десяток неубитых. К своим рассказам о разных

происшествиях на охоте он относится чрезвычайно серьезно и, я бы сказал, творчески: не помню случая, чтобы он когда-нибудь повторялся, хотя о каждом правдивом своем приключении рассказывает по нескольку раз.

В эту ночь он углубился в психологию: со всеми подробностями расписал, как год тому назад приезжий городской охотник, весьма обеспеченный торговый деятель, рядился, покупая у него найденную берлогу, как нудно и обстоятельно отвоевывал у него, у колхозника, каждую десятку и до того надоел, что Павел Сорокин готов был уже плюнуть на все и отдать медведя задаром. А через два дня после этого мудрый медведь, не поглядев на первоклассное охотничье обмундирование и снаряжение торгового воротилы, при первом же свидании снял с него голову и ушел восвояси. Слова «интуиция», «возмездие» Павел Евгеньевич в рассказе не употреблял, он говорил по-охотничьи: «чутье», «судьба», «бог шельму метит»,— и черные глаза его при этом серьезно и пытливо посматривали на собеседников.

Сорокин не производил впечатления богатыря или отчаянного человека: он худощав, невиден, но жилист и, по-видимому, очень крепок. А о выдержке и смелости его на охоте мне рассказывали многие очевидцы. Павел Евгеньевич никогда не позволял себе избегать поединка с медведем, даже если ружье у него оказывалось заряженным обыкновенной дробью. Почти в упор бил он зверя дробью по глазам и хватался за нож. Отступать мог только медведь.

С Сорокиным вместе я готов пойти еще не на одну берлогу.

Второй мой товарищ, Валентин Степанович Сажин, напротив, казался именно богатырем, а таков ли он на самом деле, сказать и сейчас не могу. Но по одному тому, что он — давний водитель вездесущих райкомовских «газиков», причем мне ни разу не приходилось видеть, чтобы он когда-нибудь выходил из равновесия, а это при здешних дорогах, одинаково жутких зимой и летом, предполагает наличие в человеке истинного стоицизма,— по одному этому я готов и впредь полагаться так же и на Сажина при любых обстоятельствах. Правда, на первой охоте он немного сплоховал, но это извинительно, и об этом потом. Я убежден, что, посади Валентина Степановича хоть сегодня в любой космический корабль, он только спросит: «Горючего хватит?» — и полетит.

Сажин привык, что в райком обращаются разные корреспонденты «за фактами», и, рассказывая о случаях на охоте, время от времени осведомляется: «Может быть, вы это используете?» Или: «Может, вам такой фактик подойдет? А вот еще один материальчик!»

По-моему, приврать он не умеет. Он скромен.

— Мне больше приходится тетеревов да глухарей бить,— рассказывает он о себе.— А медведей я не бивал. У меня в «газике» всегда малокалиберка лежит. Едешь поутру, а тетерева на березах, как головешки. Машин они не боятся, подпускают рядом. Подкатишь и, не выключая мотора, приоткроешь дверку и начнешь снимать с нижних веток. Нижний падает — верхних не пугает. А глухари те в весеннее время на зорьке по дорогам гальку собирают да в лошадином помете ковыряются. Ну тоже так: ветровое стекло подымешь и выцеливаешь, поверх капота, как с тачанки. А медведей я не бивал.

— Неужели ни одного, Валентин Степанович?

— Нет, одного-то убил. Так, на ходу, без подготовки, неинтересно. Подвернулся — и убил.

Вслед за этим Валентин Степанович спрашивает:

— А вот такой сюжетик для вас не пригодится? Старый, хитрый медведь целое лето резал скот у самой деревни, и чего только не предпринимали охотники, а справиться с ним не могли. Перехитрил медведя пятнадцатилетний мальчишка. Что делал медведь? Он выжидал, когда какая-нибудь корова отстанет от стада и заночует в лесу, и драл именно ее. Над мальчишкой посмеялись, когда он похвастал, что все равно пристрелит эту хитрую лису, а отец даже пригрозил выпороть его. Что сделал мальчишка? Он отправился в лес во время какого-то праздника, когда отец и мать были в гостях, и с собой взял одностволку да еще колоколец с коровы. В сумерки он выбрал место среди деревьев с хорошим круговым обзором; стоит, дрожит от страха, а сам нет-нет да брякнет в колоколец. Заночевавшие коровы тоже так изредка позванивают, когда муха укусит, много шуметь боятся. И хитрый медведь пришел. Мальчишка перепугался, когда медведь, почуяв человека, взревел и встал на дыбы, но все-таки выстрелил и сам убежал, бросив ружье. А ружьишко-то было старое, запущенное, но все-таки ружье. Мальчишка дома до утра ничего не говорил, а утром сказал, что ружье бросил в лесу. Отец покричал, покричал, но собрал мужиков, и пошли в лес. Нашли ружье и мед-

ведя пудов на восемнадцать — пуля пришлась в хорошее место, наповал его срезала. Если хотите, мы при случае съездим к этому мальчишке, осмотрите все на месте. Кажется, что Павликом зовут.

Хозяйка вторично согрела самовар, подносила закуску — свиной холодец, капусту, рыжики, моченую бруснику. В прошедшую осень был редкий урожай грибов и ягод, боялись даже, не к войне ли.

Знаете ли вы, например, что такое шировега? Шировега — это замешанная с толокном на сладком соку журавлиха. А журавлиха — клюква. А что такое дежень с простоквашей? Конечно, тоже не знаете? Дежень — густо замешанное уже на соленой воде толокно и политое простоквашей. Удивительно вкусная еда, особенно когда за всем этим стоит детство.

Шировегу и дежень в больших белых мисках ставила на стол наша добрая хозяюшка, ставила и суеверно упрекала нас всех:

— Отпетые головушки, кто же неубитого медведя пропивает, потерпели бы хоть немного!

— А вот однажды я сам видел,— начал новый рассказ Павел Сорокин,— медведь залез на столб к электрическим проводам, думал, видно, что там пчелы гудят, током его дернуло, он грохнулся на землю, лежит и лапами от пчел отмахивается. Бить его было очень просто.

— Убил, что ли?

— Убил, только мы с ним долго вокруг столба друг за другом бегали. Это все-таки не в берлоге. В берлоге медведя убить просто, все равно что к теще на блины сходить.

Сорокин бьет не только медведей, он ставит капканы, петли и на некоторых других зверей. Было как-то, в его проволочные витые петли попали корова и две телки. Попали и стоят, не задохлись, потому что колхозные, привыкли к привязному содержанию.

Почти весь вечер молчал третий наш товарищ, сотрудник редакции районной газеты Каплин Вадим Николаевич. Зато он хорошо слушал и не пропускал, не записав, ни одного сюжетика, которые подкидывали Валентин Степанович и Павел Евгеньевич. Каплин готовится к большой работе в литературе.

Но надо сказать, что Каплин каждое лето сам вскапывает лопатой где-то в дальних лесах небольшие полянки и засевает их овсом для медведей. На краю каждой

такой полянки он заранее строит лабазы. Молчун, молчун, а охотник он настоящий!

Был с нами, конечно, и хозяин дома — отличный, остроумный собеседник и милый товарищ, председатель колхоза Воронин Николай Михайлович. Он не собирался на охоту, и потому о нем говорить я буду меньше всего. Он только что вернулся из Москвы с совещания, отчитался о поездке перед колхозным активом и воспользовался нашей безобидной компанией просто, чтобы немножко отдохнуть, поразвлечься. Правда, он сам больше развлекал нас.

— С этой работой и поездкой я всю пьянку запустил,— говорил он.— Давайте наверстывать.

В курятнике у порога запел петух. Это было первое предупреждение, что пора расходиться. Но с места никто не поднялся.

— А вот еще случай,— начиналась очередная байка,— пошел я на овес медведя подсидеть и взял с собой бабу: пускай, думаю, хоть раз в жизни посмотрит, как я медведей бью. Забрались мы на лабаз меж двух елок, бабу я посадил повыше себя: так, думаю, целее будет,— сам сижу как раз под ее сарафаном. Стемнело: в лесу темнеет быстро. Стихло, только далеко где-то молоковоз проехал — пустые бидоны прогремели, да какие-то пастухи с коровами запоздали, кричат на весь лес, друг друга подбадривают, чтобы не бояться. Совсем стихло, слышно, в овсе мыши шуршат, заяц пробежал. Баба у меня сморкаться начала, мелко трясется, переживает. Потом ее икота одолела. Я тычу ей снизу, молчи, дескать. И ведь, что удивительно: медведь все-таки иришел. Елозит он по овсу, чавкает, а видимость еле-еле. Я приладился с ружьем, направил стволы, только бы выстрелить... Вдруг баба прямо на меня...

— Что?

— То-то что...

— Грохнулась?..

— Кабы грохнулась...

— Так и не убил медведя?

— Какой уж тут медведь!

Опять запел петух у порога, а с места никто не поднимается. Председатель Воронин больше оставаться с нами не мог.

— Вы тут допивайте, а я пойду драку организую, чтобы не скучно было,— пошутил он в последний раз и ушел куда-то, наверное, спать.

* * *

После обильного снегопада лес отяжелел, стал седым и старым. Даже сосновые ветви, не только еловые, опустились вниз, провисли. Появилось бесчисленное множество пригнутых к земле тонких, длинных стволов. То крутые, то пологие, они напоминали городские новогодние арки: казалось, сбрось снег с такой и прочтешь: «Добро пожаловать!» Либо — ямщицкие дуги: стоит тряхнуть посильней, и зарокочут под свадебной дугой переливчатые бубенчики.

Снегу намело много. Дороги и тропинки в лесу исчезли, если не считать заячьих стежек. Сугробы мягкие, пышные, сдобные, местами снег ровен, а чаще лежит огромными буграми. Приближаешься к такому бугру и заранее настораживаешься: и здесь не медвежья ли берлога?

Хвойный лес, особенно густой после метели, страшноват, а голый — березничек, осинничек — сказочно легок и прозрачен, весь в инее, в изморози и светится.

Четверо, мы заходим все глубже в густой хвойный лес.

Конечно, хорошо бы первые километры проехать на санях, но лошадей в колхозе просить постеснялись: мало их осталось, сейчас на них возят сено и дрова. К тому же целина снежная началась почти от самой деревни.

Собак так же не взяли, потому что медвежатниц ни одной не нашли, а пустолайки могли только помешать нам. Хотя обе берлоги обнаружены были именно пустолайками, о которых говорят, что охотятся они лишь за норками да за хлебными корками.

— Охотников настоящих не стало, и собак не стало! — как-то сказал об этом Сорокин.— Вот у охотника Ивана Осина из Кьянды была медвежатница, так он ее дороже всего своего дома ценил. Когда делился с сыновьями, все хозяйство им отдал, себе только собаку-медвежатницу оставил. Зато уж и бил зверей! Старуху в решете, говорит, не найти, а медведя в лесу я завсегда найду.

Меня очень подводят мои беговые многослойные лыжи таллинского производства: они слишком узки для таких снегов, я то и дело проваливаюсь. А товарищи мои — Сорокин, Каплин и Сажин — идут на самодельных, подбитых лосиной шкурой: лыжи эти широки и недлинны, потому маневренны в любых зарослях, а главное, не со-

скальзывают назад при подъемах. Мне сочувствуют молча.

Сегодня мы все немногословны. Немногословны с самого утра — как встали задолго до рассвета, умылись в очередь, поели жирного свиного супу, конечно, без всякой опохмелки, оделись и обулись неторопливо, я бы сказал, старательно, проверили ружья и пантронташи на ремнях, прицепили ножи на пояса, я — широкий сверкающий номерной, молчим и после того, как стали на лыжи и тронулись в путь полем, к реке, потом за реку, в лес, в ельник. Никаких анекдотов, даже шуточек, никаких рассказов о медведях. Вековые охотничьи суеверия вступили в силу, их власть распространилась и на нас: идешь на пожар — над огнем не смейся. Медведь еще не убит, с этим шутить нельзя. Вчера пошутили, и достаточно. Более того, всем казалось, что вчера шутить столько не следовало. А сегодня даже упоминать о медведе не полагалось, а если уж без этого обойтись было невозможно, то говорили сдержанно, уважительно и называли зверя только местоимением: *он*.

— *Он* должен сегодня лежать крепко, погодка подходящая!

Я позволил себе однажды спросить:

— А если — *она?*

Меня даже не удостоили ответом. И молчаливая сосредоточенность стала еще выразительней. Может быть, страх вступил в свои права? Нет! Не все, идущие в бой, думают о смерти, но белье перед атакой стараются сменить все. И все не любят болтать в эти часы и минуты. Мне кажется, что и Сорокин Павел Евгеньевич больше не думал о тещиных блинах.

Заячьи следы в диком хвойном лесу исчезли — здесь местожительство не для легкомысленных зверьков. Стучат дятлы — и то осторожно, тихо. Пригнутых к земле деревьев здесь так же много, но это уже не березки, не ольхи, не рябинки, а толстые, многолетние стволы елей, сосен, берез. Дуги, да не те! Не медведи ли их гнули? Все больше валежника, колдобин, коряг, выворотней. Чуть подул ветерок — и нас всех осыпало снегом с вершин. Где-то далеко жалобно скрипит дерево. В большом лесу всегда что-нибудь скрипит, без этого не бывает.

Однажды под самыми моими лыжами взорвался снег: вылетели два рябчика и быстро скрылись за деревьями.

Это произошло так неожиданно, вдруг, врасплох, что я, вероятно, побледнел: все-таки ведь идешь и думаешь о медведях, а не о рябчиках.

— Мы, кажется, сбились, не найти, наверно, ничего! — вдруг безнадежно махнул рукой Сорокин.

Не хочу рисоваться: на какое-то мгновение от этих слов я почувствовал легкость в душе. Подумалось: не найдем берлогу — и все, значит, не судьба. Переживаний всяких и без того уже достаточно!

Но я быстро справился с собой и заметил с упреком:

— Я же говорил, что надо было обложить! — И уже искренне боялся, что мы можем ничего не найти.

— Обкладывай не обкладывай, вьюга мела не одну неделю. Лес узнать нельзя.

Каплин отошел в сторону и начал осматриваться, принюхиваться.

Шофер Сажин не спешил вмешиваться в разговор, он еще не считал, что «сели на диффер».

— Собачку бы теперь!

Вдруг неторопливый Каплин позвал всех к себе.

— Не сбились! — сказал он.— Это что?

— Где?

— Смотри прямо!

— Те-те-те!.. Если это и берлога, то не наша, другая.

— Их здесь, как грачиных гнезд, что ли?

— Да нет, я не то хочу сказать.

— Ну-ка, стойте здесь! — Сорокин снял ружье с плеча, пошел вперед один.

Медвежье гнездо оказалось у основания двух еловых корневищ, вывороченных буреломом и торчащих стоймя под углом одно к другому. Сверху на корневищах лежало еще два небольших сухих ствола, кажется, сосновых. Все это было прикрыто таким мощным слоем снега, что не сразу удалось обнаружить чело берлоги. Даже Сорокин тихонько сказал:

— Ну и ну! И нам не подойти, и ему оттуда не выбраться. Вон оно — чело! — И он махнул рукой всем, чтобы отошли в сторону: надо было условиться, что кому делать.

Ружей мы уже не выпускали из рук, я даже спустил предохранитель. Кажется, дрожали колени от волнения.

Когда мы отошли метров на двадцать в сторону и сгрудились, как заговорщики, Сорокин сказал:

— Может, придется стрелять в дыру, чтобы вылез. Быстро он тут все равно не вымахнет. Давайте, ребята! Первое слово москвичу — становись вон к той елочке, чуть слева от берлоги. Первый выстрел твой.

Я немедля двинулся на указанный номер.

— Подожди, покурим! — остановил меня Сорокин.

Каплин сказал:

— Стрелять не надо. Я вырублю жердь, островину, и суну ее в чело. Можно подобраться сверху, с крестовины, с валежин.

— Провалишься еще и стрелять помешаешь. Неладно.

— Руби, Вадим, островина — это лучше всего, руби!

Интересно, что с этого момента мы перестали называть друг друга по имени и отчеству, остались только имена, и никакой неловкости никто при этом не испытывал, все произошло само собой.

Воровато закурили по папироске «Север». Каплин — в одной руке ружье, в другой топор — сошел с лыж, но провалился по пояс в сугроб, ухнул, как в медвежью берлогу, и, с трудом вскарабкавшись на лыжи, снова двинулся за жердью.

Все начали осматриваться, поправлять пояса, проверять,— в который раз! — есть ли в стволах патроны.

А я, разнесчастный человек, опять стал думать о том, как опишу эту свою встречу с медведем, и не упустить бы чего-нибудь, и нельзя ли извлечь, высосать какое-нибудь стихотворение из всего происходящего,— давно я уже не писал стихов! — только бы зацепочку какую-нибудь найти, изюминку бы, мыслю бы!..

— Давай, ребята, нечего раздумывать! — Это подошел с вырубленной островиной Вадим Каплин. Он, наверно, плюнул сейчас на свое писательское призвание — не до того! Ружье у него на плече, на другом — длинная сучковатая жердь. На таких жердях с сучьями, островинах, развешивают скошенный горох для просушки: тот же озород, стог, но тонкий, почти просвечивающий, и продувается насквозь. Медведя выживать из берлоги лучше островиной, а не гладкой жердью, потому что острые сучья заставляют его вылезать на свет неторопливо, и целиться в него легче.

— Давай, ребята, надо подходить! — командует опять Сорокин. Он все говорит шепотом.— Сашка, бери влево (Сашка — это я) — стрелять сбоку легче и другим не помешаешь. Вадим, подожди, номера займем. Валька

(Валька — это Сажин), становись справа, вон — к сушине. Далеко? Нет, метров восемь, в самый раз.

Валька быстро скользит к своему номеру и сваливается с лыж, как с рельсов. Самый рослый из нас, он все-таки проваливается в сугроб по грудь и, ничего не видя, начинает плясать на месте, приминать, притаптывать снег. Уши его шапки с длинными шнурками от ботинок мотаются то вверх, то вниз.

— Шурка,— шипит он мне (Шурка — это тоже я),— отаптывайся!

Я прыгаю с лыж, рассчитывая, что так же провалюсь, но на моем номере снег оказался мелким. «Хуже это или лучше? — думаю я.— Чело, вот оно, перед глазами. В случае чего и укрыться некуда, а в снегу я был бы, как в окопе. В окопе? Чепуха!..»

Приминаю снег пошире, топчусь. Валенки у меня большие, брюки ватные, тужурка меховая, летная, полученная в «Литературной газете» еще для поездки в Приморье, очень теплая, шапка сурковая, китайская, жаркая. Вероятно, от меня идет пар гораздо сильнее, чем из медвежьей берлоги. Надо было и мне надеть ватник, «куфайку», как говорят здесь, в «куфайках» все мои товарищи, им жарко не будет. И патронташи у них поверх ватников, а у меня под меховой тужуркой.

Пашка Сорокин становится шагах в пяти от меня, и я вдруг увидел, что глаза у него смеются.

— Ну, что? — весело спрашивает он.

Вот черт!

И опять где-то скрипнуло дерево. Снег белый, глубокий, небо мутное, зимнее, лес кругом; что еще можно заметить в последнюю минуту!

— Эй, хозяин! — заорал вдруг над самым моим ухом Сорокин.— Вылезай, перевыборы! — Он настроен по-озорному. Разве уж такое это привычное дело — бить медведя?

Хозяин не отозвался. Видит он нас или не видит?

— Эй, хозяин! Сдавайся!

Ни звука.

— Давай, Вадим, подберись, ткни!

У Вадима ружье на плече (это мне запомнилось, удивило меня), в руках сучковатая островина, он бредет по сумету без лыж, все ближе, ближе к медвежьему жилью, сбоку от чела, чтобы не мешать нам стрелять. Лицо его, молодое, сумасшедшее, затененное шапкой, кажется со-

вершенно черным: негр, а не Каплин. Только вряд ли бывают такие низкорослые негры. А снег белый-белый, яркий-яркий...

«Да ну, скоро ли наконец?»

— Приготовиться! — кричит кто-то опять, наверно, Сорокин.

Каплин подобрался к самому челу хозяйской берлоги («До чего же он неосторожен, а еще писателем хочет стать!») и с трудом просовывает жердь комлем вперед. Я предполагал, что это будет мощный бросок издали либо сверху вниз и что кидать островину будут, по крайней мере, двое — она же сырая, тяжелая. А Каплин просто сует ее не спеша, да еще кряхтит и кричит:

— Ну, где ты там?!

И вот медведь заревел.

Я смущен: написал уже довольно много, но все пока не о самом главном. А когда дошел до самого главного, то, оказывается, и писать больше нечего. Самое главное произошло быстро и, конечно, совсем не так, как обычно предполагаешь заранее, потому показалось неинтересным. Я был разочарован. Борьбы не было — вот что меня разочаровало, я же готовился к борьбе за жизнь, готовился к бою.

Медведь заревел, но не выскочил из берлоги, не вырвался, не «пошли клочки по закоулочкам», а просто высунул голову и стал принюхиваться и осматриваться. Должно быть, островина ему действительно мешала своими сучьями, но, кроме этого, он был просто ослеплен сиянием снега, дня. Я не видел его глаз, не почувствовал злобности зверя и не сразу сообразил, что уже пора стрелять. Подстегнул меня крик Павла Сорокина. «Дай Шурке!» Это он рявкнул на Вадима, который готовился выстрелить первым. После этого я выстрелил немедля, но, оказывается, попал уже не в голову, потому что, заслышав голос человека, медведь легко и мгновенно вылетел наружу весь, всей своей двадцатипудовой тушей и поднялся на дыбы. Конечно, никакие сучочки наши ему не помешали, островина просто переломилась.

Я выстрелил два раза. Но, по-видимому, этого оказалось недостаточно: выстрелил дважды Вадим Каплин и по одному разу Сорокин и Сажин. Сажин в медведя не попал, потому что у него разорвало ствол ружья. Это и было, пожалуй, самым примечательным в нашей охоте, об этом разговаривали и смеялись потом больше всего.

Медведь упал мордой в снег, шагнув несколько раз вперед, как подобает в честном бою, потом завалился на бок. На чистом снегу он выглядел особенно грязным.

— Седой, дьявол! — восхищенно сказал о нем не помню уже кто.

В темных глазах хозяина леса долго не потухала неутоленная ненависть к нам, к людям. Желтые нечистые клыки его обнажились.

Теперь насчет «двадцатипудовой туши». Взвешивали мы ее на самодельных рычажных весах, на которых взвешивают возы с сеном, поэтому никто не может поручиться, что медведь весил именно двадцать пудов.

А охотничьи ножи нам пригодились только для освежевания зверя — и то уже не в лесу.

Сажин ружье свое показал не сразу, он понимал, что авария его теперь может вызвать только смех. Так и получилось. Вместо пуль он забил в свои патроны по блестящему шарику от какого-то подшипника, кажется, от тракторного, не проверив предварительно, проходят ли они по всей длине стволов. В чоковом стволе шарик застрял, ствол раздулся, лопнул и отделился от другого ствола. С таким ружьем теперь опасно ходить даже на зайца.

В наказание за эту оплошность мы без жеребьевки отправили Сажина одного на полусогнутых в деревню добывать подводу для Топтыгина. На полусогнутых — значит, бегом. Он побежал. Вдогонку ему кричали:

— Шарики не растеряй!

Разочарование разочарованием, а все же, когда с медведем было покончено, мы были очень возбуждены и расположены к бахвальству. Ощущение удали, молодечества охватило и меня. Вспоминаю, как на Ленинградском фронте в морской пехоте, вернувшись с бойцами из первой удачной разведки, я потребовал у командира батальона по «наркомовской чарочке» для всех и, страшно довольный собой, вылез из окопа, вышел на опушку и красовался на виду у противника. Возможно, что тогда из-за моего молодечества наши позиции были обстреляны из минометов и одного разведчика, только что вернувшегося со мной невредимым, тяжело ранило.

Сейчас мне опять, как видно, захотелось покрасоваться, и я нырнул в берлогу зверя, на место его лежки. На этот раз ничего страшного, конечно, не произошло, но вылетел я оттуда мгновенно: жутко стало от вони, от

ощущения, что па меня набросилась уйма блох и всяких прочих отвратительных насекомых.

Как мы выволакивали трофей из лесу и везли на длинных санках, на которых женщины обычно таскают белье к речным прорубям для полоскания, как везли медведя по деревне в сопровождении дюжины ребятишек,— это уже рассказ не об охоте, писать об этом менее интересно. Скажу только, что, возвратившись в деревню, к людям, мы как-то само собой, не сговариваясь, восстановили в правах имена и отчества друг друга и отказались от прозвищ, тем более от грубых, бранных. А в лесу такие прозвища, и, надо сказать, весьма остроумные, давались довольно легко.

До чего же мы были разговорчивы весь этот день, особенно вечером! И постепенно начали чувствовать себя героями! И все совершившееся стало представляться уже необыкновенным. И, конечно, каждый рассказывал об этом по-своему. И опять появились разные байки, бухтины, присказки и сказки. Но только без очковтирательства, все — сущая правда.

II

Второй медведь еще не убит.

Берлогу мы уже навестили и видели, как из нее идет парок — медведь дышит. Больше ничего о нем, о неубитом, сказать пока не могу, чтобы не сглазить ни его, ни себя. Павел Евгеньевич Сорокин почему-то считает, что со второй берлогой следует немного повременить.

1962

ВОЛОГОДСКАЯ СВАДЬБА

Из самолетов АН-2 выходят жители вологодских и костромских деревень, хлеборобы, служащие. У старушки, одетой в дубленый полушубок, в руках фанерный чемоданчик и туесок, наверное, с рыжиками: видно, отправилась старая «на города», на побывку к сынку или к дочери. Старик, кроме такого же фанерного баула и привязанной к нему пары новеньких лаптей с липовыми оборами, тащит берестяный заплечный пестерь, на котором сбоку торчат две веревочные петли. С пестерями такими ходят на сенокосы, на дальнюю охоту, на лесные промысла, в петли вдевается топор,— мне это знакомо.

На старика ворчит пилот:

— Весь самолет мне закровенил. Что у тебя течет из пестеря, отец? Мясо, что ли?

— Журавлиха, не мясо. Растаяла окаянная!

Журавлиха — клюква: старик везет ее кому-то в подарок.

— А лапти зачем? — спрашивает пилот.

— Сын просил сплести для баловства. В Ленинград еду.

Все очень буднично. Но именно эта будничность и волнует: авиация вошла в быт.

Пассажиры устраиваются на грузовик-такси и отправляются на железнодорожную станцию. А оттуда на аэродром подъезжают новые пассажиры, уже побывавшие в гостях: в руках у них не баулы, а чемоданы, и сами приоделись — вместо ватников и затасканных полушубков на многих городские пальто, на головах добротные шерстяные шали, меховые шапки.

Мне, грешному, кажется, что, отправляясь «на города», мои земляки сознательно одеваются похуже, прибедняются, чтобы вернее разжалобить своих «выбившихся в люди» родственников.

Покупают билеты, выстраиваются в очередь к самолету. Я слежу: не охнет ли хоть одна старушка, не перекрестится ли? Нет, ни одна не перекрестилась, ко всему привыкли.

А я лечу в деревню на свадьбу.

Я уже не очень верил, что сохранилось что-нибудь от старинных свадебных обрядов, и потому не особенно рвался за тысячу верст киселя хлебать, когда получал время от времени приглашения на свадьбы. К тому же приглашения эти приходили из родных мест обычно с запозданием на два-три дня и не обещали ничего интересного.

«Шура, приезжай, Тонька с Венькой безруким уписываются».

Или:

«Дуньку Волкову пропивать будем, приезжай, погуляем!»

А тут пришло письмо, написанное какими-то иными, душевными словами и, главное, вовремя:

«Дядя Шура, наша Галя выходит замуж. Жених работает на льнозаводе. Пиво мама спроворила, и все будет по-честному, как следно быть. Приезжайте, дядя, обязательно, не откажите в нашей просьбе. Едьте, пожалуйста!»

Письмо писала сама невеста, хотя от третьего лица и без подписи. Казалось, от того, буду я на свадьбе или не буду, зависит ее дальнейшая судьба. Я отбросил все дела, наспех «спро́ворил» кое-какие подарки для невесты и для родных и выехал.

Поездом до станции Шарья двенадцать часов да самолетом над лесами минут сорок пять, если, конечно, самолеты ходят, это не очень уж страшно. Правда, в Шарьинском аэропорту из-за плохой погоды можно проторчать и несколько суток. Но другой возможности благополучно добраться до моего района, по существу, нет. Грузовики ходят нерегулярно, и никогда нельзя надеяться, что вы на грузовике доберетесь быстрее, чем пешим.

Раньше, на конных подводах, можно было рассчитывать время довольно уверенно, теперь же дороги разбиты настолько, что в весенне-осенние распутицы, а зимой в метели и снегопады движение по тракту надолго прекращается вовсе. «Золотая дорожка!» — с горькой иронией говорят героические вологодские шоферы. Три-че-

тыре рейса — и новая мощная машина сдается в капитальный ремонт.

Мне повезло. На третий день после выезда из Москвы я был уже у невесты в гостях. Последние километры пути шел на лыжах по заячьим тропкам среди сказочных березовых рощ с тетеревиными стаями на вершинах.

— Ой, приехал! А я ведь и думать не думала!— удивленно вскрикнула Галя.

Круглолицая, розовощекая, очень подвижная, она взволнована предстоящим — и радуется и тревожится. Но работы столько, что на переживания ни сил, ни времени не остается.

Галю почти невозможно разглядеть, она носится по дому — не ходит, не бегает, а носится. Но я-то ее знаю давно, и что мне ее разглядывать?

С тех пор как я ее не видал, Галя не стала выше ростом, не стала пригляднее, осанистей или, как здесь говорят, становитей. А между тем в деревне своей она считалась одной из лучших невест. Почему? Потому ли, что единственная дочка у матери и наследница всего дома? Отчасти, может быть, и поэтому. Но такие невесты в деревне есть и кроме нее. Все они не дорожат своим наследством, стараются бежать из дому, устроиться на какую-либо неколхозную работу, как это сделала и Галя, перебравшись на льнозавод.

Нет, достоинства Гали — недородной, нерослой, несильной — в другом. Она из очень работящего рода, а уважение к такому наследству живет в крестьянах и поныне. Большое и хорошо налаженное хозяйство ее дедушки по материнской линии было в горячее время коллективизации развалено твердыми заданиями. Кажется, то же случилось с дедушкиным домом и по отцовской линии. Но так как ни в том, ни в другом хозяйстве никогда не пользовались наемным трудом, то в народе осталось лишь сожаление о случившемся и доброе сочувствие к напрасно пострадавшим людям.

А извечное трудолюбие и непоседливость перешли от дедушек и бабушек к нынешней невесте и стали ее главным приданым, которое скрашивало в глазах женихов ее низкорослость и неприглядность. По-видимому, страсть к работе она успела показать уже и на льнозаводе.

Мать Гали, Мария Герасимовна, вдова, много рожавшая и много страдавшая на своем веку и сейчас, после ги-

бели мужа на войне, расстающаяся с последней своей опорой, даже спать перестала. Лицо ее осунулось, глаза испуганно мечутся по избе: все кажется, чего-то еще не сделано, что-то она просмотрела, упустила. Пол выскреблен и вымыт до блеска, посредине избы постланы лучшие половики своего тканья, рамки с открытками и фотографиями висят как будто не косо, на окнах тюлевые занавески, на гвоздиках расшитые вафельные рукотерники и платы старинной работы, сохранившиеся еще из девок, от того времени, когда она сама замуж выходила. Платы и рукотерники висят и на божнице, и на рамках с фотографиями. А в рамках вместе с изображениями родных и знакомых и совершенно случайных, никому не известных людей красуются цветастые открытки, посвященные Дню Парижской коммуны, Восьмому марта, Первому мая, Новому году и первым космическим полетам. Тут же открытки с корзинками аляповатых цветов и со смазливыми нарумяненными личиками в сердечках, с надписями: «Люби меня, как я тебя», «Поздравляю с днем рождения», «Помню о тебе» — и с неграмотными стишками:

Быть может, волны света
Умчат меня куда-нибудь,
Пускай тогда открытка эта
Напомнит вам что-нибудь!

Я переписал их с сохранением орфографии.

Все издано в наше время. Среди этих произведений прикладного искусства вложены, видимо для заполнения пустых мест, листки из отрывных календарей разных лет: на одном — портрет Луи Арагона, на другом — маршала Тимошенко, на третьем — диаграмма неуклонного роста надоя молока по годам в процентах.

В отдельной рамке цвета пасхальных яиц вставлена почетная грамота невесты, подписанная директором льнозавода и председателем фабрично-заводского комитета: «За отличные показатели в выполнении производственного плана, в честь сорок третьей годовщины Великой Октябрьской социалистической революции».

Мария Герасимовна заправляет керосином и развешивает под потолком в разных местах пять ламп — две свои и три взятые у соседей. Затем придирчиво осматривает все снова, поправляет несколько покосившихся фотоснимков, встряхивает полотенца, чтобы получше видна была вышивка на них, еще раз протирает зеркало...

— Кажется, все как следно быть?

Ей особенно нравится картина, написанная молодым местным зоотехником. На огромном и страшном звере, должно быть, волке, хотя морда у зверя явно лисья, Иван-царевич увозит куда-то свою ненаглядную Елену Прекрасную. Полотно во всю стену, золота много, деревья и цветы небывалых размеров. Уж она ли, Мария Герасимовна, не знает лесов темных, дремучи-их — сама всю жизнь в лесу прожила, но таких диковинных стволов даже во сне не видывала. И этакую красотищу зоотехник отдал всего за два килограмма сливочного масла, подумать только! Не порядился даже добрый человек! Из всех его картин, какие висят теперь в окрестных деревнях, ей досталась самая большая, самая баская, самая яркая. Даже три толстых мужика на богатырских кобылах ей меньше приглянулись, чем дикий лес и этот волк — страшилище мохнатое.

Верит Мария Герасимовна, что, если бы не малевание зоотехника, не так нарядно было бы в ее избе.

А все-таки увозит Иван-царевич свою сугревушку из ее родного дома, от батьки с маткой! Увозит! Вот и у нее, у Марии Герасимовны, увезут на днях дочку Галю за сорок километров. Приедут на грузовике вместе с директором льнозавода, выпьют все пиво и заберут девушку. Хорошо, конечно, а все-таки жалко и жутко: одна теперь, старая, останется.

Мария Герасимовна напоследок перевела стрелки ходиков — отстают шибко,— перевела на глазок, наугад. А другие ходики, что давно висят без гири и без стрелок, украсила вафельным свежим рукотерником: зачем их снимать со стены? Пусть не ходят, а все-таки еще одна картинка в доме — цветочки, и лесок, и поле.

Теперь совсем хорошо стало!

— Что так далеко замуж отдаешь дочку? — спрашиваю я.

— Шибко далеко! — горестно подтверждает Мария Герасимовна.— Захочется повидать — не добежишь до нее. Заплачешь — слезы утереть некому. Сорок километров — шутка ли!

— Где же они встретились?

— Там и встретились, на льнозаводе. Галя там работает третий год, тресту в машину подает, а он, жених, на прессе лен в кипу укладывает. Года два они гуляли: как из армии пришел, так и заприметил ее, углядел и уж

больше ни на одной гулянке от нее не отходил — люди рассказывают. Все по-хорошему!

Для Марии Герасимовны главное, чтобы все было по-хорошему. А маленькая Галя краснеет, даже разговоров о своей свадьбе стесняется.

— Как будете свадьбу справлять — по-старинному или по-новому?

— Какое уж по-старинному, ничего, поди-ко, не выйдет,— отвечает Мария Герасимовна,— да и по-новому тоже не свадьба. По-старинному бы надо! — заключает она и затем начинает рассказывать, как все должно быть, чтобы все по-хорошему: — Вот приедут они завтра, жених с дружкой, да сваха, да тысяцкой, ну и все жениховы гости, и начнет дружка невесту у девок выкупать. Он им конфетки дает, а они требуют денег, он им вина, а они не уступают за вино, продешевить боятся, невесту осрамить. Ну, конечно, шум, шутки-прибаутки, весело. Ежели хороший дружка, разговористой, так и невесте не до слез, все помирают со смеху.

— А невеста плакать должна?

— В голос реветь должна, как же! Еще до приезда жениха соберутся подружки и начнут ее отпевать под гармошку, все-таки на чужую сторону уходит.

— Она же там работает три года?

— Мало ли что работает, а все чужая сторона. Да и заведено так: родной дом покидает.

— Не умею я реветь,— испуганно говорит Галя,— да и Петя не велел.

— Мало ли что не велел, а пореветь надо хоть немного. По-твоему, расписались в сельсовете — и все тут? Какая же это свадьба!

— Не умею я реветь! — повторяет невеста.

— Ничего, девушки помогут. А то молодицу нашу позовем, у нее слезы сами текут и голос подходящий. Ей реветь не привыкать.

— В загсе были?

— В сельсовете были, как же. Сразу после сватовства съездили. Все по-хорошему. Только ведь что в сельсовете? Расписались — и дело с концом. Никакой красоты.

— Жених приезжал сюда?

— Два раза приезжал. Сначала со свахой, с теткой своей, а потом с суслом, один. Когда сусло поспевает, жених берет бутылку сусла от своего пива и привозит к невесте. А у невесты наливают ему в ту же бутылку сво-

его сусла и договариваются, в какой день ему за невестой приезжать. Наш Петрован даже пиво складывать нам помог.

— Каков жених-то? — спрашиваю.

— Ничего парень, парень как парень. Худощавой! Брови белые. В армии уже побывал — и ладно. Какие нынче в деревне женихи пошли? Все норовят уехать да жениться где-нибудь на стороне, на городах.— Мария Герасимовна задумывается и добавляет: — Ничего парень! Высокой!

Когда Галю просватали, она сняла мерку со своего жениха и две недели сама, и ее мать, и тетя, старушка из соседней деревни, до самого дня свадьбы шили так называемое приданое. Кое-какая мануфактура была заготовлена заранее, недостающее закупали в последнее время. Дирекция льнозавода дала девушке отпуск и месячную зарплату в пятьдесят рублей: все-таки передовая работница. Мать выложила свои многолетние сбережения. Приданое — это и новая одежда невесты, и белье для жениха, и подарки всей жениховой родне: рубашки, фартуки, носовые и головные платки, табачные кисеты.

Кофточку и новое платье на невесте после сватовства порвали ее подружки. Так заведено! Раньше жгли куделю на пряснице, ныне девушки не прядут, а обычай соблюсти надо. Кофточку порвали на заводе, а платье в родной деревне, куда она пришла, уже просватанная. Не порвешь одежду на невесте — не бывать замужем подружкам ее. Бьют же стеклянную посуду на счастье!

Для приданого последней дочери мать отдала свой девический кованый сундук, который когда-то был доверху набит ее собственным приданым. Ныне, сколько ни старались, сундук оставался наполовину пустым, пока не догадались сложить в него и домотканые половики, и пару валенок, и даже ватник.

В день свадьбы задолго до приезда жениха собрались к невесте на кухню, в куть, как здесь говорят, ее сверстницы. Никакого намека на слезы пока не было. Разноцветные сарафаны с широкими сборками по подолу, кофты с кружевными воланами, сатиновые фартуки, шелковые и шерстяные полушалки шуршали, шелестели, и рябило в глазах. Только невеста была в простом ситцевом платьице: ее нарядят, когда поведут к жениху за стол.

Молодость умно справляла свой праздник.

— Девочки, дешевле десяти рублей не брать!

— За такую невесту можно и больше вырядить.

— Жених-то ведь не колхозник, раскошелится.

— За тридевять земель увозят, да чтобы за так!

— Только уступать не надо!

— Это какой дружка попадется. Ежели вроде нашего Генки, так с него голову снимешь, а он все равно зубы заговорит.

Пришел гармонист — паренек лет восемнадцати. Ему подали стакан пива, он немедля уселся на скамью и деловито заиграл. Так же деловито девушки запели первые частушки, которые должны были разжалобить невесту, помочь ей плакать. Начиналась так называемая *вечеринка.*

Я последний вечерочек
У родителей в гостях.
Тятя с маменькой заплачут
На моих на радостях.

Я у тяти на покосе
Заломила веточку,
Придет тятенька на поженьку —
Вспомянет девочку.

В самом углу, за спинами девушек, за разноцветными кофтами и сарафанами, укрылась невеста, счастливая, розовощекая, круглолицая,— ей пора плакать, а она никак не может начать. Рядом с ней сидит ее двоюродная сестра Вера, приготовившая платок и фартук свой, чтобы утирать слезы невесте, расставившая даже колени, на которые Галя должна падать лицом вниз. А невеста все не плачет.

— Плачь, плачь! — уговаривает ее Вера.

Признаюсь, я подумал, что Галя стесняется меня, и уже собирался выйти из кухни. Но вот наконец она решилась, всхлипнула, подала голос. Гармонист, склонив голову, поднажал на басы, девушки запели громче:

Запросватали меня
И богу помолилися.
У меня на белый фартук
Слезы повалилися.

Сидит тятенька на стуле,
Разливает чай с вином,
Пропивает мою голову
Навеки в чужой дом.

Галя плакала плохо, вскрикивала фальшиво, и тогда на выручку ей пришла молодица, жена брата. Она пробилась в угол и с ходу взяла такую высокую ноту, так взвизгнула, прижав голову золовки-невесты к своей груди, что все вздрогнули. А девушки подхватили ее крик и запели частушки, более подходившие к судьбе этой молодки:

Не ходи, товарка, замуж
За немилого дружка,
Лучше в реченьку скатиться
Со крутого бережка.

Не ходи, товарка, замуж,
Замужем неловко жить;
С половицы на другую
Не дают переступить.

Дела сразу пошли лучше: по-серьезному разжалобилась и завыла невеста, хотя лицо ее от слез только больше разгорелось, начали прикрывать глаза платками ее товарки, в голос заревели вдовы. Даже я едва сдерживал слезы: так получалось все естественно и горестно.

Но для матери, Марии Герасимовны, все было мало. Она привела причитальницу-плакальщицу, соседку Наталью Семеновну. Гармонист перестал играть, девушки затихли, когда вошла в куть эта черноглазая, с тонкими чертами лица, старая, но и сейчас еще красивая, несогнувшаяся женщина.

— Давай-ко, Наташа, помоги! — попросила ее Мария Герасимовна.

— А чего это вы коротышки поете? — с упреком обратилась ко всем Наталья Семеновна.— Надо волокнистые песни петь, нельзя без волокнистых. Поди-ко и *кра́соту* не справляли, что за свадьба такая? Позвали бы меня вчера, я ведь и кра́соту всю помню. Раньше мне Митиха Лискина — вот уж причи́тальница-то была! — скажет, бывало: «Садись-ко, Наташка, возле, у тебя голос вольной, учись!» И я с ее голоса, еще девчонкой, все волокнистые, протяжные песни запомнила. Памятью меня бог не обидел. Сколько своих девок после замуж отдавала, ни много ни мало шесть дочерей в люди вывела — как причеты не запомнить! А грамоты не знаю: азбуку прошла и оспой заболела. Потом уж дотягивала, когда взрослых учили, да самоуком. Могу, конечно, прибауточки прочитать и варакать умею, рас-

писываюсь, а все неграмотная. Была ли кра́сота-то у вас?

Никакой кра́соты в доме Марии Герасимовны не было: мать и дочь бегали как угорелые, чтобы все приготовить к приезду жениха и новых гостей как следно быть. Не до волокнистых песен было, не до свадебных обрядов.

— Тогда уж давайте и кра́соты немного прихватим,— решила Наталья Семеновна.— Может, кто подтянет? Или нет?

— Подтянем! — неуверенно отвечали ей.— Ты только запой.

Мария Герасимовна поднесла старушке стакан пива:

— Прочисти горлышко-то, Наташа, легче запоется.

Наталья Семеновна выпила пиво, вытерла губы тыльной стороной ладони и запела печально, волокнисто:

Солнышко ката́ется, дивьёй век корота́ется.
Дивьёй век корота́ется, да пошел день на́ вечер.
И пошел день на́ вечер, да прошел век девичьёй.
И да прошел век девичьёй, да прошло девичьёё житьё.
И прошло девичьёё житьё, все хоже́ньё да гу́ляньё.
Отходила я да отгуляла летом по шелко́вой траве,
И летом по шелко́вой траве, зимой по белому́ снегу.

Казалось, изба стала просторнее, потолок поднялся, а сарафаны да кофты запестрели еще ярче.

Голос у Натальи Семеновны высокий, чистый, не старушечий, пела она неторопливо, старательно, без робости: просто делала нужное людям дело, из-за чего же тут робеть?

Девушки начали подтягивать ей, но вряд ли хоть одна из девушек знала эти старинные свадебные причеты. Подтягивать было легко, потому что каждый стих (строка) причета исполнялся дважды, вернее, окончание каждого стиха переходило в начало стиха следующего, и так без конца.

По этой же причине и записывать причеты с голоса было нетрудно, что я и сделал.

— Приставайте, приставайте, девки! — говорила время от времени Наталья Семеновна.— Подхватывайте! — И сама продолжала петь.

Невеста перестала плакать, она, должно быть, просто забыла о себе, растерялась, настолько необычными показались Натальины плачи после немудрых жалостливых коротышек под гармошку.

Колокольчики сбрякали, да сердечико дрогнуло.
И да сердечико дрогнуло, ретивое приодрóгнуло.
И ретивое приодрóгнуло, да не вё-ошняя вода,
И да не вешняя вода под гору разливалася,
И да под гору разливалася, подворотни вымывала...

— За невестой приехали, вот о чем поется! — пояснила Наталья Семеновна и попросила: — Налей-ко мне, сватья, белушечку, что ты один стака́нчик подала, в горле першит. Ведь говорят: сколько пива, столько и песен.

Мария Герасимовна поднесла ей полную белую чашку пива, считавшуюся почетной, как в старину братыня. Старушка встала со скамейки, приняла белушку с поклоном, обеими руками, но выпила не всю: важна была честь! Затем тщательно вытерла губы и снова запела:

И да не ком снегу бросило, да не искры рассыпались,
И да не искры рассыпались, да во весь высок терём,
И да во весь высок терём ко родимому батюшке,
И ко родимому батюшке, да ко мне молодёхоньке,
Да ко мне молодёхоньке, да во куть да во кутеньку.
Еще дружко-то княжая под окошком колотится,
Под окошком колотится, да в избу дружка просится,
И в избу дружка просится — я сама дружке откажу...
Я сама дружке откажу: дружка, прочь от терёма!
Дружка, прочь от высока — не одна сижу в тереме,
И не одна сижу в тереме — со своими подружками...

Кроме теремов высоки-их и столбов белодубы-их были в песне и князья, и бóяры, и дивьёй монастырь со монашками, были и Дунай — быстра река и Великий Устюг, Осмоловский сельсовет и колхозное правленьице. Рассказывалось в последовательном порядке, как приезжают сваха, и дружка, и жених, и свекор-батюшка, и свекровь-матушка, как они входят на мост — в сени, затем ступают за порог в избу, садятся за стол, требуют к себе невесту и как невеста дары раздает и просит благословенья у отца с матерью, которое «из синя моря вынесет, из темна лесу выведет, и от ветру — застиньице, и от дождя — притульице, от людей — оборонушка». Ведется песня от лица невесты, умоляющей защитить ее от чуж-чуженина — жениха, от князьев и бóяров, ступивших в сени: «И подруби-ко ты, батюшко, да мосты калиновы, да переводы малиновы», либо от лица девушек, высмеивающих сваху: «У вас сваха-то княжая, она три года не пряла, она три года не ткала, все на дары надеялась», а еще высмеивающих скупого дружку: «Что у дружки у нашего еще ноги лучинные, еще ноги лучинные да глаза заячинные...»

Наталья Семеновна увлеклась, распелась, а все нет-нет да пояснит что-нибудь: так мало, должно быть, верила она, что содержание старинного причета понятно всем нынешним, трясоголовым; нет-нет да и вставит какую-нибудь прозаическую фразу между строк. Кажется, свадьба эта воспринималась ею не всерьез, а лишь как игра, в которой ей, старой причитальнице и рассказчице, отведена главная роль.

— Это ничего, что прс мона́стырь пою? — спрашивает она вдруг.— Нынче ведь нет монастырей-то.

Или вдруг:

— Может, надоело кому? Укоротить, поди, надо? Раньше ведь подолгу пели да ревели, а нынче живо дело отвертят...

Спросит и, не дожидаясь ответа, продолжает петь. А однажды она приказала девушкам:

— Теперь переходите на другой голос, чтобы невесте еще тоскливее стало! — И са́ма изменила мотив.

Услышав эти слова, Галя, давно молчавшая в своем углу, заревела снова громко, надрывно, всерьез. Совсем свободно заплакалось ей, когда Наталья Семеновна помянула в песне родимого батюшку: Галя осиротела рано и поныне тоскует по своем отце-солдате.

Жених, сваха, тысяцкий, дру́жка и все гости со стороны жениха приехали за невестой на самосвале: другой свободной машины на льнозаводе не оказалось. В кузове самосвала толстым слоем лежало свалявшееся за сорок километров желтое сено.

Ничего похожего на серого волка!

Раньше забирали невесту и справляли свадьбу сначала в родном дому жениха, затем возвращались пировать к родителям невесты. От заведенного порядка пришлось отступить и сделать все наоборот: отпировать у невесты и лишь после этого везти ее «на чужую сторону». Такая перемена диктовалась отсутствием транспорта и слишком большими перегонами взад-вперед.

Как приложение к даровому самосвалу пировать к невесте прибыли несколько конторских работников с льнозавода во главе с директором. Эти гости считались почетными.

Перед въездом в деревню гостей встретила бревенчатая баррикада — ее соорудили местные молодые ребята.

По обычаю, свадебный поезд следовало задерживать в пути и брать за невесту выкуп, а грузовик не тройка с колокольчиками, его живой людской цепочкой не остановишь.

Стоял большой мороз, не меньше тридцати градусов, и, конечно, парни работали и топтались на холоду не из-за корысти, не из-за бутылки водки. Для них свадьба была чем-то вроде самодеятельного спектакля. В огромной деревне Сушинове до сих пор нет ни электричества, ни радио, ни библиотеки, ни клуба. За два последние года сюда не заглянула ни одна кинопередвижка. А молодости праздники необходимы! Пожилые колхозники по вечерам дуются в карты, собираясь из года в год в избе Нестора Сергеевича, оплачивая этому добровольному мученику за помещение, за грязь, за керосин с кона. А куда деться молодым? К тому же почти все они обременены семилетним и восьмилетним образованием. Раньше девушки пряли лен, собирались на беседки к одной, к другой поочередно, туда же тянулись и парни. Теперь лен трестой сдают на завод. И вот каждая свадьба в деревне становится всеобщим праздником, всеобщей радостью. Не потому ли и сохраняются здесь почти в неприкосновенности все былые обычаи и обряды с волокнистыми песнями про князей и бояр?

Перекрытые полевые ворота зимой не объедешь и даже не обойдешь: снежные сугробы достигают здесь двухметровой глубины. Счастливые озорные парни торжествовали: гости, закоченев в самосвале, не торговались и долго расхваливать невесту не пришлось. А главное, было весело.

Весело стало и в избе невесты, как только ворвался туда дружка Григорий Кириллович. Бывалый человек, с неуемным озорным характером, прошедший во время войны многие страны Западной Европы как освободитель и победитель, он сохранил в памяти бесчисленное количество присловий и прибауток из старинного дружкиного багажа и не пренебрегал ими.

Сват да сватья,
Наехала сварьба,
Мне не веритё —
Сами увидитё! —

закричал он, стуча кнутовищем по крашеной лазоревой заборке, отделяющей горницу от кухни.

Невеста еще плакала, причитальница пела, девушки подпевали, как умели, но всем было уже не до того и невесте не до слез. Гриша завладел общим вниманием, властно подчинил все звуки своему немного охрипшему на морозе голосу.

Ворвался на кухню и жених. Он оказался и впрямь несообразно высоким и худосочным. Вспомнились слова Марии Герасимовны: «Какие нынче женихи пошли, в армии побывал — и ладно. Ничего парень! Брови белые!..» Звали его Петром Петровичем.

Чтобы довезти жениха до невесты живым, не заморозить, ему разрешено было по дороге пить со всеми наравне, и Петр Петрович ввалился на кухню пьяным и гордым собою не в меру.

Галя сразу притихла, начала поспешно вытирать слезы. Стало понятно, почему она так долго отказывалась выполнять старые обычаи на своей вечерине.

— Я тебе что сказал? — с ходу властно заорал Петр Петрович.— Я тебе сказал: не реветь! А ты что? Что, я тебя спрашиваю?

— О, господи! — ужаснулась испуганная Наталья Семеновна.— Еще не мужик, а уж форс задает. Что потом-то будет?

— Что ты, Натаха, неладно-то говоришь? — с упреком кинулась на нее Мария Герасимовна.— Что он такое сделал? — И начала уговаривать, успокаивать своего будущего зятька: — Петя, Петенька! Ничего, Петенька! Ну поревела маленько, так ведь ничего это, Петенька! Так заведено, Петенька!

А невеста от страха вдруг заревела пуще прежнего. Ее прикрыли собою девушки.

— Кому венчаться, а мне разоряться,— продолжал балагурить Гриша.— Сколько с меня, девки?

У каждого дружки своя манера балагурить. Кроме расхожего, известного повсюду набора острот и поговорок, у него должны быть и свои шутки-прибаутки. Чувство юмора и находчивость для него обязательны. Это уже область творчества. Не всякого приглашают в дружки.

Григорий Кириллович сначала кинул в сарафанные подолы девушек несколько горстей конфет, а затем стал с силой забрасывать их серебряными монетами. Делал он это с ожесточением — не то от злости, не то от великой щедрости. Деньги покатились по полу, под стол, под скамейки. Зазвенели окна, лопнуло стекло у иконы, каза-

лось, вот-вот разлетится вдребезги и ламповое стекло; кто-то завизжал от страха, Наталья Семеновна прикрыла фартуком лицо.

Но все монеты оказались устаревшими, дореформенными. Смех и грех! Собственно, греха не было, был только смех и новый повод для взаимных острот и насмешек.

Девушки все же настояли на своем: жениху и дружке пришлось дать приличный выкуп за невесту вином и настоящими деньгами.

После этого к Гале была допущена сваха. Пожилая женщина проделала истово и торжественно все, что полагается согласно старым обрядам. Она помогла невесте одеться тепло, по-зимнему, как бы в дальнюю дорогу, хотя уже все знали, что сегодня никакой дороги не будет, и так, в зимнем пальто, вывела ее из кухни, маленькую, толстенькую, и посадила за стол в красный угол рядом с женихом, который так же был одет по-зимнему, в чем приехал. Под сиденье жениху и невесте постелили кошули — полушубки, поддетые материей, чтобы молодые возвышались, «как на троне». Невесте под сиденье положили кошулю потолще. Долговязый жених, взгромоздившись на трон, едва не достал головой до потолка.

Начался пир, по кругу пошла белушка, родственники первыми поздравляли молодых, кричали им «горько», требовали «посластить». Молодым разрешалось пить только из одного стакана — за этим следили строго, чтобы жених не переложил еще больше. Как видно, слабость эта за ним водилась.

Начали собираться гости и со стороны невесты. Каждого входящего встречали еще у порога стаканом пива либо белушкой.

Понесли «сладкие пироги».

Сладкие пироги на северных сельских свадьбах и других праздничных пирах обязательны. Традиция эта давняя, может, многовековая.

Сладкий пирог — белый, сдобный, круглый, величиной с решето, а то и больше. Сверху на нем всякие завитушки, плетеные узоры из теста и разноцветные монпансье («лампасея») да еще изюм. Нынешние свадебные пироги из-за отсутствия в районе изюма и ландрина украшены были бледными конфетами-подушечками с повидловой начинкой.

Вот когда я пожалел, что не вспомнил в Москве об этих сладких пирогах. Каких бы разноцветных атласных

и прочих подушечек мог набрать я в гастрономическом магазине «Ударник»! Леденцы там по своему разнообразию и многоцветности не уступают коктебельским камушкам. Все это дешевое богатство я мог привезти с собой, и оно успело бы попасть на свадебные столы.

Вспоминаю свое детство: после праздников мы, малые ребятишки, допускались к сладким пирогам и с вожделением выковыривали «глазки» — ландринки, запеченные в тесто.

Сладкие пироги на Севере — такое же народное творчество, как резные наличники на окнах, петухи и коньки на крышах, фигурные расписные прясницы и кустарные ткацкие станы, как колокольчики «дар Валдая» под дугой и бубенчики (воркунцы, ширкунцы) на ошейниках у лошадей.

Каждая семья, приглашенная в гости, на свадьбу, идет со своим сладким пирогом. Большачиха, она же стряпуха, несет пирог в широкой круглой лубяной «хлебнице» либо на «веке» — крышке от хлебницы, и прикрыт пирог красной вырывной салфеткой с кисточками. Кроме этого главного гостинца, в корзине или в хлебнице могут быть и простые белые пироги, колобаны.

— Горько! — все чаще раздается то в одном углу избы, то в другом, и жених с невестой встают и троекратно неумело целуются. Петр Петрович при этом сгибается, а Галя плотно сжимает губы и от смущения закрывает глаза.

— Горько! — требовательно кричат снова.

Счастливая Галя отпивает несколько глотков из общего стакана и передает остаток пива жениху. Тот, не разгибаясь, опрокидывает стакан в рот и шутит:

— Если б знал, не женился бы, даже выпить как следует не дают.

Сваха с тревогой посматривает на него, что он такое еще сделает и не наговорил бы чего-нибудь лишнего.

— Горько!

Любой пир — прежде всего люди. Человеческие характеры легко и свободно раскрываются на пиру. На всяком сельском празднике обязательно пляшут и плачут, спорят и вздорят, смеются и дерутся; одни молчат, другие кричат; молодицы поют, вдовы слезы льют.

Среди мужчин на пиру очень скоро объявляются типично русские правдоискатели, ратующие за справедли-

вость, за счастье для всех. Достается от них и немцам, и американцам, и туркам, но больше всего, пожалуй, достается самим себе, своим соотечественникам. Таким людям не до веселья, не до песен, не до плясок. Они обличают, разоблачают, требуют возмездия, протестуют и все время спрашивают: что делать? как быть? кто виноват? и знают ли о наших бедах наши *главные?* видят ли они *все?* В этой неуемности проявляются, должно быть, черты национального характера. Но не дай бог попасться на целый вечер в руки такому самосожженцу: ни пира, ни мира не будет, ничего не увидишь, ничего не услышишь.

Объявляются также и заурядные хвастуны — люди самодовольные, недалекие, кичащиеся своим служебным положением, своим заработком, даже неправедным, нечистым; хвастающие своим домом, домашней утварью, домашним скотом и, наконец, женой и тещей.

В древних русских былинах говорится о том, как добрые молодцы садятся за стол и — «один хвастает родным батюшкой, другой хвастает родной матушкой, умный хвастает золотой казной, глупый хвастает молодой женой». Современные хвастуны скромнее. Весь первый вечер ходил от стола к столу пожилой колхозник и, не переставая сам удивляться и радоваться, хвалился своими пластмассовыми недавно вставленными зубами. Почокается со всеми, выпьет стакан пива, вынет челюсть, всем покажет ее и опять вставит.

— А теперь смотрите, как я жевать буду. Кости грызть могу — чудо! В нашем районе сделали!

Редко, но встречаются хвастуны и незаурядные, необыкновенные. Слушать таких — одно удовольствие. Это счастливцы, жизнелюбцы и своего рода художники слова, своеобразные сельские лакировщики действительности.

Хвастаются, например, изобретательностью. В прошлом году, чтобы обеспечить кормом своих коров, колхозники ухитрились выкосить на озерах всю осоку уже после ледостава.

— Никогда бы раньше мужику до такого не додуматься, головы не те были. Ледок тоненький, похрустывает, а ты идешь с косой и в полную силушку поверх льда — вжик, вжик! Вот пишут: на заводах то, се, смекалка, а мы разве без смекалки живем?..

Другие вторят:

— До многого раньше умом не доходили. Вот, скажем, коза. Раньше у нас считали козу поганой животиной, от молока ее с души воротило, хармовали. А коза чем хороша? Ей корму меньше надо. Дашь осинового листу либо коры сосновой — она и сыта. Афиши и газеты жрет — все ей на пользу. В деревнях теперь козы в ход пошли!

— У меня коза Манька восемь литров за сутки дает!

— Ну, знаешь!..

Хвастаются тем, что хлеб растет иной год даже на неудобренных и необработанных землях...

А многие просто сидят молча и пьют, ни о чем не думают, ни о чем не спрашивают — отдыхают. Конечно, кто-то и перепивается. На всякой пирушке хоть один да сваливается под стол либо начинает шуметь, требовать к себе особого внимания, задирается, скандалит.

На разных людей хмель действует по-разному: одним ударяет в голову, другим в ноги, третьим в руки. Одни становятся ласковыми, влюбчивыми, со всеми готовы перецеловаться, другие — злобными.

Слез и жалоб больше всего среди женщин. Неудачно вышедшие замуж плачут на любом пиру, и так всю жизнь. Старые матери плачут о потерянных детях, о непутевых дочерях, сходившихся с мужиками не по-людски, без закона и теперь мающихся из-за этой уступчивости; вдовы — об убитых на войне мужьях («даже похоронной не было!»).

А встречаются вдовы и довольные своей судьбой: озорные, разбитные, первые певицы и плясуньи. Замужем они были, как на каторге: «Ни одного доброго слова, только зуботычины да: «Пошла ты на три буквы»,— а сейчас освободились, расправились и в колхозе всем равны, и дома сами себе хозяйки, они и погулять и поозоровать не прочь.

Сразу напился и пошел кренделя вертеть дядя жениха. Он еще до женитьбы судился дважды за хулиганство. Жена его, Груня, бухгалтер на льнозаводе, настоящая великомученица: то возится с ним, как с малым ребенком, то прячется от него на кухне, на полатях, в сенях — все зависит от настроения загулявшего его величества («А тверезый-то он — человек как человек!»). В первый же вечер этого дядю родственники вынуждены были связать, а на другой вечер прибегли к более современному

и гуманному средству: дали ему в стакане пива лошадиную дозу снотворного.

Груня нашла себе подругу по несчастью, и вот две женщины — у одной владыка спал, у другой, у Тони, смазливенькой, с лисьим тонким личиком, ненасытный женолюб, увивался около дородных вдовиц,— сидели две женщины на кухне, в уголке, целый вечер вдвоем и одна перед другой изливали свои души.

— Мой тоже побывал в милиции,— рассказывала Тоня.— Взяли с него подписку, что больше фулиганить не будет, он расписался — и все. Я говорю им: «Он же меня убить грозится, ребятишки ведь без матери останутся. Свою избу однажды поджигать стал». А они говорят: «Вот когда допустит чего-нибудь этакое, тогда мы и заберем его и приструним!»

— Твоего только в милицию возили, а мой уже в тюрьме сидел не раз,— завидовала подружке Груня.

— Думаешь, мой не сидел? — машет рукой Тоня.— Только я об этом не рассказываю. Сидел и принудиловку отбывал. Первый раз сидел, когда еще холостой был. Подрались, и он на пару со своим отцом человека убил. Обоих по амнистии освободили. Другой раз, уже при мне, был десятником стройконторы, работал на ремонте дороги, сговорился с кем-то и украл камни: камни эти никто для дороги не собирал, никто в глаза их не видывал, а он выписал наряд на них, будто собраны, и деньги пропили. Дали ему за эти камни два года. Просидел только один год и два месяца. Вернулся, поставили его завхозом на льнозаводе, второй раз завхозом. Чего только не тащили тогда с завода, чтобы пропить! Водка все смывала с рук.

— Вот-вот, все водка,— вставляет свое слово Груня.— И мой такой же!

Тоня продолжает:

— Поехал мой в командировку, в Ка́рныш, и там, опять с кем-то в сговоре, украл чужое сено: продали его в стогах, пропили. Дали принудиловки шесть месяцев. Работал пожарником, работал на пилораме — весь лес в его руках. Лес воровал. И все для водки, все для зеленого змия. Хоть бы домой нес, так уж ладно бы... А то приходит домой пьяный. «Клади, говорит, голову на плаху!» — «Не положу, говорю, ребятишек жалко, что с ними с тремя будешь делать?» — «Полезай, говорит, в петлю сама, чтобы на меня подозренья не было!» — «Не по-

лезу»,— говорю.— «Тогда лезь в подполье и не показывайся мне на глаза весь день».— «В подполье, говорю, полезу». Запрет он меня в подполье и держит там, сидит надо мной. А ребятишки ревут, дрожат, боятся его. Надоест ему этот рев, он и откроет подполье: «Вылезай, говорит, утешай их, корми!» А сам опять уйдет к дружкам да к приятелям водку пить. Кабы не водка, может, мы и по-людски бы жили. Тверезый он у меня тоже ничего, обходительный: человек как человек. Шибко много водки стали пить после войны.

Груня слушала, сочувствовала, но казалось ей, что у Тони положение все-таки лучше, чем у нее.

— У тебя, может, хоть дерется не так грозно, все-таки ведь безрукий, ударить сильно, поди, не может... Мой-то — зверь настоящий, кулаки у него железные. Стукнет по столу, так от косточек ямочки на досках остаются.

— Ой, что ты! — обижается Тоня.— Безрукий, а хуже троерукого. Силищи у него, у окаянного, как у дракона. Если не помогут, все равно повешусь либо сам топором меня зарубит. Он ничего не боится. «Я, говорит, всю войну прошел!» Недавно у нас баба удавилась, тоже из-за мужика, из-за пьянства. И мне со своим не совладать, он и вправду всю войну прошел, руку свою отдал, все ходы и выходы знает. Что я для него?..

Сидят две свободные, раскрепощенные, чуть подвыпившие женщины на кухоньке, укрывшись от общего шума и песен, и разговаривают, и плачут, и тоже шумят иногда, и уж не поймешь: жалуются они на своих мужей друг другу или хвалятся ими — до того оба они сильные да бесстрашные.

Брат невесты, тоже маленького роста, Николай Иванович — помощник колхозного бригадира, человек небойкий, малозаметный, но безотказный, работяга, из тех работяг, на которых везде воду возят,— неторопливо ходил из кухни в горницу, из горницы в кухню то с белушкой, то с пивным стаканом, то с графинчиком и стограммовой стопкой, продирался за столы, за скамейки, появлялся у порога перед новыми гостями, не забывая ни молчаливых, ни спорящих. Он был, так сказать, главным подающим на пиру, что-то вроде тамады. Но тостов он не произносил, красноречием не отличался, только настойчиво предлагал каждому выпить — и все тут. Отбиться от его угощения было невозможно, он прилипал к человеку, изнурял его своим терпением, не отходил до тех пор, пока

тот, в безнадежном отчаянье махнув рукой, не выпивал все, что бы ему ни предлагалось. Считается, что, если на свадьбе нет пьяных, счастья молодым не будет, и Николай Иванович понимал всю глубину ответственности, возложенной на него.

Время от времени он тащил то одного то другого дорогого гостенька на кухню, за печушку, к матери своей, и Мария Герасимовна угощала их чем-то из суденки, по секрету. Появился там и директор льнозавода.

— Откушай-ко! Горит! — шепнула ему Мария Герасимовна.

— Ну? Горит? — обрадовался директор.— Тогда давай, за дальнейший рост!

— Кушай на здоровье!

Выпил директор секретную стопку, повеселел, подобрел к Марии Герасимовне и поговорил с ней.

— Дочка у тебя хорошая — Галя, все планы выполняет и перевыполняет. Сейчас и на сына посмотрел: тоже хороший мужик. Лишнего не болтает, ходит, угощает всех. Все люди у нас хорошие! У тебя двое?

— Двое осталось, девять было. Все умирали до году,— пожалобилась Мария Герасимовна.

— Отчего такое, жилось худо?

— Да нельзя сказать, что худо жилось. Только работала, себя не жалела. Ни одного ребенка до дому не донесла, то на поле родишь, то на пожне, а бывало, что и на дорогу вываливались.

— И оба у тебя мелкие ростом, и Галя, и сын этот, Николай. Отчего такое?

— Поди, оттого и мелкие,— не обидевшись, ответила Мария Герасимовна,— что ни себя, ни их не жалела. Дом большой, скота было много, а мужик еще охотой занимался. Потом овдовела, муж-то на войне остался, смертью храбрых. Да меня еще в депутатки не по один год посылали, тоже угомону не было.

— Куда в депутатки?

— Да в этот,— как его? — в сельсовет.

— Значит, ты и общественную нагрузку несла?

— Несла, как же. На все заседания таскали.

Директор удовлетворенно заключил:

— Оттого у тебя и дети в люди вышли. Николай-то бригадиром?

— Помощником. Не знает уж, как избавиться от этой бедолаги, затаскали совсем.

Выбравшись из кухни, подобревший директор попал в руки правдоискателей.

Три невестиных братана — так зовут здесь двоюродных братьев — работают вместе на дальнем лесозаготовительном участке: один шофером, другой пильщиком-мотористом, третий заведует школьными производственными мастерскими и одновременно преподает физкультуру в восьмилетке. Три человека — три разных характера, а друг с другом не расстаются.

Шофер Василий Прокопьевич — бунтарь по натуре. Он забывает про еду и пиво, как только начинает рассказывать о непорядках в лесу, при этом лицо его бледнеет, глаза блестят и требуют ответа сразу на все вопросы, какие ставит перед ним жизнь. А ездит он широко и знает много.

Другой братан — Ленька, человек веселый до легкомыслия, знает печальных историй не меньше, но непреодолимая жизнерадостность не дает ему надолго впадать в тоску и негодовать из-за каких-то несуразностей жизни. Он любит пошутить, посмеяться и вовремя рассказанным анекдотом смягчает острые разговоры и тяжелое настроение Василия Прокопьевича. Может быть, в этом больше мудрости, чем легкомыслия?

Третий — преподаватель физкультуры — вторит то одному, то другому из братанов. Он легко воспринимает чужие настроения, легко поддается им, и в спорах и разговорах может становиться на любую из сторон. Где перевес — там и Михаил Кузьмич. Разгорячится Василий Прокопьевич — горячится и он и еще больше добавляет огня в костер самосожженца; развеселит всех Ленька — и он расскажет подходящий к случаю анекдот.

Я узнал, что жена Михаила Кузьмича называет своего благоверного бескостной миногой. Ей больше нравится шофер Василий Прокопьевич.

Директор льнозавода сам подошел к братанам, сидящим за столом. Они смеялись.

— Ну что, воины, как живется?

— Живем помаленьку!— ответил Михаил Кузьмич.

— Помаленьку нельзя. Вы молодые, вам надо хорошо жить. Время у нас такое. А пьется как?

— Пьем по маленькой,— отрапортовал Ленька.

— Маленькую и я сейчас выпил — хорошо прошла. А смеетесь над чем?

— Над директорами.

— Что такое? — встревожился директор.

— Да вот понимаете,— Михаил Кузьмич повторил анекдот, только что рассказанный Ленькой: — Угробил у нас один шофер новую машину и вместе с ней директора, стоит в затылке чешет: «Ладно, говорит, директора дадут нового, а вот где я теперь запчасти достану?»

Рассказал и от удовольствия расхохотался снова. Засмеялся и Василий Прокопьевич. А Ленька, моторист, смотрит в глаза директору и ждет, как тот примет шутку. Но директор только нахмурился и задумался. Тогда Ленька рассказал еще один анекдот:

— Расхвастался иностранец своей чудо-техникой. «Смотрите, дескать, что у нас могут делать. Вот, скажем, курица.— Ленька развернул ладошку перед носом директора льнозавода и дунул на нее.— Фу — и вместо курицы яйцо. Фу — опять курица». Тогда наш инженер обиделся и сказал: «Подумаешь, чудо! У нас и не такое могут делать. Вот, скажем,— Ленька опять развернул ладошку,— директор!.. Фу — дерьмо. Фу — опять директор».

Братаны все трое дружно расхохотались, а подвыпивший директор льнозавода нахмурился и задумался еще больше и наконец сурово спросил:

— Вы где работаете?

Василий Прокопьевич сразу посерьезнел и пошел в атаку:

— А вам, собственно, для чего нужны наши сведения? Анкетку хотите заполнить?

По недоразумению или по злобе многие считают всех шоферов без исключения «леваками» и «калымщиками», бесстыже подрабатывающими на случайных пассажирах, и «малопьющими» в том смысле, что, сколько ни пьют, им все мало. Василия Прокопьевича ни в каком левачестве не заподозришь: не таков он человек, не тем живет, не о длинных рублях думает. К тому же и возит он не людей, а лес, ему не с кого собирать подорожные.

— Мы работаем в лесу, у нас свои порядки, и мы про них знаем,— запальчиво продолжал он.— А вот вы — директор. Знаете ли вы, что у вас на льнозаводе делается? Знаете? Ваши приемщики колхозы грабят, номера тресты занижают. Вы калымщик, вот вы кто! А ведь в партии, наверно, состоите?

Директор поначалу опешил, но, услышав слова о партии, воспрянул духом:

— Ты вот что, парень, меня критикуй, а партию не трожь!

— Партию я не трожу! — сказал Василий Прокопьевич.— А вы зачем колхозы обсчитываете? Партия с вас все равно спросит. Не прикроетесь!

Весельчак Ленька и Михаил Кузьмич дружно поддержали своего братана.

В разговор о льнотресте немедленно включились соседи по столу, и давний конфликт вышел наружу. Суть его в следующем.

На заводе старое, почти допотопное оборудование, из-за чего при первичной обработке льна получается очень большой, недопустимый по нормам процент отходов. Чтобы не прогореть даже при этом древнем оборудовании и выполнить и перевыполнить производственный план (обязательно перевыполнить — для отчетности, для премиальных!), работники льнозавода приноровились умышленно занижать сортность поступающей тресты. А лен — основной источник колхозных доходов. Треста оплачивается государством щедро, и разница в цене за лучший номер, даже за половину номера очень велика. Райком партии установил свой контроль за приемкой льнотресты, первый секретарь сам досконально изучил правила определения сортности льна, но этого контроля оказалось недостаточно. Колхозы и колхозники продолжают терпеть убытки и очень обижаются.

Пиво развязало языки, гости наговорили служащим льнозавода немало резкостей.

— Критиканы вы все, вот что, очернители! — огрызался директор.

А с кухни снова зазвенел высокий нестарушечий голос Натальи Семеновны — и полилась песня про князьев да бояров.

— Ладно, треста трестой, а вы скажите, долго ли у нас в лесу щепки будут лететь? — переключился на новые разоблачения Василий Прокопьевич. Он кричал, чтобы заглушить песню: — Почему везде человек человеку друг, а у нас в делянке один закон: совесть на совесть, кто кого обставит да обсчитает?

В наступление были пущены смазочные масла и горючее, нормы выработки в кубометрах, и километраж, и запчасти, запчасти для машин и трелевочных тракторов — главное, запчасти.

— Почему для одних шоферов запчасти есть, а для других нет? И почему все надо доставать, а не получать, не покупать?

Василию Прокопьевичу подают белушку пива, он принимает ее, не глядя, обеими руками, выпивает всю, до дна, не заметив даже, что́ пьет и сколько пьет, и, вытирая губы рукавом, продолжает говорить, говорить и спрашивать. В душе его горит страстный огонь правдолюбца, он в запале и уже не видит и не воспринимает ничего, что не касается прямо и непосредственно его производственных бед и обид...

Михаил Кузьмич, заведующий школьными мастерскими, впадая в тот же тон, рассказывает, в свою очередь, что ребят приходится знакомить не с современной техникой, не с трактором, не с бензопилой «дружба», потому что их в школе нет, а с утилем, собранным на кладбищах машин, а то и просто использовать школьников как чернорабочих, только бы заполнить часы, отведенные для производственного обучения; что зарплата для учителей все еще не упорядочена и многие уходят на лесозаготовки, становятся механиками, шоферами.

Наступило время для Леньки. Чтобы разрядить атмосферу, он вдруг начинает неистово кричать:

— Горько! Горько!

Его крик подхватывают гости из-за других столов:

— Горько!

Молодые послушно встают и чинно-благородно целуются.

— Ну как теперь? — спрашивает Петр Петрович.

— Горько,— не уступает Ленька.

Молодые целуются снова и уже не садятся:

— Теперь сладко? — спрашивает жених.

— Теперь ничего, жить можно!

Все пьют. Петр Петрович тоже поднимает стакан, но бдительная сваха останавливает его, и жених в который уже раз шутит:

— Даже выпить не дают как следует. Если б знал, не женился бы.

Гости с готовностью смеются. Смеется и счастливая невеста. Но разошедшийся Василий Прокопьевич все еще не смеется. Он услышал вдруг сладкоголосую Наталью Семеновну и обрушил на нее остатки своего гражданского гнева:

— Бóяры-бóяры, а сама тянет из колхоза все, что плохо лежит — то лен, то сено охапками, то ржаные снопы. Прижмут ее — она в слезы: плакальщица ведь, артистка! А когда муж стоял в председателях, от нее никому житья не было. Однажды Ванька Вихтерков подкараулил ее в поле да забрался под суслон, будто от дождя, ждет, что будет. Причитальница добралась и до этого суслона, снимает хлобук, а он ей: «Хлобук-то оставь, Натаха, а то меня дождь смочит!»

— Брось обижать старуху! — вступился за Наталью Семеновну Ленька.— Наговоры одни, да еще заглазно.

— Я и при ней скажу.

— Чего скажешь, коли сам не видел.

— Я не видел, другие видели.

— Никто ничего не видал.

— Конечно, одни наговоры,— поддержали Леньку сидевшие рядом женщины.— Худославие одно. Ее, Наталью, тоже понять надо.

— Ладно!— начал сдаваться Василий Прокопьевич.— Только ведь сожгла же она недавно соседский стожок на лесной дербе. Все об этом знают...

— Опять все!

— А вы дайте ему договорить! — вмешался в спор Михаил Кузьмич.

И Василий Прокопьевич договорил:

— Деребку эту она скашивала сама не по один год, а тут приходит — сено сметано. Подумала, что это колхоз выкосил и сгреб, ну и подожгла. Срамили ее!.. Вот тебе и бóяры и монастыри с монашками!

Молчун Николай Иванович, главный подающий, слушал, слушал эти слишком серьезные для него разговоры да как грохнет пустым стаканом об пол. Гости от неожиданности вздрогнули: что это с ним, с тихоней? А с ним ничего! Он просто хочет, чтобы молодые жили счастливо. Добиться же этого нетрудно, надо бить стеклянную посуду.

И еще: Николаю Ивановичу тоже поговорить захотелось.

— Вон какую свадьбу отгрохали! — хвастливо показывает он на столы.

А на столах полно сладких пирогов, которых никто не решается трогать, они лежат для украшения. Едят мясо, жареную треску, яичницу на широких сковородках, на-

зываемую селянкой, рассыпчатую кашу из овсяной крупы — заспы, все соленое-пересоленое.

— Пей горько да ешь солоно — никогда не закиснешь! — сказал дружка Григорий Кириллович.

— Горько!

— Сколько у вас присчиталось в этом году? — спрашивают Николая Ивановича. Вероятно, кто-то почувствовал его неутоленное желание вступить в общий разговор.

— На трудодень-то?

— Да.

— А ничего не присчиталось. Только добавочные платим.

— Совсем на трудодни не выдавали?

— Нет, выдавали, как же.

— Сколько выдали?

— Да ничего не выдали.

— И ты ничего не получил?

— Получил, как же. Не я один.

— Сколько же ты получил?

— Один раз пять рублей под расписку, а другой раз — так.

— А так — это сколько?

— Да рублей двадцать, не больше.

Все идет «как следно быть, все по-хорошему», как и хотелось Марии Герасимовне. Ей самой ни поесть, ни выпить некогда.

Женщины усадили гармониста на высокую лежанку и плясали до упаду, то и дело обтирая потные лица платками и фартуками. Гармонисту обтирать свое лицо было некогда, и за него это делала какая-то услужливая молодая девушка — дроля, наверно.

Дробили с припевками, с выкриками. Особенно отличался кокетливый, не по-деревенски смазливый паренек — почтальон из сельсовета, до того смазливый, что казался подкрашенным, напомаженным. Он знал много современных частушек, которые называл частухами.

Сидит милка на скамейке,
Не достанет до земли.
В кассу я отнес копейки,
Через год возьму рубли.

Наверно, он сам сочиняет эти частухи.

Плясали, пока у гармониста не вывалилась гармонь из рук.

Седой бородатый мужик продолжал хвастать своей пластмассовой челюстью, вынимал ее, нечистую, розоватую, с белым рядом зубов, протягивал через стол, но чужую челюсть никто в руки брать не хотел, и он, широко раскрыв рот, водворял ее на место.

Нашлись хвастуны и похлеще.

— В этом году наш колхозный план все-таки утвердили. Пять раз пересматривали в райисполкоме, заставляли переделывать, а на шестой раз утвердили. Правда, от наших первых наметок ничего не осталось. Так ведь что поделаешь: у нас свои расчеты, у них свои — им цифры сверху спущены.

— Мы тоже своего добились — закрыли птицеферму. По пятку яиц в год на несушку выходило. Золотые яички, одно разорение! Разрешили прикрыть.

— Как же план по яйцу?

— Выполним! Пашем на колхозных лошадях приусадебные участки: тридцать яиц с участка подай — и никаких хлопот!

Не обошлось и без охотничьих бухтин.

— Иду это я раз вдоль осёков, гляжу — что-то шеветличча. Вдруг, думаю, заяч? Дай, думаю, стрелю! Стрелил, прихожу — и, верно, заяч.

Добычливого охотника тут же поднимают на смех:

— Бежала овча мимо нашего крыльча да как стукнеччa да перевернечча. «Овча, овча, возьми сенча!» А овча не шевеличча. С той поры овча и не ягнечча.

— Самая доходная охота, ребята, все-таки на медведе́й. Ежели год выпадет ягодной, то и в лесах на каждом горелом месте от малинников проходу нет. Кукуруза, и только! И набирается в эти малинники медведей видимо-невидимо: сладкое любят. Нажрутся они малины и дрыхнут вповалку. А спящих медведей, ребята, можно голыми руками брать. Иду это я раз по малиннику с топором: одному медведю напрочь голову отрубаю, другого глушу обухом по лбу. А ежели какой проснется, так все равно от медвежьей болезни сразу силы теряет, с таким тоже долго чикаться нечего. Прямо на тракторе вывози — столько их вокруг меня положено было.

В минуту, когда разговор шел еще о птицеферме, дружка Григорий Кириллович, вдруг словно бы спохватившись, вышел из избы. Сейчас он вернулся с живой курицей в руках. Соблюдая какой-то древний языче-

ский обряд, он остановился посреди избы, взял курицу за голову, с силой встряхнул ее — и обезглавленная тушка запрыгала по полу, брызгая кровью, теряя перья.

Курицу зажарили и со свежей курятиной и пивом обходили гостей.

В деревне Сушинове этот обряд до сих пор никому не был известен, и в чем его смысл — никто растолковать не смог, но свежая курятнинка всем понравилась.

Вездесущий дружка балагурил и колобродил в течение всего вечера, и пил он не меньше других. Дружке все позволено, все прощается. Совершенно по-другому — строго, сдержанно, с достоинством — ведут себя сваха и тысяцкий. Особенно тысяцкий, дядя жениха — здоровенный, высоченный, он словно бы стесняется своего роста и своей могутности. Но дело, оказывается, не в этом. Несколько лет тому назад тысяцкий был в Сушинове председателем колхоза, а такое не забывается. Каждое его слово здесь и поныне должно быть, конечно, дороже золота.

Но ни сваха, ни тысяцкий не уследили за своими подопечными. Под конец напился-таки Петр Петрович. Вероятнее всего, затащил его Николай Иванович по секрету в куть, к матери своей, и та не пожалела самодельного зелья дорогому зятьку.

Напился молодой князь и начал куражиться. Нашел где-то каракулевую шапку, нацепил ее на ухо и кричит:

— Я Чапай! Кто на моем пути? Всем приказываю: долой!

Испуганно заметались по избе женщины, будто овцы в хлеву, мужики смотрят на нового своего родственника с недоумением, думают: не связать ли и этого, а Мария Герасимовна так и стелется перед ним, заласкивает, улещивает.

— Петенька, Петенька, Петенька!

Расстилает перед ним ковры и молодая княгиня Галя, хватает его за длинные, непроизвольно болтающиеся руки, поддерживает его, чтобы ходули не подогнулись. А князь чванится, хорохорится, рубаху на себе рвет, ваньку валяет.

— Ты кто? — спрашивает он Галю, подбираясь худосочным кулачишком к ее заплаканному розовощекому лицу.— Жена ты мне или нет? Я Чапай! Понимаешь ты это: я — Чапай!

— Ты, Галька, уйди с глаз, не мельтеши, не дразни его! — шепчет дочери Мария Герасимовна и вытирает Петру Петровичу рот.

— Э, куда я теперь уйду? — вскидывает Галя голову и вдруг ожесточается. В первый раз.— Ну ладно, ты Чапай,— говорит она мужу.— А только я больше тебя зарабатываю. Понял? Чего ломаешься-то? — И, резко повернувшись, скрывается с глаз.

«Что ж, для начала, пожалуй, неплохо!» — подумал я.

Совет да любовь вам, дорогие мои земляки!

Тысяцкий выкручивает руки молодому князю, своему племяннику, и уводит его куда-то спать.

Под гармошку девушки прокричали несколько частушек-коротышек, возвещающих о том, что время уже позднее:

Пойдемте, девочки, домой,
Будет, насиделися:
Моего милого нет,
На ваших нагляделися!

И на этом первый день свадьбы закончился.

Правда, по деревне под ясным звездным небом долго еще ходили молодые мужики и ребята, но мороз стоял градусов за тридцать, и гармонь, вынесенная из жаркой избы, не пела. Гармонист разводит ее «от плеча и до плеча», парни со страшной силой изрыгают частушки, а гармонь не издает ни звука, даже не хрипит.

Вспомнилось: как-то в Москве, на перекрестке у Ленинской библиотеки, вот на таком же морозе милиционер приложил свисток к губам, а он не засвистел — застыл, должно быть. Дует в него регулировщик и сам смеется. Тем дело и кончилось: повезло шоферу-нарушителю.

* * *

Ночевали гости в разных избах, в одной места для всех не хватило бы. Я провел ночь у соседки Дуни, вдовы, два сына которой находились в армии. Одна в своей избе она никогда не ночует, боится нечистой силы, ей «блазнит».

Не могу сказать наверное, чтобы я эту ночь спал спокойно, хотя с нечистой силой дела иметь не пришлось. Но с вечера в избе беспрерывно визжал месячный поросенок — в хлеву Дуня его не держит, опасаясь, как бы не замерз. А в полночь неожиданно у самого изголовья

дико заорал петух — оказалось, что в заднем углу избы под лавкой-скамейкой сосредоточилась вся личная птицеферма Дуни, за всю ночь ни одна курица не подала голоса, петух же принимался кричать неоднократно и с каждым разом, как мне казалось, пел все громче, все высокомерней. За один прием он кричал свое «ку-ку-реку» раз пятнадцать, если не больше.

Принято считать, что песня петуха музыкальна. Я тоже так считал и даже стихи об этом сочинял не единожды. Теперь же мне его песня музыкальной не показалась, да и песней я ее не назвал бы. Поневоле думалось только о нечистой силе.

Когда все пиво в доме невесты было выпито, шофер при помощи паяльной лампы завел самосвал — и свадьба отправилась за сорок километров, на родину жениха, в деревню Грибаево. Из невестиной родни в самосвал уселся брат Николай Иванович и еще кто-то. Братаны не поехали.

Товарищи из райкома партии сделали мне одолжение, послали легковушку, и мы с Виктором Семеновичем Сладковым, водителем вездепроходящего «газика», решили посадить к себе молодых. Молодые сели в машину, а сваха с иконой в руках недоуменно топталась у дверцы: ей не положено оставлять жениха с невестой ни на минуту, пока не доставит их в дом к родителям.

— Ну, садись, сваха, ничего не поделаешь! — с некоторой растерянностью согласился водитель.— Кого только я ни возил на своем веку, чего только ни возил, но икону на райкомовской машине возить не приходилось.

Получился настоящий свадебный поезд. Жалко только, снег не шел: когда свадьба выезжает в снег или в дождь — к счастью.

И никаких черепков девушки вслед не бросали. А раньше полагалось. Перед выездом невеста умывалась, девушки разбивали глиняный рукомойник и этими черепками забрасывали отъезжающих, чтобы невеста не вернулась домой, чтобы жилось ей счастливо и в новой семье.

На улице на морозе долго фотографировались. Увидев в моих руках фотоаппарат, женщины поснимали с себя полушубки и ватники, они хотели «сняться на карточку» обязательно в праздничных сарафанах. В деревнях очень любят фотографироваться. Но сделать живой снимок трудно: все лица перед объективом мгновенно напрягаются, деревенеют.

Мария Герасимовна с нами не поехала. Со слезами на глазах она наказывала дочери:

— Не забывай, бегай в гости почаще, ничего не далеко — ноги молодые. И не приходи без гостинца: без гостинца придешь — уревусь, подумаю, что от мужика сбежала.

Самосвал облепили мальчишки, чтобы прокатиться до конца деревни.

Все-таки раньше мальчишкам жилось, наверно, легче и, пожалуй, веселей, когда свадьбы справлялись не на грузовиках, а на тройках. В свое время я пронесся на задке свадебной кошевки целых двадцать километров — от районного городка, где учился в четвертом или в пятом классе, до своей деревни. Мой дядя, только что вернувшийся из Красной Армии и еще не расставшийся со своей остроконечной буденовкой, вез невесту из далекого Шалашнева мимо нашей школы. Мне с утра не сиделось за партой, ждал свадьбу и, когда завидел ее, опрометью вырвался из класса, успел на ходу схватить полушубок и вскочил на концы полозьев последней раскрашенной кошевки. Пели колокольцы, развевались цветные ленты, вплетенные в гривы и хвосты лошадей, сердце замирало от восторга и страха.

Из-за того, что у дяди на голове была прославленная буденовка, свадьба представлялась мне каким-то военным походом. Конечно, я обмерз, но вспоминаю об этом своем путешествии, как о самой лучшей из бабушкиных сказок.

Дядя погиб в прошедшую войну. Анна Григорьевна, бывшая тогда невестой, живет теперь на Бобровской запани под Архангельском в окружении сыновей и внуков. Недавно она сказала мне:

— Верно, какой-то парнишка висел тогда на запятках. Если бы знатьё, я бы тебя с собой рядом в кошевку посадила.

На машинах мы ехали ночью — полями, перелесками. Дорога оказалась расчищенной от снега, приглаженной: на днях из города в колхоз прошли шесть гусеничных тракторов с волокушами для вывозки торфа на поля. Волокушу — широченный громоздкий металлический лист — почему-то называют «пеной». Торф загружается на такую волокушу бульдозером, пёхом, и сгружается так же. Не потому ли «пена», что в поля на ней тянут больше снега, чем торфа?

Виктор Сладков не просто вел машину, а, как экскурсовод, показывал нам свои памятные места: здесь вот зайцы обычно дорогу перебегают; с тех высоких берез совсем недавно он снял из малокалиберки трех косачей; а на этой вот пашенке еще сегодня видел, как лисица мышковала.

Сладков — главный райкомовский водитель, и для всех шоферов района он царь и добрый бог. Это авторитет не только власти, но и опыта. Его машина больше других носится по непроходимым районным дорогам. Многих своих коллег Сладков вытаскивал из канав, из грязи, многим молодым устранял в пути неполадки в моторе, а главное — он всем помогает доставать запчасти. Хорошо знают райкомовского шофера и пешеходы: если свободен, остановится, посадит — и все за спасибо, не то что некоторые. Справедливый человек!

Ехать ночью по зимней проселочной дороге то с дальним, то с ближним светом автомобильных прожекторов сказочно хорошо. Дорога извивается, и никогда не знаешь, что откроется за следующим поворотом. Из тьмы вылетают навстречу какие-то призраки: причудливые пестрые кусты, кривые деревья, пни под снежными шапками, будто отпрянувшие в сторону прохожие, огромные полузаметенные снегом выворотни с зияющими черными дырами, в каждой из которых чудится медвежья берлога. Перелесок и поле, лес и опять поле. Снег то синий, то рыжий, а все время ждешь, что за сплошным зеленым ельником и поле будет зеленое.

Сладков рассказывает о зайцах и лисицах, и я вижу их следы: в кустах они глубокие, четкие, резко оттененные светом фар, а на открытых местах выпуклые — ветер выдул сухой сыпучий снежок, уплотнения же остались и поднялись над белой равниной, как маленькие побеленные столбики на обочинах шоссе.

Через все поле прошла лисица, столбики ее следа протянулись цепочкой от леса до леса.

Взбугрившаяся лыжня напоминает узкоколейку.

В полях было по-ночному тихо, а когда наши машины врывались в лесную чащу, вся она начинала шуметь и гудеть, наполняясь свистом шин и завыванием моторов. Казалось, что звуки по стволам уходят в звездное небо.

Я ехал и твердил про себя пушкинские строки: «Колокольчик однозвучный утомительно гремит».

До чего же все-таки не хватает колокольчиков!

* * *

В доме жениха сваха и тысяцкий остановили молодых в темных сенях и ждали, пока вынесут лампу и выйдут навстречу им родители.

Жениху и невесте положили на головы по караваю ржаного хлеба, отец и мать благословили их, поцеловали — опять в ход пошла икона. Петр Петрович очень стеснялся этого обряда, подшучивал, но обижать стариков не хотел, все сносил.

Отец ростом был еще выше сына и настолько здоровей, становитей, что длинноногий сухопарый жених при нем выглядел совершенным мальчишкой. Отца хотелось называть торжественно: родитель. Он, так же как его брат, тысяцкий, был скуп на слова, держался с привычным достоинством. Может быть, и он в свое время служил где-нибудь председателем колхоза?

А мать крутилась, вертелась, как юла, и звали ее Лия.

Деревня Грибаево уже была радиофицирована, в избе около божницы висела коробка громкоговорителя, и под потолком горело электричество. Во всем сказывалась близость промышленного объекта. Правда, чтобы свет воссиял с достаточной силой, потребовалось ввернуть лампочки в сто пятьдесят свечей и меньшего вольтажа.

И красочных плакатов, и лозунгов в избе было больше, чем у Марии Герасимовны. В том простенке, где у Марии Герасимовны громоздилось чудотворное произведение зоотехника «Иван-Царевич на сером волке», здесь висел плакат «Всегда с партией!». Рядом краснощекая колхозница среди корзин с фруктами и овощами держит в руках огромный, как джазовый барабан, капустный кочан, и — надпись:

За труд, мастера огородов, садов,
Теперь за вами слово.
Вдосталь дадим овощей и плодов
Сочных, вкусных, дешевых!

Неужели такое сочиняют вологодские поэты, мои друзья?

И еще плакаты: «Разводите водоплавающую птицу! Это большой резерв увеличения производства питательного дешевого мяса!»

Язык-то какой!

Мы за мир, чтоб на планете
Были счастливы все дети!

И еще и еще...

В деревне находится восьмилетняя школа, и среди гостей на свадьбе много учителей. Еще больше служащих и рабочих с льнозавода.

Снова жениха и невесту посадили за стол и опять в верхней одежде; так они и сидели долго, пока от них пар не пошел.

Опять было пиво, тосты в одно слово: «Горько!», «Горько!» — и пляска. Опять картинно целовались молодые, но Петр Петрович пил уже из белушки — добился-таки своего! А невеста то и дело кланялась, как заведенная,— таков был наказ матери.

— Теперь сладко! Пейте! — шутил жених и опрокидывал очередную белушку.

Каждого нового гостя и здесь встречали у порога стаканом пива. Хозяйка Лия раздевала гостей сама и с таким радушием, что пуговицы летели на пол. В этом, конечно, сказывался неукротимый ее темперамент, но главное — так было принято, и это считалось высшим шиком гостеприимства.

Опять завязался спор и с еще большим ожесточением между работниками льнозавода и колхозниками относительно сортности сдаваемой льнотресты.

Все было как в доме невесты, все повторялось. Только Николай Иванович здесь никого не угощал, и ему совсем нечего было делать и не о чем говорить, он просто пил и молчал.

Бросилось в глаза кое-что иное.

Гостей поначалу угощали пивом — хлебным, густым, бархатистым, а как только они начинали веселеть, им в ту же посуду подливали жидкую мутную брагу. Брага тоже пьянит, по после нее дико болит голова, из-за чего и прозвали брагу «головоломкой». Зато обходится она гораздо дешевле пива. Пивом поят, брагой с ног сбивают.

Кто-то из родственников невесты захотел повторить понравившийся обряд со свежей курятиной. Хозяйка Лия пришла в неистовство:

— Совести у вас нет — живой курице голову отрывать!

Табакуры попросили спичек. Лия подала коробку и предупредила:

— Останется что — верните!

Сначала подумали: примета на счастье. Вроде битья стеклянной посуды. Нет, оказывается, дело вовсе не в приметах.

— Вы чего скупитесь, свадьба ведь! — сказали ей не без опасения обидеть.— Где пьют, там и льют, где едят, там и бьют.

Лия не обиделась:

— А вы сразу разорить нас хотите. И без того расходы велики.

— Какая же свадьба без расходов? Этак ваш сынок захочет жениться по другому разу. Разорить надо, чтобы он о разводе не помышлял.

— Ладно, пейте, коли подают!

Утром невеста в присутствии гостей подметала пол в избе, а ей то и дело бросали под ноги разный мусор: проверялось, умеет ли она хозяйствовать. Обряд этот продолжался долго и был, пожалуй, самым развеселым. Родственники и гости изощрялись, приносили в избу сенную труху, изношенные лапти-ошметки, с грохотом кидали в углы битые горшки, всевозможный хлам и лом. Один разыскал где-то остатки кавалерийского седла и бухнул их на середину пола. Невеста только радовалась: с мусором на пол кидали деньги, чаще медные монеты, иногда бумажки. Правда, в старом седле она ничего не нашла, хотя содрала с него всю кожу и войлок.

— Ищи, ищи! Плохо метешь, нечисто метешь! — кричали ей.

Галя старалась: у нее действительно все поглотила свадьба, все, что было ею заработано, скоплено за несколько лет. Но стоило ей зазеваться, как озорники хватали веник, и его приходилось выкупать.

Затем невеста — ее уже стали называть молодицей — обходила всех присутствующих с блюдом свежих блинов в масле. Гость выпивал почетный стакан, закусывал блином и выкладывал на блюдо свою мелочишку.

Еще позднее молодица в присутствии гостей раздавала подарки новой родне: свекру — голубую штапельную рубаху, свекрови — отрезы на сарафан и нижнее белье — подстав, свахе — ситец на кофту, золовке, сестре жениха, красивой статной девушке, недавно окончившей десятилетку и работающей в колхозе,— платье и алую

ленту в косу, тысяцкому — отрез на рубаху, бабушке — головной платок, остальным — кому носовой платок, кому кисет для махорки. Все, что шилось и вышивалось в течение многих недель самою невестой и ее матерью и подругами, было роздано за несколько минут. Кажется, никто не обижался.

Я, приезжий человек, тоже не был обойден. В дни свадьбы наградили меня бесценными подарками дружка Григорий Кириллович и колхозный шофер Иван Иванович Поповский. Они облазили немало чердаков и поветей и нашли для меня набор литых поддужных колокольчиков да воркуны-бубенцы на кожаном конском ошейнике.

Скоро таких не будет и на Севере: не на грузовики же, не на самосвалы же свадебные их навешивать!

Подарили мне также резную раскрашенную прясницу столетней, по крайней мере, давности. Такие тоже, наверно, скоро исчезнут с лица земли. А к пряснице — плетеную веретенницу с веретенами. Еще молотило березовое — цеп, валявшийся без надобности почти с начала коллективизации. Удалось мне так же достать два заплечных пестеря из березового лыка.

С этими свадебными подарками я и вернулся в Москву. Один пестерь подарил Константину Георгиевичу Паустовскому к его семидесятилетию, другой — знакомому поэту в день его свадьбы и еще в придачу лапти собственного плетения.

Все раздарил. Себе оставил только берестяную солонницу, колокольцы да воркуны на кожаном ошейнике.

Сижу за столом, пишу да позваниваю иногда, слушаю: хорошо поют!

1962

ПОДРУЖЕНЬКА

Поздней осенью, собирая грибы в перелеске за железной дорогой, Катерина Федосеевна встретила серенькую облезлую кошку, ничем не примечательную, беспородную, и пожалела ее.

— Откуда ты взялась, милая? Худющая какая? Кис, кис!

Любую бездомную дворняжку назови Жучкой — она завиляет хвостом и пойдет тебе навстречу, если не совсем запугана и не одичала. А как назвать бродячую кошку? Кис-кис — это почти то же, что Жучка.

— Кис, кис, кис! — настойчиво и ласково позвала кошку Катерина Федосеевна.— Вишь, куда забралась, потаскушка,— в лес!

Кошка недоверчиво прянула в сторону, но, почуяв доброту в голосе старой женщины, остановилась, жалобно мяукнула и, подняв хвост с прилипшими к нему репейниками, пошла на зов.

— Голодная ты, что ли? — с сочувствием и упреком рассматривала ее Катерина Федосеевна.— В таком лесу да голодать! Неужто и промыслить ничего не смогла? Вишь, кожа да кости!

У кошки почему-то не было усов, глаза ее гноились, шерсть была короткая и грязная, неухоженная, и уши в парше.

— Сама себя прилизать не удосужилась. А может, ты больная, и тебя, больную-то, занесли в лес да и бросили на погибель? Есть же люди!

Катерина Федосеевна поставила корзинку с грибами на землю, прислонила к дереву палку, с помощью которой разбирала траву и приподымала нижние ветки елочек, и взяла кошку на руки. Поглаживая ее, она осторожно вынула из хвоста колючие ежики репейника, после чего кошачий хвост стал совсем голым, как прутик. Заметив, что кошка безусая, она подивилась: «Наверно,

кто-нибудь вырвал либо спалил». А кошка припала всем телом к ее теплой байковой кофте и благодарно замурлыкала.

Катерина Федосеевна растрогалась:

— Одинокая, видно. Ну, чего ж, пойдем тогда. И будет теперь у тебя свой дом, станем жить вместе. Какая-никакая — все скотинка, а то у меня давно никого нет.

От волнения она даже палку в лесу забыла.

По дороге к поселку, около железнодорожного переезда, встретилась Катерине Федосеевне соседка-солдатка — суматошная бабенка Валя — и давай сразу огороды городить:

— Что это за чучело на руках у тебя, Федосеевна?

— Да вот кошечку в лесу нашла, пожалела,— ответила Катерина Федосеевна и показала из-под кофты безусую кошачью мордочку.

— С ума ты сошла, Федосеевна, драную кошку на грудях в дом несешь! Да еще из лесу. А вдруг это смерть твоя?

Катерина Федосеевна не испугалась оговора,— от этой пустомели доброго слова не дождешься! — только поплотнее прикрыла свою находку байковой кофтой, будто оберегая ее от дурного глаза, да огрызнулась нешибко:

— Типун тебе на язык, несуразное говоришь. Иди лучше, куда шла!

Кошка всю дорогу тихо сидела у самого ее сердца и мурлыкала так тепло и старательно, что зряшные слова соседки больше не вспоминались.

Дойдя до дому, Катерина Федосеевна оставила в сенях корзинку с грибами, не стала их тотчас перебирать, как делала раньше, а занялась кошкой.

— Перво-наперво я тебя покормлю,— сказала она ей.— Только чем? Сама-то я теперь больше грибками балуюсь, а тебе молочка бы надо. Ну, да не все сразу. Вот погоди-ка, есть у меня в чулане кое-чего. Пойду пошукаю.— И Катерина Федосеевна направилась в сени, в чулан.

Спущенная с рук у порога, кошка пугливо озиралась, щуря больные глаза, медленно переступала с ноги на ногу, будто шла по воде, не по полу.

В избе этой ее ничто не удивило: изба как изба. Слева — окна и прямо — окна, в углу — стол, на столе что-то вроде куска хлеба, на окнах жужжат мухи. Есть печь,

чтобы спать в тепле и покое, есть полати. За печкой отгорожена занавеской кухня, там должен быть и вход в подполье, а под опечком, где дрова, наверно, стоит и миска с молоком. Осмотревшись и ничему не удивившись, кошка затрусила за печку, на кухню, но там, под шестком, ничего, кроме дров, не оказалось, и она, вынырнув из-под занавески, привычно вспрыгнула на лавку, затем на стол.

Когда Катерина Федосеевна вернулась в избу, кошка соскочила со стола и юркнула под лавку — кусок хлеба изо рта она не выпустила.

— Вишь, озорница, что делает, терпежу нет! — пожурила ее Катерина Федосеевна.— Ну ничего, сыта будешь и — воровать не потянет. Воруют, когда жрать нечего. Вот я тебе кусочек сальца нашла. Кис, кис! Как тебя звать-то, не знаю?

Кошка, почуяв сало, пронзительно замяукала, но и от хлеба не отходила. В подслеповатых глазах ее появился зеленый огонек.

— То-то! На, кушай! Сальца-то, правда, кот наплакал, а все не хлеб черствый. Съешь и будешь знать, чье сало съела. А звать я тебя буду Подружкой.— Катерина Федосеевна наклонилась и сунула кошке под лавку, прямо в зубы, розоватый соленый кусочек. Потом вдруг засомневалась, присмотрелась.— Уж не Дружок ли ты? Нет, Подружка,— шариков вроде бы не видно...

Катерина Федосеевна рада была поразговаривать с кошкой, ей уже казалось, что та отвечает на каждое ее слово.

Сама она тоже захотела поесть, принесла с кухни из суденки грибки соленые и вареные, отрезала ломоть хлеба от черной краюшки и уселась за стол. Ела и все заглядывала под лавку да говорила, говорила без умолку:

— Вот мы с тобой и не одинокие теперь. Подруженька ты моя...

Женщине, привыкшей всю жизнь вести хозяйство и кормить семью, труднее переносить одиночество, чем мужчине, особенно если у нее и скота не осталось. Одинокий мужчина много времени тратит на то, чтобы покормить себя, а для женщины это не труд.

Из семерых детей выжили и выросли у Катерины Федосеевны два сына и дочь. Сыновья погибли на войне смертью храбрых, а дочь уцелела, но тоже покинула ее;

выучилась, вышла замуж и уехала с мужем в какое-то Заполярье: там будто больше платят, а молодые задумали обзавестись добром, пока здоровье есть.

Муж Катерины Федосеевны, когда они остались вдвоем, не захотел помирать в родной деревне — спятил с ума под старость — и тоже поехал искать хорошей жизни. Помотался по белу свету года два, потом устроился недалеко от дома на железной дороге, стал жалованье получать. Приглянулось — и ее к себе вытребовал: я, говорит, служащий теперь!

Продали они корову, зарезали свинью, овец, половину мяса дочке посылками в Заполярье переправили, избу свою деревенскую на станцию перевезли. Надорвался старик — умер, в три недели свернуло, будто и живым не был. Даже с дочерью не повидался: пока болел — не успела она приехать, а когда умер — чего ж, говорит, и приезжать.

Вот когда пожалела Катерина Федосеевна, что покинула свое деревенское житье-бытье! Дома, говорят, и стены помогают. А где они теперь, эти стены? Вышла бы во двор, в поле, забрела бы к Аграфене Мелентьевой или к Миколихе Трошкиной — каждая слеза пополам, каждый вздох поровну! А в лесу, за коровьим выгоном, что ни березка — подружка твоя, вместе росли, вместе сок набирали, заодно и листья ронять.

Здесь тоже, конечно, лес, и грибы в нем и все такое, но разве это свой лес, тот? Уехала она из родной деревни, будто живой воды лишилась, от святых даров отреклась.

Схоронив мужа, Катерина Федосеевна и сама поступила на казенную службу, стала полы на станции мыть да подметать. Работает день и ночь, даже спать домой редко ходит, не любо ей в пустой избе ночевать. И по привычке каждый месяц какую-нибудь посылочку для дочки справляет.

Работает и все ждет, что пошлет ей дочка внука на воспитание. Не послала дочка ни внука, ни внучку, весной сама с муженьком на побывку прикатила. Не хочу, говорит, иметь детей, без них спокойнее, а тебе, говорит, пенсию выхлопочем.

«Детей не хочешь иметь, а я-то тебя имела?!» — с обидой подумала Катерина Федосеевна, но говорить ничего не стала: может, теперь так и надо, времена другие...

Пенсию они выхлопотали, это верно, не обманули. С тех пор и живет Катерина Федосеевна одна-одинешенька, год уже скоро, живет — дни коротает. Изба есть, а ни кола ни двора. Купила бы козу, да капиталов нехватка. Некого покормить, не за кем поухаживать. Завела бы квартирантов, да где их взять — станция невелика, в жилье никто не терпит нужды. Не с кем покалякать, не с кем душу отвести. Кабы в деревне — сходила бы к колодцу, а здесь и колодцев нет. Да и люди кругом грамотные, стрелочница — и та четыре класса кончила, книги читает.

— Заживем мы сейчас душа в душу с тобой, подруженька ты моя сердешная. Уж и выхожу я тебя, уж и выкормлю! Будешь бога благодарить, что мне на глаза попалась,— причитала Катерина Федосеевна, убирая со стола.— А дочка моя, вишь, она какая, ей спокой нужен.

Кошка объелась, и ее стошнило. Встревоженная Катерина Федосеевна, не зная, чем ей помочь, заметалась по избе, переворошила в шкапчике все лекарства, оставшиеся от мужа,— он тоже скудался желудком, а дать что-либо не решилась: подходяще ли для животины то, что человеку на пользу шло? Вдруг ей хуже станет, видно, еще молодая, желудочек нежный. Кто их знает, что за фталазол такой, что за пурген? Спросить бы соседку-солдатку, да как ее спросишь, еще на смех подымет, зряшная: чучело, дескать, драное лекарством кормить? С ума сошла Федосеевна!

Ослабевшая кошечка подергивалась и тоскливо мяукала, тоненький хвостик ее, будто прутик, лежал поперек половиц.

— Что же это я наделала, глупая? — упрекала себя Катерина Федосеевна.— Угостила соленым салом с голодухи! От такого угощенья ноги протянуть можно.

И все-таки пошла за советом к солдатке, больше некуда было.

— Что стряслось, Федосеевна? — спросила та, заметив по лицу старухи, что заявилась она неспроста.— Нечастая гостья, хоть и рядом живем.

— Прости, Валюша, что обеспокоила тебя,— сказала Катерина Федосеевна.— А только не найдется ли у тебя молочка немножко?

— С ума ты сошла, Федосеевна! Корова у меня, что ли? — удивилась Валя.

— Знаю, что не корова, только, думаю, с чайную чашку не найдется ли?

— Неужто для кошки для этой драной?

— Для кошечки, Валя. Взяла я ее к себе на воспитание.— И в угоду солдатке Катерина Федосеевна даже подшутила над собой: — Слыхала, говорят: «Не было у бабы хлопот, так купила поросенка».

— Ладно кабы порося, а то кошку! — все еще не хотела понять ее Валя.

— А без кошки, Валя, что за дом? Кошки нет, стало быть, мышей нет, а мышей нет, стало быть, достатку бог не дал, царь не умеет народом править.

— Ну вот о чем, старая, вспомнила, о царе! — удивилась Валя.— Где я тебе молока найду?

— Прости, коли так! — сказала Катерина Федосеевна и повернулась к порогу.

Но Валя остановила ее.

— Сядь, посиди маленько. Я Кольку пошлю к Поликарповне. Колька! — крикнула она.

Валя жила в коммунальной двухкомнатной квартире с сыном и дочерью. Сынок родился еще при отце и сейчас заканчивал десятилетку. Катерина Федосеевна считала, что сын у Вали законный и ничего против него не имела. А вот дочка, по слухам, появилась на свет, когда батько уже с немцами воевал, и один бог знает, чья она. Из-за этого Катерина Федосеевна и относилась к солдатке Вале с ревнивой подозрительностью и считала ее про себя несамостоятельной, непутевой. Что угодно могла она простить женщине-солдатке, только не беспутную жизнь.

Колька поворчал немного, что его от книг отрывают, но сходил, куда послала мать, и принес полную чашку молока.

Катерина Федосеевна даже не поблагодарила как следует, заторопилась домой.

— Подруженька! — позвала она кошку, еле открыв дверь в избу.— Вот я тебе раздобыла еды, это не солонина, не грибки какие-нибудь. Да где ты, жива ли?

Кошка спала на ее постели, прямо на подушке, свернувшись улиткой,— маленькая, серенькая, голова в передних лапах, хвостик прутиком промеж ушей. На мгновение она приоткрыла глаза, взглянула лениво, без всякого интереса на свою хозяйку и тотчас заснула снова и словно бы даже захрапела.

Катерина Федосеевна сразу притихла и от порога к суденке с кружкой молока прошла на цыпочках. Сон всегда дороже еды, в это она верила давно. Для человека — дорог, значит, и для любого живого существа тоже.

Было уже поздно, и Катерина Федосеевна сама стала укладываться. Чтобы не потревожить Подружку, она решила эту ночь переспать на печи.

Хлопот с кошкой было, конечно, немало, но ведь Катерина Федосеевна сама хотела, чтобы у нее были хлопоты. Она даже придумывала их себе. Чем больше было хлопот, тем легче переносила она свое одиночество.

Через Валю она познакомилась с Поликарповной и стала брать у нее каждодневно по бутылке козьего молока. Все для кошки. Сама она козье молоко в рот не брала, брезговала.

По утрам Подружка просыпалась рано, и Катерина Федосеевна только радовалась этому, потому что тоже не любила спать подолгу. Наполнив молоком чайное блюдце, она добавляла в него кусочки хлеба. Крошево это кошка съедала неторопливо, с удовольствием. Сперва лакала молоко, затем подбирала хлеб. А Катерина Федосеевна стояла либо сидела рядышком и смотрела на нее во все глаза. Иногда она спрашивала:

— Что, глянется? По душе тебе крошенинка моя?

Подружка, занятая своим наиважнейшим в жизни делом, даже не поднимала головы от блюдца, будто не слышала, о чем спрашивает хозяйка. Она ласкалась, мурлыкала, терлась о ее ноги, пока хотела есть, а наевшись, отходила в сторону, отфыркивалась, отряхивалась, особо отряхивала лапки и уже не обращала никакого внимания на свою кормилицу, словно ее и не существовало.

Катерина Федосеевна налюбоваться не могла на свою Подружку.

Однажды кошка вылакала все молоко, а хлеб не съела. Катерина Федосеевна походила по магазинам и нашла для нее полкило белого хлеба,— в поселке он появлялся нечасто. От белого хлеба кошка не отказалась. Но скоро и он ей надоел. Тогда Катерина Федосеевна начала покупать мясо.

Глаза у Подружки прояснели, перестали гноиться. На морде появились усы. Она раздобрела, обросла длинной шелковистой шерстью, словно нарядилась в новую юбку, и все чаще умывалась, все дольше спала, а когда после еды охорашивалась, Катерина Федосеевна, глядя на нее, любовно ворчала:

— Затрясла своими воланами. Вишь, модница какая!

Но и насытившись и раздобрев, кошка воровать не перестала: то на стол вскочит, то в суденку заберется, должно быть, это у нее в привычку вошло. Тащит мясо, припасенное для нее же, и даже хлеб ест, если он краденый.

Первый месяц Катерина Федосеевна боялась выпускать кошку на улицу, чтобы та не заблудилась где-нибудь. У порога около веника для нее стоял ящик с песком — в избе пахло тяжело и густо. А когда Катерина Федосеевна решилась наконец выпустить кошку на прогулку, та исчезла сразу на двое суток.

«Может, она подалась от меня к старым хозяевам? — думала Катерина Федосеевна.— Может, я не угодила ей чем-нибудь?»

Две ночи она почти не спала: Подружка могла появиться в любой час, не откроешь дверь вовремя — обидится, совсем уйдет. Но ведь не в милицию же заявлять о пропавшей кошке.

Под утро вторых суток сон все-таки сморил Катерину Федосеевну. Приснилось ей, будто покойный муж топит Подружкиных котят за гумном в глубокой яме, из которой деревенские бабы глину добывали, чтобы печи подмазывать. Вытряхнул он котят из мешка, а их было четверо, и все серенькие, как воробышки, а яма до краев полна водой, плавают они, тощие, маленькие, мяучат, а муж в них палками кидает, чтобы скорей на дно шли. Кошка-мать бегает вокруг ямы, ревет не своим голосом, то в одну сторону кинется, то в другую, а муж, покойник, и в нее палками кидает. Стала бегать вокруг ямы и Катерина Федосеевна, хочется ей крикнуть мужу: «Что ты делаешь, бессовестный!» — а голоса нет, и замяукала она по-кошачьи. Тогда муж, покойник, и в нее — палку за палкой...

Проснулась Катерина Федосеевна, будто избитая, тело ноет, а кошка Подружка на постели под боком лежит, руки ей лижет, даже страшно стало. И припомнились ей слова соседки Вали: «А вдруг это смерть твоя?»

— Откуда ты взялась, окаянная, спаси Христос! — с трудом выговорила Катерина Федосеевна, отодвигаясь от кошки, и всхлипнула не то от радости, что она вернулась, не то от страха.

Днем страх прошел. Осталась только обида на кошачью неблагодарность. Прибирая постель, Катерина Федосеевна упрекала свою Подружку:

— Неужто к старым хозяевам бегала от меня, изменщица? Разве тебе у меня худо, чего тебе еще надо? А может, по лесу опять шаталась? «Сколь ни корми, а все в лес смотрит» — уж не про кошку ли это сказано? Может, про кошку? Как же ты в избу-то попала, голубушка? Дверь заперта, окно тоже... Не через трубу ли? Через трубу ведьмы лазят.

Но, присмотревшись, Катерина Федосеевна заметила открытую форточку и следы грязных лап на стекле изнутри и снаружи окна.

— Вот ты какая у меня лазунья! — сказала она.— Догадливая! Ну погоди, не будешь убегать, все равно приворожу!

Растопив печь, Катерина Федосеевна выскребла из кошелька остатки пенсии, сходила на базар и приготовила для кошки мясные котлетки, какие мужу научилась готовить, когда он болел, — сочные, поджаристые, с дымком.

— Служи, лазунья! — скомандовала она ей, как собаке, держа котлету над ее головой.

Почуяв в руке хозяйки жареное мясо, кошка взвилась, подпрыгнула и в кровь разодрала ей пальцы, но котлетку все-таки схватила.

Катерина Федосеевна смазала царапины на пальцах жиром и накормила Подружку досыта. Наевшись, та забралась на подоконник и стала ловить мух на стекле. Потом заснула на весь день, опять же на хозяйской подушке.

Случилось однажды, угостила Катерина Федосеевна кошку мороженой треской, а в другой раз купила на базаре у ребятишек речных окуньков. Подружке особенно по душе пришлась свежая рыба, должно быть, она ее пробовала где-то раньше. У окунька Подружка отгрызла сначала голову, но есть стала его не с головы, а со спины, и только напоследок съела и голову. Жевала она не-

торопливо, похрустывая и щурясь от удовольствия, почти засыпая к концу еды. На полу оставались рыбьи внутренности, да хвост, да красные перья.

— Не для меня ли оставляешь? — пошутила Катерина Федосеевна, подбирая с пола кошачьи объедки.

После свежих окуньков Подружка перестала есть мороженую рыбу. Да и свежая рыба устраивала ее теперь не всякая. Хорошо шли гладкий пескарь, сладкий голый налименок, жирный сазанчик. А плоскую костлявую густеру с жесткой, как панцирь, чешуей она совсем не признавала за еду. Испробовав свежие, сочащиеся жиром котлетки, Подружка стала отказываться и от мороженого мяса.

Пришлось Катерине Федосеевне изворачиваться, доставать каждый день то парное мясо, то свежую рыбу. А когда в доме не было ни того, ни другого, кошка ходила за нею по пятам, заглядывала в глаза и мяукала ожесточенно и требовательно.

Катерина Федосеевна безропотно переносила все ее домогания, жарила и рыбу и котлеты, отказывала во многом себе, даже чай стала пить некрепкий, только бы не остаться снова в одиночестве. А когда небольшой пенсии не хватало до конца месяца, она подрабатывала в молодежном общежитии стиркой белья, мытьем полов.

Посылочки для дочери она тоже справляла теперь не каждый месяц: все равно та отзывалась письмом не на всякую посылку.

Многое прощала Катерина Федосеевна своей Подружке, не могла смириться лишь с ее воровством да еще с ее побегами. Стоило хозяйке зазеваться, не захлопнуть за собой дверь, как Подружка серой тенью шмыгала промеж ног и не возвращалась домой по двое, по трое суток. Разыскивать ее было бесполезно. Но Катерина Федосеевна всякий раз искала ее.

С особенным удовольствием кошка убегала из дому через форточку. Если случайно открыты были в избе и и дверь и форточка, кошка исчезала через форточку. Тем же путем любила она и возвращаться в дом. Оконные стекла с обеих сторон всегда были в грязи, занавеска то и дело оказывалась продранной и валялась на полу.

А в палисаднике под окнами перестали водиться птички. Раньше Катерина Федосеевна прикармливала синичек, снегирей, сейчас птички боялись ее избы. Кошка вы-

слеживала их часами в кустах смородины и калины и, поймав, приносила в зубах домой еще живыми, злобно урча и тараща глаза. Под лавкой, под столом то и дело появлялись перышки — желтые, красноватые, пестрые.

Правда, мышей в доме тоже не стало. Ну и ловила бы себе мышей, это ей по закону положено, а птичек зачем трогать?

Как-то в форточку залетела синичка. Кошка прямо взбесилась, опрокинула горшок с примулой, смахнула со стола две чайные чашки, а когда Катерина Федосеевна схватила ее за загривок, она извернулась и укусила ее. Синичка ударилась о стекло, упала на пол, и кошка все-таки ее съела.

С неутолимой алчностью Подружка кидалась на всякую живность. Она и рыбу охотнее жрала живую, а не мертвую. Даже ящериц в избу приносила. С этим Катерина Федосеевна тоже примириться не могла.

— Душегубица некрещеная! Мало тебе всякой еды на свете, мало котлет, все норовишь кому-нибудь горло перегрызть! Веретельниц-то домой зачем тащишь? Накличешь беду какую-нибудь...— ворчала она.

И еще было горе: с появлением кошки в избе у Катерины Федосеевны почему-то стали вянуть цветы. Любимая ее герань в большой глиняной кринке, которая раньше, в деревне, служила квашней для блинов,— широколистая жирная герань погибала на глазах. Ни подкормка, ни поливки не помогали, и нельзя было понять, отчего герань сохнет.

Новое бедствие началось ранней весной, когда под окном у Катерины Федосеевны, не давая ей спать, по целым ночам ревмя ревели Подружкины ухажеры, а сама Подружка, беснуясь, металась по избе и не хотела ни есть, ни пить, пока не вырывалась на свободу. В эти недели домой она заглядывала редко, как правило, под утро, растрепанная, усталая, мяукала жалобно, а нажравшись, заваливалась на постель или забиралась на печь и спала до вечера. Вечером все начиналось сызнова.

Помучившись, Катерина Федосеевна перестала закрывать форточку совсем, только жарче топила печь.

Однажды она до полночи собирала очередную посылочку для дочери — довязала шерстяные носки,— в Заполярье, по ее представлениям, всегда стояли трескучие морозы, где набраться теплых носков; насушила кулек картошки из остатков со своего огорода, бережно

свернула и сунула в тот же фанерный ящичек последний рукотерник с петухами, уцелевший от ее девического приданого, да старомодную стеклянную в медной оправе брошку... Собирая все это, она ждала, не вернется ли кошка, и думала о дочери, что вот выросла и бросила старуху одну, ни сама в гости не приезжает, ни ее к себе не позовет. Да и Подружка тоже хороша!..

Оставалось обшить фанерную посылочку дерюжкой, но Катерина Федосеевна уже не смогла этого сделать, легла и заснула.

Вот тогда-то к ней через открытую форточку и заглянул огромный черный котище и заревел по-человечьи, да так страшно, как только совы ревут по ночам в глухом таежном лесу. Катерина Федосеевна не заметила, как очутилась на ногах, и, еще не совсем проснувшись и не опомнясь от первого неясного испуга, увидела вдруг прямо перед собою, чуть повыше своей головы, в прямоугольном, темном проеме окна, самого настоящего черного дьявола с холодным лунным огнем в круглых глазах, с рогами вместо ушей.

До самой смерти она не могла вспомнить, что с ней было потом,— кричала ли она, и когда успела включить свет, и каким образом в руках у нее появилась кочерга, и сама ли она захлопнула форточку или кто-то другой закрыл ее, и почему она оказалась лежащей на полу.

Утром соседка Поликарповна, подоив козу и не дождавшись Катерины Федосеевны, сама принесла ей бутылку парного молока. Катерина Федосеевна с трудом встала с полу, открыла дверь, подняла кочергу и поставила ее в угол.

— Что это ты, Федосеевна, днем с огнем сидишь? — удивилась Поликарповна.— Уж не заболела ли?

Катерина Федосеевна молча добрела до выключателя, молча повернула его. Потом взяла бутылку с молоком и тут же половину вылила в блюдце для кошки, хотя кошки в доме все еще не было. Руки у Катерины Федосеевны при этом дрожали.

Поликарповну осенила недобрая догадка:

— Неужто все мое молоко ты кошке спаиваешь? Кабы знала, ни разу бы не дала. Валькиным ребятам отказывала, а тебе отпускала. Из-за денег я, что ли?

— Заболела я,— тихо и как-то неразборчиво сказала Катерина Федосеевна и легла на постель поверх одеяла. Больше от нее нельзя было добиться ни слова.

Тотчас после Поликарповны к ней прибежала расторопная солдатка Валя, помогла ей лечь под одеяло, взбила подушку, хотела чем-нибудь покормить, но Катерина Федосеевна ничего есть не стала, тогда Валя перед уходом приказала ей:

— Лежи, не рыпайся. Я сейчас на работу, а вечером забегу. Поняла? И врача к тебе пришлю. Поняла? У тебя ведь дочка есть, может, ей телеграмму послать?

— Не успеет опять! — сказала Катерина Федосеевна.

— Кто не успеет, дочка или телеграмма?

Катерина Федосеевна показала глазами на закрытую форточку и с трудом произнесла еще одно слово:

— Открой!

Валя открыла форточку, больная успокоилась и сразу заснула.

Вечером пришел врач. Катерина Федосеевна не отвечала ни на один из его вопросов, только с тревогой поглядывала на форточку, словно ждала кого.

— Дует? — спросил врач и хотел закрыть форточку.

Катерина Федосеевна вымолвила:

— Не надо!

И снова заснула.

Разбудила ее Подружка. Голодная и взъерошенная, она со стуком прыгнула из форточки на пол, метнулась под шесток к своему блюдцу, вылакала приготовленное для нее молоко, но не насытилась, а потому забралась на постель к своей хозяйке, стала ходить по ней, мяукать и чистить и точить на ее груди свои когти.

Катерина Федосеевна спросонья вздрогнула вся. Вздрогнула даже кровать под нею. Расширившиеся до предела глаза больной женщины с ужасом остановились на кошке, словно она опять увидела перед собой ночного дьявола. «Может, это смерть моя?» — припомнилось ей. Но скоро в глазах ее засветился добрый спокойный огонек. Катерина Федосеевна медленно вытянула из-под одеяла правую руку и ласково положила ее на спину Подружки.

— Не уходи! Подру́инька...— попросила она.

Кошка, прогнув спину, выскользнула из-под тяжелой руки хозяйки и снова побежала к печке, под шесток, но в блюдце по-прежнему было пусто, тогда она, осмотревшись и что-то по-своему сообразив, прыгнула на суденку, опрокинула незаткнутую бутылку с остатками моло-

ка и, с опаской поглядывая на хозяйку, принялась вылизывать белую лужу и на сундуке и на полу.

Катерина Федосеевна не крикнула на нее, не пригрозила ничем, даже не пошевелилась, и кошка, по-видимому, поняла, что больше ей нечего бояться. Зализав молоко и отряхнув лапки, она забралась в кринку-квашню с геранью, покрутилась, помялась на одном месте и уже без всякой опаски, прямо на глазах у потрясенной хозяйки, сделала свое маленькое дело, после чего брезгливо разворошила под собой цветочную землю.

Катерина Федосеевна поняла наконец, отчего повяла ее любимая герань.

— Подлая! — прошептала она Подружке.— Ящик ведь есть! — и отворотила от нее свое лицо.

Подружка еще раз отряхнула лапки, взобралась на кровать и, мурлыкая, легла хозяйке на грудь,— печка в этот день была не топлена.

— Подлая! — повторила Катерина Федосеевна, но прогонять от себя кошку не стала. На бледных щеках ее появились слезы.

Валя застала обеих спящими — Федосеевну и ее Подружку. Круглая, бойкая, она колобком прокатилась от порога, поставила на стол корзину с едой и вдруг возмущенно вскрикнула, увидев на груди Катерины Федосеевны спящую кошку:

— Издевательство какое! Больного человека придавила, паскуда.— Она шлепнула кошку по усатой морде и сбросила ее с груди старухи.

Катерина Федосеевна проснулась, лицо ее исказилось от боли, словно Валя шлепнула ее, а не кошку.

— Оставь! — выговорила она.

— Как это оставь? Развалилась на тебе, свинья жирная, а ты терпишь. Она и задушить может, только допусти — лесная ведь! Вот я выброшу ее в форточку, пусть знает свое место.

— Закрой! — прошептала Катерина Федосеевна и показала глазами на форточку.

— Ладно, закрою, коли так,— согласилась Валя и захлопнула форточку.— Делишки-то как твои? Выкарабкаешься или нет? Карабкаться надо. Может, дочке телеграмму все-таки послать? Адрес-то где у тебя?

— Покорми! — сказала Катерина Федосеевна.

— Вот это резонный разговор. Сейчас покормлю. Тут я принесла тебе кое-чего.

— Кошку! — сказала Катерина Федосеевна.

— Как это — кошку? Сперва тебя покормлю, а потом уж кошке — что останется.

— Кошку! — повторила больная.

— Ладно, коли так, покормлю и кошку. Нашла кого полюбить! — Валя выложила на стол еду из корзинки и кинула кошке кусок хлеба.— Жри, потаскуха!

Кошка подошла к хлебу, обнюхала его и, отвернувшись, с недоумением посмотрела на свою хозяйку, на Катерину Федосеевну.

— А ведь она не голодная у тебя! — обиделась Валя.— Ишь оборотень! Ей, наверно, сметанки надо, а то, может, котлетку жареную подать, бифштекс-ромштекс?

Катерина Федосеевна закрыла глаза.

Всегда суматошная Валя тихо просидела у постели старухи целый вечер, накормила-таки ее манной кашей с ложечки и пообещала заглянуть до ночи еще разок.

— А то свою Маруську пошлю! — сказала она.

Все это время кошка скрывалась за печной трубой, дремала, изредка приоткрывала глаза, словно шторки на окнах раздвигала, следила за своей хозяйкой. А когда за Валей захлопнулась дверь, она мягко спустилась с печи, забралась на стол и спокойно и плотно поужинала, выбирая что по душе.

Катерина Федосеевна видела все, но уже ничего не говорила.

Совсем поздно в избу, постучавшись, вошла Валина дочка, Маруся, школьница лет пятнадцати, робко примостилась у кровати бабки Федосеевны, которой почему-то всегда побаивалась, сидела не двигаясь, все ждала какого-нибудь приказания или просьбы, но сама спрашивать ни о чем не решалась.

Катерина Федосеевна взяла ее руку в свои — жилистые и холодные — и долго молча гладила, словно извинялась, что раньше не признавала ее.

В избе было прохладно и сыро, пахло лекарствами.

Под бревенчатым потолком тускло горела электрическая лампочка, обернутая бумагой.

Кошка опять сидела за печной трубой, чего-то ждала, но к хозяйке не подходила и даже не глядела в ее сторону.

— Шить умеешь? — вдруг спросила Катерина Федосеевна.

Маруся вздрогнула от неожиданности.

— Чего шить?

— Посылку обшей. Вон...— Она показала глазами в угол избы.— Адрес напиши... В шкапу. Пошли дочке.

Маруся принялась за работу.

На другой день врач, прослушав больную и выписав новые назначения, сказал:

— Душно у тебя здесь, бабуся. Я к тебе дежурную сестру пошлю, пока в больнице место не освободилось. Она и печку будет топить.

— В деревню бы меня...— попросила Катерина Федосеевна.

— Тоскуешь? — заинтересовался врач.— А кто тебя там лечить будет?

— В деревню бы...

— Конечно, в деревню бы... Но тут уж я ничего сделать не могу. Вот поправишься, тогда...

Перед уходом он открыл форточку.

— Не надо! — с испугом сказала Катерина Федосеевна.

Но было уже поздно: кошка сорвалась с печи, мяукнула, взвилась и, скрежетнув когтями по стеклу, скрылась.

Подружка появлялась в избе еще не раз, но лишь в те часы, когда больная старуха почему-либо оставалась одна.

Воровато поглядывая на свою хозяйку, а то делая вид, будто вовсе не замечает ее, кошка подбирала остатки еды со стола, затем обшаривала и обнюхивала все закутки в избе и снова исчезала через форточку. А если в избе не оказывалось никакой еды, она забиралась к Катерине Федосеевне на грудь, тормошила ее и требовательно мяукала.

Просыпаясь, Катерина Федосеевна спервоначалу, как всегда, пугалась, но потом внимательно и бесстрастно следила за своей Подружкой, все уже понимала и ни о чем не заговаривала с ней.

В последний раз Валя застала Подружку на груди Катерины Федосеевны, когда та была уже мертвая.

— Задушила-таки, ведьма! — взвизгнула Валя, хватая кошку за мягкий пушистый воротник.— Ну погоди, сейчас-то я знаю, что с тобой делать. Сейчас ты не уйдешь от меня. Сдам я тебя куда следует.

1965

УГОЩАЮ РЯБИНОЙ

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

Марина Цветаева

Весной в Подмосковье, пряча лыжи на чердак, я заметил развешенные по стропилам кисти рябины, которую осенью сам собирал, сам нанизывал на веревки, а вот забыл о ней и, если бы не лыжи, не вспомнил бы.

В давнее время на моей родине рябину заготовляли к зиме как еду, наравне с брусникой, и клюквой, и грибами. Пользовались ею и как средством от угара, от головной боли.

Помню, вымораживали мы тараканов в избе, открыли дверь и все окна, растерев их створки лучиной, а сами переселились к соседям. За зиму таким способом избавлялись от тараканов почти в каждом доме. В лютый мороз пройдет несколько дней — и ни одного прусака в щелях не остается. Вернулись мы в свою избу через неделю, мать принялась калить печь, да закрыла трубу слишком рано, не рассчитала, и к вечеру мы все валялись на сыром полу, как тараканы. Не знаю, что с нами было бы, если бы не мороженая рябина. Странно, может быть, но сейчас вспоминать об этом мне только приятно.

В Подмосковье я собирал рябину больше из любви к этим своим воспоминаниям о детстве, да еще потому, что в прошедшем году уродилось ее на редкость много, и жалко было смотреть, как сочные, красные ягоды расклевывают дрозды.

На темном чердаке под самой крышей связки рябины висели, словно березовые веники. Листья на гроздьях посохли, пожухли и свернулись, и сами ягоды, перемерзшие за зиму, тоже чуть сморщились, вроде изюма, зато были вкусны. Свежая рябина — та и горьковата, и чересчур кисла, есть ее трудно, так же как раннюю клюкву. Но и клюква и рябина, прихваченные морозом, при-

обретают ни с чем не сравнимые качества: и от горечи что-то осталось, а все-таки сладко и, главное, никакой оскомины во рту.

Цвет рябиновых ягод тоже за зиму изменился, он стал мягче и богаче по тонам: от коричневого, почти орехового, до янтарного и ярко-желтого, как цвет лимона. Впрочем, почему это нужно сравнивать рябину с лимоном, а лимон с рябиной?

Попробовав ягоды тут же на чердаке, я первым делом обрадовался, что опять смогу как-то побаловать своих детей и лишний раз доказать им, что деревенское детство не только не хуже, а во многих отношениях даже лучше детства городского.

Не знаю, как это передать, объяснить, но всю жизнь я испытываю горечь оттого, что между мною и моими детьми существует пропасть.

Нет, дело не в возрасте. Дело в том, что я был и остаюсь деревенским, а дети мои городские и что тот огромный город, к жизни в котором я так и не привык, для них — любимая родина. И еще дело в том, что я не просто выходец из деревни, из хвойной глухомани,— а я есть сын крестьянина, они же понятия не имеют, что значит быть сыном крестьянина. Поди втолкуй им, что жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. Хорошо у них идут дела — и мне легко живется и пишется. Меня касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал; на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога.

Всей кожей своей я чувствую и жду, когда освободится эта земля из-под снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем году, и какой она даст урожай, и будут ли обеспечены на зиму коровы кормами, а люди хлебом. Не могу я не думать изо дня в день и о том, построен ли уже в моей деревне навес для машин или все еще они гниют и ржавеют под открытым небом, и когда же наконец будет поступать запчастей для них столько, сколько нужно, чтобы работа шла без перебоев, и о том, когда появятся первые проезжие дороги в моих родных местах, и когда сосновый сруб станет клубом, и о том, когда мои односельчане перестанут наконец глушить водку, а женщины горевать из-за этого.

А еще: сколько талантливых ребятишек растет сейчас в моей деревне, и все ли они выбьются в люди, заметит ли их вовремя кто-нибудь, и кем они станут?..

По утрам я будто слышу, как скрипят колодезные журавли на моей неширокой улице и холодная прозрачная вода из деревянной бадьи со звоном льется в оцинкованные ведра. Скрипят ли журавли теперь? Уцелел ли тот колодец вблизи нашей избы, из которого я сам много лет носил воду на коромысле?

Что до всего этого моим сыновьям и дочерям? Во всяком случае, они не крестьянские дети и потому не чувствуют, как мне кажется, и не понимают моего детства. Разные мы люди, из разного теста сделаны и, должно быть, по-разному смотрим на мир, на землю, на небо.

Но, может быть, я не прав, попробуй разберись в этом.

Ревность и обида мучают меня, когда между нами опускается вдруг некий занавес и мои многознающие отпрыски вдруг начинают даже бунтовать, подтрунивать надо мною из-за того, что меня каждое лето тянет не в теплые края, не к синему морю, а все в мои северные дебри, к комарам да мошкам. Они же комаров и мошек терпеть не могут. Да и то сказать, не каждый человек способен свыкнуться с этой нечистью на земле.

Запах скотного двора, унавоженных полей и соломы меня бодрит, я вспоминаю о свежеиспеченном хлебе, а для моих детей запах навоза только вонь, и ничего больше.

У художника Серова есть замечательная картина «Волы» — у старого Серова, не у нынешнего. Вряд ли мои дети чувствуют всю прелесть этого серовского шедевра. Даже когда сыновья мои попадают в деревню, их привлекает больше трактор, а не живая лошадь, совершеннейшее из созданий природы. С машиной управляться легче, чем с живым существом...

Правда, и деревенские ребятишки теперь охотнее играют не в лошадки, а в трактор, в автомобиль, как во время войны играли в войну. И может быть, мои страхи преувеличены. Но все-таки мне почему-то жаль иногда своих детей. Жаль, что они, городские, меньше общаются с природой, с деревней, чем мне хотелось бы. Они, вероятно, что-то теряют из-за этого, что-то неуловимое, хорошее проходит мимо их души.

Мне думается, что жизнь заодно с природой, любовное участие в ее трудах и преображениях делают человека проще, мягче и добрее. Я не знаю другого рабочего места, кроме земли, которое бы так облагораживало и умиротворяло человека.

В общем, жаль мне своих детей, но я люблю их и потому не упускаю случая постоять перед ними за свою сельскую родословную, за своих отчичей и дедичей.

И сейчас, обнаружив забытую на чердаке рябину и вспомнив, с каким наслаждением мы в детстве, ели ее, мороженую, я опять решил про себя: вот угощу — и почувствуют мои птенцы, что значит настоящая природа, настоящая Россия, и мы больше будем понимать друг друга.

Кстати, и цветет-то рябина удивительно красиво, пышно и тоже гроздьями. Каждое соцветие — целый букет. Но весной разных цветов так много, что эти белые кремовые гроздья на деревьях как-то не бросаются в глаза. К тому же весной детям моим не до цветов, не до красот природы, не до поездки в деревню. Школьные перегрузки, часто нелепые, не оставляют времени у них и у преподавателей, чтобы интересоваться живой землей. Да и осенью, когда на полосах поспевает горох, на грядках овощи, а в лесах грибы, брусника, княжая ягода, они, дети, должны быть в городе, за партами, и если что видят, то лишь на торговых лотках.

А все-таки...

Но прежде чем встретиться со своей семьей, я со связкой рябины на веревке появился в кругу товарищей по работе. Всегда приятно чем-нибудь одаривать людей, и потому я особенно обрадовался, когда рябина моя взволновала моих знакомых.

Один из них, ширококостный, шумный, автор колхозных романов, первый шагнул мне навстречу, сказал «ого!», взял связку из моих рук, чтобы сначала ощутить ее тяжесть, покачал вверх-вниз и, как знаток, понюхал.

— Ого! — повторил он.— Вот это да! Рябина! Можно?

Он отщипнул одну ягодку, затем другую, взял на язык, почмокал, разжевал.

— Неужель с родины?

— Нет, здешняя, подмосковная.

— Ты смотри! Сколько ни обламывают, а все жива... Вот что значит русская рябина!

И он стал осторожно перебирать сухие, плотно слежавшиеся бурые и серые листья и открывать, как бы развертывать гроздья янтарных и красных ягод.

— Да, северный виноград! Витамины! — причмокивал он.— У нас раньше под каждым окном в деревне два или три дерева обязательно росли. Были одноствольные, а то — кустом, от корня в четыре-пять стволов. Весной аромат по всей избе. Что за дом без своего садика под окнами! Мало под окнами, у нас даже за двором, на участке, где-нибудь около гумна отводили уголок для деревьев. Черемуху на участке обычно не сажали, от нее заразы много, на сладкое, как известно, всякая пакость лезет. А рябину сажали частенько. Наверно, ведь и в ваших местах палисаднички были? Все помнишь?

— Как не помнить! Любили и мы по черемухам да по рябинам лазить, хлебом не корми.

— Вот, вот,— обрадовался он,— хлебом не корми! А наши дети растут! Даже по крышам не лазят. Что за детство! Лошадей да коров только на картинках видят. Один рвется к бильярду, хлебом не корми, другой мечтает за руль сесть. И развязные какие-то... Мой младший на днях встретил старика Чуковского, Корнея Ивановича,— живого Чуковского! — и спрашивает: «Как жизнь?» Вроде по плечу похлопал. А потом заглянул к нему в открытый гараж и говорит: «Я не знал, что у вас «ЗИМ»!» Корней Иванович, конечно, расхохотался. Расхохочешься!

«Ну, к моим детям это не относится,— с удовлетворением подумал я.— Мои не такие, и, может, потому, что у меня их много, и не так им просто и легко живется».

А он продолжал:

— Между прочим, у нас раньше пироги пекли с черемуховыми ягодами. Зубы у всех были крепкие, ешь — хруст стоит. А из рябины не помню, что делали... Спелые кисти ее раскладывали на зиму промеж оконных рам, это уже для красоты. На белых листочках из школьных тетрадей — красные крапинки... И на рушниках вышивали рябину — хорошо!..

Воспоминаний сельского романиста, его красноречия уже невозможно было остановить. Я слушал и ждал: вспомнит ли об угаре?.. Вспомнил!

— Знаешь ли, что в деревнях рябина спасает людей

от угара? Зимой печи топят жарко, поторопится баба закрыть трубу, чтобы тепло сберечь,— и все в лежку лежат. Ну, принесут этакую вот связку с потолка и жрут. От наших морозов тараканы валятся, а рябина становится только слаще. Как говорится, что русскому здорово — то... и так далее. Что ты скажешь, проходит угар, голова не трещит. К чему все эти пирамидоны, анальгины, тройчатки? То ли дело натуральная целебная сила! — И он, шумный, так захохотал, что можно было подумать, не смеется, а кричит на кого-то.— Твоя ягодка уже оттаяла, а все еще вкусна. Я возьму веточку с собой?

— Бери, пожалуйста, не одну.

Он взял и снова начал настраиваться на воспоминания:

— Да, вот ведь как, рябина... А все-таки, что мы такое из рябины делали?..

— Настоечку, настоечку из рябины делали, вот что! Как же забыть такое? — заинтересованно вклинился в разговор другой мой знакомый и тоже с удовольствием стал сощипывать ягоду за ягодой.

А третий неожиданно спросил:

— Что это?

— Рябина, конечно.

— Да? Рябина? — удивился он.— «Что стоишь, качаясь»? Откуда она у вас?

— Осенью красовалась под окном, а зимой висела на чердаке.

— Это интересно, расскажите, расскажите!

Еще не разобравшись толком, действительно ли ему это интересно, я стал рассказывать. Но что, собственно, было рассказывать? Чего такого он мог не знать про рябину?

— Пожалуйста, спрашивайте, что вас интересует?

— Как что интересует? Прежде всего — дикая рябина или садовая?

— Была дикая, сейчас растет на участке. Принес из лесу несколько тоненьких, задавленных кустиков, пересадил под окна, на свободе они принялись, похорошели. Пока за рябиной ухаживаешь, заботишься о ней — она не дикая, и ягода крупнеет, добреет, а перестань заботиться — одичает рябина, запаршивеет, и ягода станет мелкой, горькой, чуть ли не ядовитой.

Любознательный друг мой засиял от догадки:

— Происходит, собственно, то же, что и с людьми?

— Собственно, то же,— подтвердил я.— Вот уже вторую осень от дроздов на моей рябине отбою не было.

— Очень интересно! И дрозды, значит, рябину любят?

— Как же, любят! Есть дрозд, которого так и зовут: рябинник.

Тут первый знакомый снова включился в разговор.

— А ты не замечал,— обратился он ко мне,— когда на рябину урожайный год, дрозды, что ты скажешь, зимовать остаются? Не замечал?

— Замечал,— ответил я.

— Конечно, не все, а которые посмелее, самые отчаянные, так сказать.

— И не одни дрозды, наверно. Кстати, в этом году так и случилось: большие стаи птиц в наших перелесках остались на зимовку, уразумели, что от добра добра не ищут.

— Очень интересно,— заговорил опять городской книгочий.— Вот ведь какое дело! И как же вы ее приготовили, рябину?

— Что ее приготовлять? Обломал гроздья с дерева, прямо с листьями, как видите, взял веревку, привязал к ее концу палочку-выручалочку и нанизал гроздья на веревку. Вот и вся работа.

— Удивительно интересно! А что потом?

Я начал улыбаться забавной обстоятельности его вопросов. Но вправе ли я был ожидать и тем более требовать, чтобы и этот мой товарищ, у которого свой круг жизненных интересов, отличный от моего, но одинаково важный и нужный, чтобы и он смотрел на мою рябину так же, как я на нее смотрю? Не было у меня такого права. Значит, неуместна была и моя ирония. Другое дело — если бы дети мои так же интересовались всем, что касается моего детства!

— Что потом, говорите? А попробуйте! — И я с готовностью протянул ему раскачивающуюся цветастую гирлянду.

— И что же, ягоды замерзли зимой? — продолжал допрашивать меня горожанин.

— Ледышками стали. Да вы отведайте, не бойтесь!

— А вкус их изменился от этого? Кислые они или какие?..

Один раз он даже тронул листья, пошуршал ими, но так и не решился взять в рот ни единой рябиновой ягодки. Что же, выходит я должен жалеть и его? Хватит ли у меня жалости на всех?

— Ах, что за прелесть, что за прелесть! — восторженно заахала вдруг накрашенная немолодая дама, печатавшая в газетах очерки на морально-бытовые темы.— Это же диво дивное, чудо чудное! И как па-ахнет! Можно я понюхаю?

— Может быть, хотите и попробовать?

— С удовольствием! И вы не пожалеете?

Она быстро клюнула ягодку, съела ее, сморщилась и заахала еще энергичней.

Я снял сверху несколько кистей, протянул ей.

— Ах, что вы, ах, зачем вы! — обрадовалась она.— Разъединять такую прелесть, такое творение природы! Как можно! — Но гроздья рябины приняла. Приняла бережно, из рук в руки, как если бы это был сигнальный экземпляр ее новой книжки. Затем вынесла из своей комнаты огромный оранжевый апельсин и не отступилась, пока я не согласился взять его взамен рябины.

— За добро надо платить добром! — многозначительно сказала она.

А рябиновые кисти тут же опустила в стакан с водой — «Вот так!» — и не переставала ахать от восторга и удовлетворения:

— Какой букет, ах! Он у меня будет стоять на письменном столе. Это же сама Россия!

Сама Россия!.. Я вспомнил о Бобришном Угоре на моей родине. Осенью, когда похолодает, и по утрам река светла до дна, и лесные опушки просвечивают насквозь, когда на мокрой от росы траве посверкивает паутина, а в ясном, прозрачном воздухе носятся стаи молодых уток,— вдруг из всех перелесков выдвигаются на передний план нарядные, увешанные гроздьями рябины: вот они мы, не проглядите, дескать, не пренебрегайте нашей ягодой, мы щедрые! Ветерок их оглаживает, ерошит сверху донизу, и птицы на каждой ветке жируют, перелетая, как из гостей в гости, с одной золотой вершины на другую, а они стоят себе, чуть покачиваясь, и любуются сами собой...

Хлынет дождь — и засверкает весь речной берег. Стекает вода с рябиновых кистей, капелька за капелькой,

ягоды красные и капли красные; где висела одна ягода — сейчас их две, и обе живые. Чем больше дождя, тем больше ягод в лесу...

Все, конечно, может примелькаться, ко всему со временем привыкаешь, но такое не заметить трудно. Вскинешь голову и неожиданно для себя, как после долгой отлучки, и словно бы уже не глазами, а каким-то внутренним, духовным зрением увидишь всю эту красоту в удивительно чистом завораживающем сиянии. Увидишь, как в первый раз, все заново, и радуешься за себя, что увидел. Ни наяву, ни во сне этого забыть никогда нельзя. Вот она какая, наша рябина!

Недаром же, истосковавшись по родине, русская поэтесса, сколь ни уверяла себя и других, будто ее уже ничто не может обольстить, что ей «все — равно и все — едино», все безразлично, под конец стихотворения признавалась:

Но если по дороге куст
Встает, особенно — рябина...

Дальний мой родственник, химик Аркадий Павлович Ростковский, которого судьба забросила на всю жизнь в знойный, раньше далекий от России Ташкент, влюблен был в экзотику востока, во все эти древние мозаичные медресе, и лепные мечети, и караван-сараи, даже чай пил только из пиалы, а все-таки настойчиво, до конца дней своих пытался заставить расти у себя под окном простую русскую рябину. Правда, не удалось это ему...

Конечно, и рябина может примелькаться. Однажды ко мне на Бобришный Угор, в мою охотничью избу, приехал осенью друг из Ленинграда. Я не знал, чем порадовать его, а он глянул поутру из окна и, как заговорщик, шепнул мне:

— Под окном-то у вас красавица стоит, не видите?

Я с перепугу принял его слова всерьез, бросился к окну и ахнул: под окном действительно стояла настоящая красавица. Рябина! Как же я раньше ее не заметил?

Сама Россия!.. Вспомнил я и о цветочных горшках на окнах городских квартир, о маленьких жалких клумбочках во дворах многоэтажных зданий, а то прямо у лестниц, справа и слева от входных дверей, о клумбочках, выхаживаемых кропотливо и бережно горожанами. Все они,

сознавая или не сознавая, тоскуют по настоящей природе. Горшки и клумбы — разве это природа?

— Позвольте-ка причаститься и мне! — протиснулся к рябине сквозь толпу пожилой грузный литератор с седыми усами, в коричневом шерстяном свитере, в черной академической шапочке на голом черепе.— Редко я сейчас ее вижу, а в юности, бывало, мы носили ее с реки целыми корзинами, пестерями. А то затянем пояса потуже и набьем под рубахи вокруг себя, прямо к голому телу, сколько могло уместиться. С реки отправляемся толстые, как бочки, а по дороге едим да в дудочки постреливаем, и чем ближе к дому, тем тоньше становимся. Как это точно сказать: тончаем, тонеем, утончаемся? (Начались муки слова!) Нет! Утончаемся сказать нельзя, смысл другой... Самая бесподобная рябина, конечно, мороженая. Кстати, от угара хорошо помогает...

И он стал вспоминать о том самом, о чем мы уже переговорили. Мы не перебивали его.

— Человек не может не тянуться к природе, он сам ее творение,— сказал он наконец.

— За чем же дело стало? — спросили его не без упрека сразу в несколько голосов.— Ехали бы в деревню, жили бы на подножном корму, примеров немало.

— Э, молодые люди! Вы, кажется, злитесь? А рассуждали, наверное, о союзе с природой, о том, что она смягчает нравы? Дело простое: сначала нужен был институт, затем потребовались издательства, журналы... Затем городская жена появилась... Сейчас, к сожалению, я уже не могу спать на сеновале и носить воду с колодца. Вот в будущем, на которое мы сейчас работаем, должна наступить гармония между городом и лесом. Зеленоград! Для меня это звучит, как, наверное, для первых русских революционеров звучало слово «социализм»...

По-разному относились знакомые к моему угощению и разными глазами на него смотрели.

Какая-то девушка воткнула рябиновую кисть себе в прическу и тотчас побежала к зеркалу: в черных волосах ее заблестели почти настоящие рубины. Потом она попросила еще две-три кисти ягод, чтобы сделать из них бусы.

— Я каждую ягодку лаком покрою,— объяснила она.

Молодой поэт сказал:

— Сколько песен сложено о рябине, а еще хочется. Ветку рябины надо бы вписать в наш герб...

Случись художник, и он, вероятно, сказал бы нечто подобное:

— Сколько картин написано, а еще одной не хватает. Моей! Странно, что в лепных орнаментах у наших архитекторов много винограда и нет рябины...

А гардеробщица Поля подошла к делу чисто практически:

— Я вот заморю эту веточку по-нашему, по-рязанскому, да чаек заварю, побалуюсь, молодое житье вспомню. Раньше у нас девки рябиной милых привораживали. Помогало. Я уж отворожила...

Ягод у меня было много, я не боялся, что их не хватит для моих детей, только неотступно думал о том, как они примут их, понравится ли им моя северная, моя деревенская снедь.

Но больше всех поразил меня последний из подошедших. Он просто по-дружески сказал мне:

— Слушай, Сашка, продай мне все это!

— Как это продай? — растерялся я.

— Ну так, все эти «витамины». А не хочешь продать — отдай так, я тебе тоже подкину какой-нибудь сувенирчик.— И он стал рыться в своих многочисленных широких карманах, небрежно раздергивая серебристые змейки-«молнии».

Нужна ему моя рябина! Но я все-таки дал веточку и ему. При этом мне очень хотелось сказать: «Поешь, может, на пользу пойдет!»

Но я ничего не сказал.

После разговора с ним я быстро покинул дом, где жили и творили мои товарищи.

А дети мои взялись за рябину сначала недоверчиво, морщась и вздрагивая так же, как осенью, когда ели упругие и сочные ягоды прямо с дерева. Но скоро они набросились на рябину азартно, съели ее всю с удовольствием и все упрекали меня за то, что я не угощал их такой вкуснотой раньше.

— Это же совсем разные вещи! — говорила мне старшая дочь.— Неужели ты не понимаешь? Это разные рябины.

Вот оно как, я же и виноват оказался. Ладно, кушайте, раз по душе пришлось! И пусть она спасает и вас от любого угара, наша рябина.

А под конец, когда все успокоились, я услышал один доверительный и добрый голос:

— Папа, разве там, на твоей родине, много такой рябины? Может быть, осенью съездим, наберем, а? Той, вашей!

Только ведь осенью опять в школу надо...

Март 1965 г.

ВМЕСТО ОТВЕТА НА АНКЕТУ О НАРОДНОСТИ ПОЭЗИИ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ И КЛАССИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ ЕЕ

Дорогие друзья!

Завтра мне предстоит операция. Насколько я понимаю — трудная. Делать ее будет «сам БЛОХИН», директор института, в котором я сейчас нахожусь, академик. Конечно, я рассчитываю жить и работать вместе с вами еще долго, но это не исключает особой обостренности сегодняшних моих чувств и мыслей о нашем общем деле, что, возможно, скажется и на ответе, потому прошу заранее извинить за всякие перехлесты.

Так вот насчет народности и традиций в поэзии. Оглядываясь назад, я думаю о том, что мы неправомерно много тратим времени на ненужные хлопоты (на всяческие якобы теоретические изыскания и разговоры о сущности поэзии, путях ее развития, о традициях и народности), когда нужно просто писать. Писать, у кого пишется. Писать, пока пишется. Писать, пока хочется, пока тянет к столу. Писать и писать, а там... видно будет, что чего стоит, кто чего сможет достичь. Разные же теоретические сочинения и выкладки пускай берет на себя кто-то другой, из тех, кто, вероятно, умнее нас. А дело художника сидеть и трудом своим, постоянной творческой напряженностью, сосредоточенностью и прилежанием расплачиваться за великое счастье жить на земле.

Много времени и сил тратим мы еще на разные удовольствия, на чепуху, между тем как истинное удовольствие писатель может найти только в работе, за столом, за бумагой.

Трудно представить себе что-либо более печальное, чем подведение жизненных итогов человеком, который вдруг осознает, что он не сделал и сотой, и тысячной доли из того, что ему было положено сделать. Думать об этом необходимо с первых шагов литературной жизни. К сожалению, понимание этого к большинству из нашего брата приходит слишком поздно, когда уже разболтанность, тяга к разного рода утехам, к «клубному шмыга-

нию» берет верх над трудолюбием, над творческой страстью.

Любой трудолюбивый в литературе человек даже с небольшими сравнительно способностями может достичь очень многого, и в конце пути ему не будет стыдно оглядываться на пройденное. «Работа ума прибавляет!» — говорится в народе. Писать надо, друзья мои! Писать о том, о чем хочется и как хочется, и только так писать, как можно полнее. Высказывать себя, свое представление о жизни, свое понимание ее и, конечно, как можно правдивее — правдивее настолько, насколько позволяют собственный характер и уважение к своему человеческому достоинству. Лишь в этом случае можно быть счастливым и достичь в литературе чего-то своего, не изменив ее великим традициям. Только такая работа будет и партийной и народной. А «теоретизирование» на эту тему — не наше дело, не стоит на него тратить время и силы.

24 апреля 1968 г. Ваш *Александр Яшин*

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Яковлевич Яшин

ПРОЗА

Том 2

Редактор
З. Батурина

Художественный редактор
Ю. Боярский

Технический редактор
С. Журбицкая

Корректоры
Г. Сурис и Л. Фильцер

Сдано в набор 4/VII 1972 г. Подписано в печать 13/XI 1972 г. А12240. Бум. типогр. № 2. 84×108¹/₃₂ 9,5 печ. л. 15,96 усл. печ. л. 16,06 + 1 вкл.=16,1 уч.-изд. л. Тираж 25 000 экз. Цена 72 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект имени В. И. Ленина, 109.